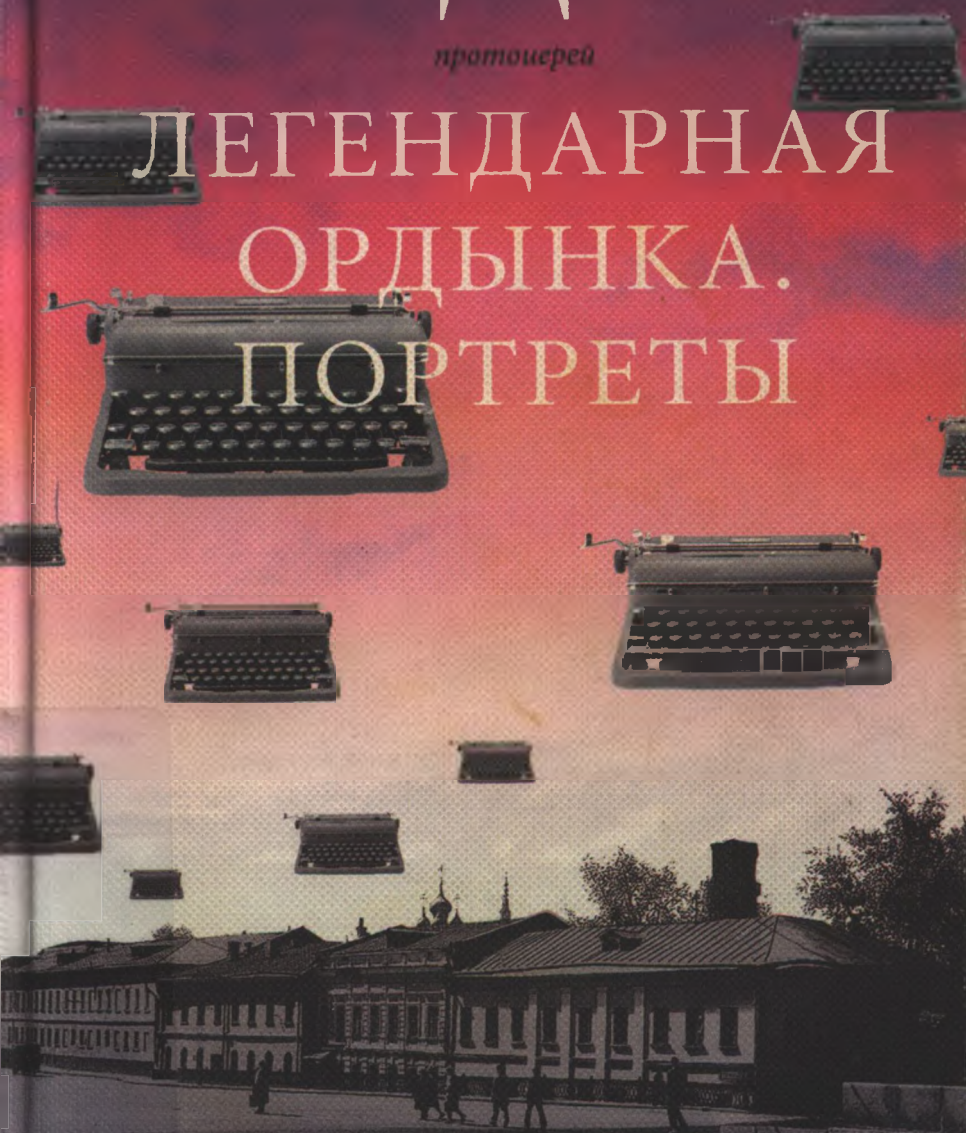


МИХАИЛ АРДОВ

протоиерей

ЛЕГЕНДАРНАЯ ОРДЫНКА. ПОРТРЕТЫ



БСГ ПРЕСС

МИХАИЛ
АРДОВ

протоиерей

ЛЕГЕНДАРНАЯ
ОРДЫНКА.
ПОРТРЕТЫ

БСГ-ПРЕСС
МОСКВА · 2001

Макет и художественное оформление
Дмитрия Черногаева

Редактор Ольга Новикова

Ардов Михаил

А79 Легендарная Ордынка. Портреты: Воспоминания. —
М.: Б.С.Г.-ПРЕСС, 2001 — 528 с., 16 л. ил.
ISBN 5-93381-053-3

Судьба была благосклонна к Михаилу Ардову — он вырос рядом с Анной Ахматовой. Он запомнил и воспроизвел многое из быта и бытия великого поэта. Иосиф Бродский считал воспоминания М.Ардова лучшим из того, что написано об Ахматовой. Но в “Легендарной Ордынке” и “Портретах” повествуется отнюдь не только об Ахматовой. Пастернак, Шостакович, Зощенко, Русланова, Эрдман, Раневская — все они, да и многие другие знаменитости, бывали в гостеприимной квартире родителей автора — Виктора Ардова и Нины Ольшевской.

Эта книга — наиболее полное издание мемуаров М.В.Ардова. В ней также воспроизводится большое число редких фотографий из семейного архива.

ISBN 5-93381-053-3



© М. Ардов, 2001

© Б.С.Г.-ПРЕСС, 2001

ЛЕГЕНДАРНАЯ
ОРДЫНКА



Надо вспоминать только того,
о ком можно сказать
хоть что-нибудь хорошее.

Анна Ахматова

Видит Бог, я не хотел писать эту книгу. Друзья много лет уговаривали меня сделать это, а я отнекивался, отказывался, убеждая их, что в моем теперешнем положении, «в сущем сани», это и неловко, и, главное, неизбежно несет в себе некий соблазн.

И все же я решил взяться за перо. Побудительной к тому причиной стали не столько уговоры приятелей, сколько многочисленные публикации, в которых мемуаристы искажают факты, где содержится ложь, а то и просто клевета на дорогих моему сердцу людей. Существует даже попытка изобразить саму Ахматову эдакой полубезумной старухой, которая на склоне лет окружала себя «мальчишками»...

Итак — «Легендарная Ордынка». Выражение это вошло в наш семейный обиход с легкой руки Анны Андреевны, впервые его употребил какой-то ее гость, иностранец, который описывал свой визит в дом моих родителей.

Мне был год, когда в 1938 году меня привезли на ту квартиру, и я прожил там до тридцати лет, так что словосочетание «легендарная Ордынка» для меня помимо всего прочего означает — детство, отрочество и юность.

Я помню, я так отчетливо помню огромную толпу, множество людей, которые заполнили всю платформу, балконы и лестницы... Помню напряженную тишину, ненатуральное молчание, которое сковало всех, головы у людей подняты, и все чего-то ждут, прислушиваются...

Это одна из первых в Москве воздушных тревог, мы прячемся в метро, на станции «Комсомольская».

Это мое самое раннее сознательное воспоминание. Только что разразилась война, и меня везут с дачи, с Клязьмы, — в Москву, на Ордынку. Я даже не припоминаю, кто именно меня вез. Кажется, была няня Мария Тимофеевна и еще кто-то. Быть может, даже мама... Зато совершенно явственно помню толпу на вокзале, панику, звук сирены. Все толкаются, все спешат в метро, в подземелье...

Сама дача на Клязьме вспоминается мне совсем смутно. Зеленый ухоженный сад, веранда, соломенные кресла, фигура хозяйки... Родители говорили, что была она дама характерная, притом латышка, Розалия Яновна. А муж у нее был русский, очень приветливый и добрый, совершенно подавленный своей властной супругой. А она о нем отзывалась так:

— Мой муш кароший. Ефо фсе люпят. Только я ефо не люплю.

А вот еще одно смутное довоенное воспоминание. Зеленый забор, кусты и два привязанных пса, две будки. Это Голицыно, задворки писательского дома...

Отец вспоминал, что собаки эти произвели на меня сильнейшее впечатление. Он спросил меня, трехлетнего:

— Ты их боишься?

— А они не будут нас кусать? — сказал я.

— Кого — «нас»?

— Ну нас, Ардовых...

Самое удивительное, что я плохо помню свою няню — Марию Тимофеевну. Лицо ее вспоминается мне только таким, каким запечатлено на семейных фотографиях. Зато помню руку ее — большую, мягкую, теплую... Помню, как гладила она меня по голове.

В нашу семью Мария Тимофеевна перешла от академика Зелинского, там ей довелось нянчить сына Андрея. Была она женщина умная, с чувством собственного достоинства и с языком весьма острым. На Ордынке долго бытовали ее поговорки. Например, такая:

— Коня видно по походке, а добра молодца по соплям.

Мой младший брат Борис родился семимесячным. После родильного дома ему создали особенные условия, поддерживали в комнате постоянную температуру. Мария Тимофеевна время от времени заходила туда посмотреть на новорожденного.

— Людеет, — произносила она со знанием дела.

Деревня, где родилась и жила в детстве Мария Тимофеевна, стояла на реке, а на другом берегу было село Милованово. В 1904 году докатилась до них весть о том, что началась русско-японская война. И тут одна глупая баба забегала по деревне с криком:

«Батюшки!.. Святы!.. Война!.. Война!.. Милованово-то хоть за нас?!..»

В памяти моей всплывает тысячи раз слышанное слово — *эвакуация*...

Самые первые скитания, суета, неустроенность, тесные комнаты, где уютится по несколько писательских семей, товарищи по несчастью...

Старший брат Алексей, ему тринадцать, ведет меня за руку вниз, под горку, к какой-то пристани...

Где это? Чистополь?.. Берсут?..

Какое-то время все мы пробыли в Казани. Жили там в гостинице. Однажды Алигер выходила на улицу. Сидевший в вестибюле величественный швейцар-татарин сказал ей вслед:

— Дверь закрывай.

Алигер возмутилась:

— А вы тогда здесь для чего?!

— Иди, иди, гамна́ такая, — напутствовал ее татарин со своего кресла.

Ослепительный белый кафель, яркий свет... Огромная ванна, и в ней в теплой воде сидим я и младший

брат Боря. Открылась дверь, и входит мама, она несет большое пушистое полотенце...

Город со сверлящим, страшным названием — Свердловск. Там мы пробыли недолго, но жили у знакомых в роскошной профессорской квартире, где и была просторная ванная комната, так запомнившаяся мне после долгих недель неустроенного беженского быта.

Это и первое мое сознательное воспоминание о маме. Тонкие руки, худоба, изящество...

Бесконечные дощатые заборы, серые деревянные дома, немощеная улица, и вся она заросла травой... (Эту пыльную траву я запомнил особенно, местные мальчишки научили меня находить в ней незрелые семена, мы их называли калачики и съедали.)

Бу-гуль-ма... Это слово в моем сознании стало почти синонимом эва-куа-ции... В этом татарском городке, тогда еще совсем маленьком, нашему семейству довелось прожить не один год.

Голод, постоянный голод — вот что помнится лучше всего.

Какое-то короткое время меня водили в тамошний детский сад. Помню неопрятный просторный двор, а дети не столько играют, сколько смотрят на пристройку, в которой располагается кухня, — оттуда доносится запах гречневой каши-размазни...

Красное кирпичное здание в два этажа...

На фоне сплошь деревянной и одноэтажной Бугульмы этот дом выглядит небоскребом. Там располагался какой-то клуб, а наша мать ухитрилась

организовать театр, в котором и начал свою карьеру мой старший брат Алексей Баталов.

Музыкальной частью заведовал Павел Геннадиевич Козлов, старый знакомый матери еще по Владимиру. Он тоже был в Бугульме вместе с женою Еленой Ивановной и маленьким сыном Виктором. В юности Козлов собирался стать пианистом, но исполнителя из него не получилось, и он всю жизнь преподавал теорию музыки в заведении Гнесиных.

Иногда по вечерам после спектаклей они с мамой оставались в театре вдвоем, Павел Геннадиевич садился за рояль и играл. И вот что поразительно: они оба вспоминали, что, заслышав звуки музыки, на сцену выходили крысы, толпы крыс. Они усаживались рядами и чинно внимали фортепианной классике.

— Он на тебя не бросится, — говорит мне большой мальчик, — ты в уголке лежишь...

Действительно, моя кровать в углу. А всего таких кроватей штук двенадцать. Это больничная палата для детей, и все мы болеем дифтеритом.

Только что на наших глазах умер годовалый ребенок. Сестра объявила нам, что он будет лежать тут до самого утра. И пошли страшные разговоры про покойников, которые нападают по ночам на живых...

Погасла лампочка, в окно проник лунный свет. А жуткие рассказы продолжались.

И даже когда все умолкли, я долго не мог заснуть, все поглядывал на кроватку маленького мертвеца — вдруг он зашевелится?..

Утром в окно светило яркое весеннее солнце, и в нашей палате уже не было не только покойника, но и его кровати...

Я еще толком не проснулся, как вдруг услышал стук в окно. Я выглянул и с высоты полуторного этажа увидел три фигуры — мама, брат Алексей, а с ними некто в гимнастерке с погонами и в портупее... Отец!..

Все трое улыбаются мне...

Это — первое сознательное воспоминание об отце. Штатского, довоенного я его почти не помню.

О войне Ардов вспоминал довольно редко, и из его излюбленных застольных новелл к этому времени почти ничего не относится.

Вспоминается его рассказ о первой бомбежке, которую он пережил в армии. Было это под Ростовом, он ехал в воинском эшелоне.

— Начался налет, — рассказывал отец, — все мы выскочили из вагонов, разбежались по полю и улеглись на мокрую землю. Я некоторое время лежал, как все, — лицом вниз. А потом сообразил: если лечь на спину и не держать лицо в грязи, вероятность остаться в живых точно такая же...

А потому я перевернулся и стал снизу глядеть на немецкие самолеты, на то, как из них выпадают бомбы... Это было очень интересно...

В армейской газете вместе с отцом служил фотограф. Офицеры какой-то части предъявили ему претензию: он никогда не приезжает к ним — и газета не публикует снимков об их фронтовой жизни. Фотограф отвечал на это:

— Я ни за что к вам не поеду. У вас в блиндажах крысы!

— Какие крысы? — изумились офицеры.

— Вот такие большие! — отвечал тот. — Восемнадцать на двадцать четыре!

У Ардова был рассказ о военной цензуре. Там зорко следили, чтобы в печать не проникали конкретные сведения о войсках. Писать следовало не «батальон», «полк», «дивизия», а «часть», «подразделение», «соединение»... Однажды в газете шла статья о русском патриотизме с именами Дмитрия Донского, Минина и Пожарского, Суворова... Упоминалось там и «Слово о полку Игореве». Военный цензор механически заменил слово «полк», и в печати вышло так: «Слово о подразделении Игореве».

И еще военный рассказ отца. В качестве корреспондента он присутствовал на слете бойцов-отличников своего фронта. Членом военного совета был Каганович. Шел сорок третий год, и всех интересовал только один вопрос: когда союзники откроют второй фронт?

Каганович ответил на него так:

— Открытие второго фронта целиком зависит от одного человека — от Черчилля... Если бы Черчилль был членом партии, мы с товарищем Сталиным вызвали бы его в Кремль и сказали: или открывай второй фронт, или клади партбилет на стол!.. А так что мы можем сделать?..

— Нет, ничего не видно, — разочарованно произносит мой брат Алексей.

Мы с ним стоим у поленницы и ищем на дровах следы пуль...

— Давай еще! — командует брат.

Мы отступаем от дров, отец поднимает руку и стреляет из своего «ТТ» в сторону поленницы...

И мы опять бросаемся искать следы пуль...

Эта стрельба для нашего развлечения запомнилась мне очень хорошо. Отец пробыл у нас в Бугульме всего несколько дней, отпуск у него был совсем короткий.

А потом жизнь опять вошла в свою колею: мама — в театре, Алеша — в школе...

Помню, по выходным дням мама пекла нам пироги с картошкой — неземное лакомство!

В Бугульме мы сменили несколько квартир. Одна из них запомнилась особенно. Там была бодливая корова. Нрав у нее был весьма суровый, даже хозяева выходили по нужде во двор, вооружившись вилами. И вот эта корова принесла приплод. Теленка, как водится в деревнях, на самое первое время поместили в доме за печкой. Там ему отгородили загончик, пол устелили соломой. Меня, пятилетнего, это привело в совершеннейший восторг. Я целыми днями от теленка не отходил — гладил его, целовал...

И это блаженство продолжалось недели две. А потом явились покупатели. И я услышал их разговор с хозяйкой. В припадке отчаянья я бесстрашно выскочил во двор и закричал:

— Корова! Корова! Вашего теленка хотят про-
давать!

II

Из-под газовой плиты медленно и важно выползает небольшая черепаха.

Мы стоим на кухне и смотрим на нее. Стою я, маленький брат Борис, величественная няня Мария Тимофеевна и щупленькая Оля, домработница.

Мы наконец-то вернулись из Бугульмы на Ордынку.

Самого возвращения я вовсе не помню — как мы ехали, в каком вагоне, как добирались с вокзала домой. А Мария Тимофеевна и Оля жили на Ордынке всю войну. Собственно, она еще и не кончилась — мы вернулись в мае сорок четвертого.

Про черепаху эту нам было доложено, что она оказалась весьма разумной тварью — при воздушной тревоге немедленно пряталась под газовую плиту.

Тут вспоминается мне впервые сама наша квартира. Особенно ясно встает перед глазами кабинет отца. Посреди светлой карельской мебели — ржавая железная буржуйка.

За книжным шкафом досками отгороженное пространство. Там насыпана картошка, несколько мешков. Это сокровище, залог дальнейшего существования.

Вот и приметы военной Москвы.

Нищие, по большей части инвалиды, калеки. Целая толпа их, вернее — шеренга возле угловой булочной. Хлеб там продают по карточкам, он весь разрезан на куски и почти при каждом — маленький довесок.

Наискосок от булочной на противоположной стороне Ордынки совершенно разрушенный дом — прямое попадание бомбы. Стоять остался только угол здания, торчит эдаким обломанным зубом...

(Лет через пятнадцать тут построят громаду атомного министерства.)

Рынок за Пятницкой улицей. Там торгуют по большей части все теми же кусками нарезанного хлеба. Еще продается соблазнительное лакомство — подсолнечный жмых...

По самой Пятницкой катят один за другим трамваи. Они звенят, громыхают...

Мы, мальчишки, кладем на рельсы патроны, и они оглушительно рвутся под стальными колесами. Патронов этих у нас сколько угодно, их привозят ребятам демобилизованные отцы.

Брат Боря с топотом удирает от меня в прихожую, я бегу за ним, мы оба хохочем...

Из кухни появляется Мария Тимофеевна и ловит меня за руку.

— Тише, тише, — вполголоса говорит няня. — Бабушка болеет...

И она уводит нас с братом в детскую комнату.

Эта больная бабушка появилась совсем недавно. Мы никогда ее не видели, мы даже не слышали о

ней. У нас уже есть бабушка, папина мама, Евгения Михайловна, — ласковая, говорливая, она была с нами в Бугульме. А эту, Нину Васильевну, бледную, изможденную, едва живую, мама привезла из какого-то Бузулука. Ее водворили в маленькую, «Алешину» комнату, там сразу же появились лекарства и специфический медицинский запах...

Бабушка Евгения Михайловна стоит в прихожей, она только что вошла и зовет нас своим слащавым голоском:

— Борюнчик!.. Мишунчик!..

Мы с братом подбегаем к ней, и она торжественно вручает нам по мандарину.

Маленький Боря осторожно принимает невиданный плод и шепотом произносит:

— Какая красивая репа!..

Учительница Полина Семеновна рассказывает между рядами низеньких парт и диктует нам из букваря:

— «Ма-ша ест ка-шу»... Написали?.. «Ма-ша ест ка-шу». Точка. С большой буквы: «Хо-ро-ша ка-ша»...

Учиться я начал осенью сорок четвертого, в год возвращения из Бугульмы. Первая моя школа помещалась тут же, на Ордынке, в соседнем доме. Все дети были оборвыши и заморыши и все постоянно хотели есть. А в классе нас было сорок с лишним человек.

Школу я сразу же и люто возненавидел на всю жизнь. Класс был первым в моей жизни стадом или, по-советски, коллективом. Я никогда не был слабей-

шим, надо мною никогда не измывались, и дрался я со всеми наравне. Но опасность всегда ощущалась: вдруг вся эта гогочущая свора набросится и на тебя? хватит ли тогда сил и характера противостоять им?.. Чтобы не портить отношений с родителями и избегать учительских придилок, двоек я старался не получать, но и к хорошим отметкам отнюдь не стремился.

Самая большая радость тех лет — начало каникул. Самое большое горе — их окончание, приближение учебного года.

На открытой веранде сидит по пояс голый — в одних трусах — человек с огромной бородой. Он стучит на пишущей машинке. Это знаменитый партизан и писатель Петр Вершигора. А веранда — часть волошинского дома в Коктебеле.

Я впервые попал в Крым летом сорок шестого года. Мне вспоминается совершенно другой пляж, у моря ничего нет, кроме литфондовского дома, его невысоких строений. Коктебель вообще был почти безлюден.

Под Кара-Дагом в камнях я нашел ржавый немецкий штык-кинжал. А в углу бухты под зданием электрической станции на волнах покачивалась мина-«рогулька».

Мины были и на холмах. Время от времени слышался взрыв, и это означало, что на мину наступила одна из коров местного стада. И тогда бабы с сумками бежали, чтобы подобрать куски окровавленного мяса...

III

На роскошном пушистом ковре распластана фигура в темном костюме. Это классик советской драматургии Николай Погодин. Над ним стоит генерал в кителе и в штанах с лампасами, это Крюков, муж певицы Руслановой. Он производит шутовскую экзекуцию, бьет по мягкому месту веником вдребезги пьяного Погодина.

А присутствующие — Русланова и мои родители — заливаются веселым смехом...

Мы в гостях, в сказочно богатой руслановской квартире. Над ковром сияет хрустальная люстра, мебель вся карельской березы... А на диване — предмет нашего с братом Борисом восхищения и любопытства: шкура настоящего тигра. Пасть оскалена, стеклянные глаза сверкают...

Мы едем в просторном трофейном автомобиле. За рулем водитель в военной форме. Генерал Крюков, он был кавалеристом, везет нас на скачки...

Лошади мне вовсе не запомнились, зато запомнился Буденный в маршальской форме и с легендарными усами...

После войны вплоть до самого ареста генерал Владимир Викторович Крюков занимал должность на-

чальника Кавалерийской военной академии (тогда еще была и такая). Он рассказывал о трагикомическом происшествии, довольно характерном для тех голодных лет. Солдат, стоявший на дежурстве в проходной академии, остановил официантку из офицерской столовой и уличил ее в том, что она пыталась вынести килограмм топленого масла, которое было спрятано у нее между двумя бюстгалтерами.

Об этом происшествии было доложено начальнику академии, и Крюков решил поглядеть на этого бдительного стража. Когда солдат явился, генерал поблагодарил его за усердие, а потом спросил:

— А как же ты заметил, что она несет это масло?

— Так что, товарищ генерал, когда она на работу шла, титьки вроде бы у нее поменьше были...

С Лидией Андреевной Руслановой у моих родителей были очень близкие отношения. Настолько близкие, что, освободившись из заключения, она и ее муж В.В. Крюков приехали к нам на Ордынку и первые недели жили в нашей с братом так называемой детской комнате.

В свое время кто-то, скорее всего сами «компетентные органы», пустил слух, что Русланову и Крюкова посадили за мародерство. На самом же деле их арест — часть кампании, которую Берия, а может быть, и сам Сталин вели против Жукова, потому что Крюков был одним из самых приближенных к маршалу генералов. Об этом свидетельству-

ет и само их освобождение. Жуков добился этого сразу же после падения Берии. Русланова и ее муж появились на Ордынке летом 1953 года, когда ни о какой реабилитации никто даже и не мечтал.

Сначала вернулась Лидия Андреевна. Исхудавшая, в темном платье, которое буквально висело на ней. Самые первые дни она не только не пела, но и говорила почти шепотом. Если кто-нибудь из нас ненароком повышал голос, она умоляла:

— Тише... Тише...

Почти весь свой срок она просидела в общей камере печально известного Владимирского центра.

И только через несколько недель она стала потихонечку, про себя напевать.

С ее имени был сейчас же снят запрет, и впервые после длительной паузы ее песни зазвучали по радио.

— Да, — говорили москвичи, — не тот уже у Руслановой голос...

А мы на Ордынке только посмеивались, ведь все записи были те же, старые...

Я запомнил одну историю, которую Русланова привезла из Владимирской тюрьмы. Там с ней в одной камере сидела тихая и кроткая, как белая мышка, старушка-монахиня. А срок она получила за террор. До тюрьмы она жила в каком-то городке вместе с подругой, тоже монахиней. Они занимали небольшую квартирку в двухэтажном каменном доме. Как-то собрались эти старушки солить огурцы или квасить капусту. Будущая узница пошла в храм ко

всенощной, а подруга осталась дома, надо было запарить кадку. Способ этого запаривания таков: в полную кадку воды бросают большой кусок раскаленного железа, вода закипает — и деревянный сосуд готов к употреблению. На беду свою, старая монахиня нашла где-то оставшуюся после войны противотанковую гранату и приняла ее за простую гирю. И эту самую «гирю» она положила в топку печи, чтобы раскалить докрасна. Последовал взрыв, обрушилась часть дома, и сама эта старушка погибла. А подруга ее по возвращении из храма была арестована и получила срок за террористический акт.

Генерал Крюков был третьим мужем Руслановой. Вторым был известный конферансье Михаил Гаркави, а первым — какой-то чекист, который и привез ее в Москву из Саратова. Тут она стала выступать в концертах, и у нее начался роман с Гаркави, который, надо сказать, смолоду отличался необычайной тучностью.

Русланова вспоминала, что в подъезде того дома, где у них с первым мужем была квартира, жила сумасшедшая женщина. По утрам за чекистом приезжал служебный автомобиль, и, пока он с портфелем шел к машине, соседка, уперев руки в боки, говорила ему нараспев:

— Коммунист, коммунист, а у твоей жены любовник — то-о-лстый!..

До войны, да и некоторое время после, ни у одного артиста в стране не было такой славы, такой неве-

роятной популярности, как у Лидии Руслановой. Конферансье Лев Мирон мне рассказывал, как в тридцатые годы они ездили с концертами в Серпухов, и там объявили, что будет выступать Русланова. Была лютая зима, но из деревень на санях съехались мужики, они жгли костры, грелись и ждали возможности купить билеты...

Уже в пятидесятые годы моя мать была в командировке в Иркутске и там встретила с Руслановой. Мама пошла с ней на концерт, а когда они возвращались в гостиницу, толпа восторженных поклонников певицы подхватила автомобиль (это была «Победа») и понесла по улицам на руках...

Вот еще один запомнившийся мне рассказ Льва Мирова. Если в концерте, который он вел со своим тогдашним партнером Евсеем Дарским, участвовала Русланова, она непременно с кем-нибудь за кулисами ссорилась. Чаще всего именно с ним, с Мирковым. То она требовала, чтобы ее выпустили на сцену раньше срока, то, наоборот, позже, то предъявляла еще какие-нибудь претензии... И всегда это оканчивалось скандалом и криком...

Как-то Мирон пожаловался на это Дарскому, и тот, как более опытный, объяснил партнеру:

— Русланова таким образом настраивается на выступление. Ссора для нее вроде разминки.

И вот Мирон с Дарским, предварительно сговорившись с прочими участниками концерта, поставили своеобразный опыт. Когда приблизился момент выхода Руслановой на сцену, все до одного спрятались и из укрытий наблюдали за певицей.

Она походила по комнатам, искала людей, но — тщетно... Тогда, проходя мимо колонны, она как бы ненароком задела ее плечом и буквально взревела:

— Колонн тут поставили!!!

Нрав у нее вообще был весьма крутой. В тридцатые годы, задолго до войны, ее пригласили выступить на приеме в Кремле.

После пения подозвали к столу, где восседали члены Политбюро.

— Садитесь, — говорят, — угощайтесь.

— Я-то сыта, — отвечала Русланова, — вы вот родственников моих накормите в Саратове. Голодают.

— Рэ-чистая, — произнес Сталин.

С тех пор ее в Кремль никогда не приглашали.

Приятель и сосед Руслановой по Лаврушинскому писатель Лев Никулин иногда обращался к ней с шутливой фразой:

— Раздай все мне и иди в монастырь.

Там действительно было что раздавать. Бриллианты, картины, посуда, мебель...

Моя мама вспоминала, что старинный рояль, стоявший среди прочей роскошной обстановки, не мог издать ни единого звука, ибо под его крышкой лежали пачки денег.

В гости к Руслановой пришел эстрадный актер и знаменитый коллекционер Н.П. Смирнов-Сокольский. Певица продемонстрировала ему только что купленный ею антикварный письменный стол чуть ли не из дворцового имущества.

— Видал, Колька, какой я себе стол отхватила?

— Да, — сказал Сокольский, — стол хорош... Только что ты на нем будешь писать? «Зы кан-цер пы-лу-чи-ла»?

И еще одно мое детское воспоминание...

Трехэтажный кирпичный дом с портиком и колоннами... И это все еще не оштукатурено, идет стройка...

Это Баковка, под Москвою, строят здесь дачу для Руслановой и генерала Крюкова.

Мы с братом Борисом смотрим на двух рабочих, которые несут носилки с кирпичами. У них мирный и покорный вид, а мы глядим на них с любопытством и ужасом. Ведь это — пленные немцы, фашисты...

IV

Я вхожу в кабинет отца. В комнате никого нет. Я приближаюсь к овальному столику, на котором стоит большая трофейная пишущая машинка «мерседес». В нее заправлен лист бумаги.

Я читаю слово, которое повторяется на странице много раз: «Ко-вер-ный»... Что это значит — «коверный»?.. Может быть, тут ошибка, опечатка? Наверное, надо печатать «коварный»...

«Коверный», я это узнал много позже, означало «коверный клоун», а заложенный в машинку лист — часть сочиняемой клоунады для цирка. Этот коверный должен был на манеже произносить слова и выделывать трюки, изобретаемые моим отцом.

Ардов стал работать для печати с середины двадцатых годов. Начал он с театральных рецензий, потом принялся сочинять фельетоны и юмористические рассказы.

К тридцатым годам Ардов стал известным юмористом, регулярно выпускал сборники рассказов и фельетонов, дружил с Зощенко, Ильфом и Петровым. Перед войной в Московском театре сатиры шла его пьеса «Мелкие козыри», и он стал вполне преуспевающим советским писателем. На Ордынке появилась мебель карельской березы и

красного дерева, был даже небольшой кабинетный рояль.

Я как-то спросил отца:

— А ты был знаком с Горьким?

— Нет, — отвечал Ардов, — я его боялся... — И в ответ на мое недоумение объяснил: — Когда Горький вернулся из Италии, Сталин сделал распоряжение, чтобы все его просьбы и пожелания исполнялись неукоснительно. Я полагаю, сам Горький не вполне сознавал свое безграничное могущество. Он по-прежнему вел себя как истинный русский интеллигент, открыто заявлял о симпатиях и антипатиях... Так, например, без его вмешательства не мог быть напечатан «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. Книгу практически уже запретили, но Горький просил наркома Бубнова напечатать роман, и тот не посмел ослушаться... Но с такой же легкостью он мог и погубить человека. Стоило ему дурно отзываться о сочинениях какого-нибудь литератора — и все, ты погиб, ты уже не сможешь печататься. А то и в тюрьму угодишь... Вот почему я боялся с ним знакомиться, даже попадаться ему на глаза...

На стене, обитой темно-красным шелком, висят большие фотографические портреты. Величественный старик в чалме, клоун в колпаке и с размалеванным лицом и еще какие-то неизвестные мне люди. Но зато там есть фотография человека в смешной шляпе и с усиками: это самый лучший артист на свете, обожаемый мною Карандаш!

Портреты эти висели в маленьком фойе при директорской ложе в цирке на Цветном бульваре. А еще там стоял небольшой столик с белой скатертью, а около него находилась приветливая и услужливая женщина, которая продавала бутерброды, пирожные и откупоривала нам бутылки с лимонадом...

Ах, как я в детстве любил цирк!.. Насколько театр мне был всегда отвратителен своей изначальной фальшью, настолько цирк пленял своей естественностью. Лошадь так лошадь, силач так силач!.. А в этой тяготящей «Синей птице» — уродливые псевдодети, и в клетке — никакая не птица, а чучело...

Директор нашей школы стоит в вестибюле возле дверей своего кабинета. Он в коричневом мятом костюме и с неопрятной шевелюрой. За сильную кривизну ног директор получил прозвище Колёса. (Иногда это произносится и в единственном числе — Колёс.) Он не выговаривает, как-то проглатывает буквы «р» и «л», и по этой причине каждый второй ученик с успехом имитирует его речь. Пронзительный взгляд директора выхватывает из толпы снующих детей мою фигурку, и он властным жестом подзывает меня к себе. Колёс слегка склоняется надо мной и говорит:

— Мама в шко-е бу-а? Почему не бу-а?.. Кто тебе учиться мешает?.. Мы тебе мешаем?.. Почему ты мочишь?.. А?..

Вспоминаю учителей своих, по большей части довольно жалких. Классная руководительница Наталья Дмитриевна по прозвищу Плоскодонка... А

историчка Антонина Георгиевна была к тому же и парторг школы. В пятьдесят четвертом году она нам говорила:

— В связи с Берием...

Отец заглядывает в детскую комнату.

— Зайди ко мне в кабинет, — говорит он, и в голосе его мне слышится некий подвох...

Этому предшествовало нечто вроде продолжительного нашего с ним спора. Мне было лет двенадцать, и он уже был слегка озабочен будущей моей профессией. Тем паче, что я никаких определенных склонностей не проявлял, да и учился неважнецки. И тут вдруг я решительно объявил ему, что желаю стать биржевым маклером. В 1950 году в Москве это звучало более чем фантастически. Да к тому же отца коробила и сама измененность устремлений сына. А я, как назло, бессмысленно твердил:

— Хочу быть биржевым маклером, больше никем.

И вот вхожу в кабинет. Там сидит гость — невысокий плотный человек с лысой головою.

— Познакомься, — говорит отец. — Это Георгий Александрович Амурский. Теперь он конферансье, а до революции был поверенным Путилова в делах Санкт-Петербургской фондовой биржи... Мой сын, — обращается он к гостю, — твердит, что хочет стать биржевым маклером...

— Деточка ты моя! — Амурский всплеснул руками. — Дорогой ты мой! Да ведь интересней этого

ничего не может быть на свете! Вот ты представь себе: акции падают, а я в это время...

И он пустился в восторженные воспоминания.

Последнее, что всплывает в памяти, — сконфуженное лицо отца, выражение, которое я видел нечасто.

Опять я уныло плетусь за директором школы.

Меня только что выгнали с урока, и Колёса поймал меня в пустом коридоре. Теперь он ведет меня в свой кабинет, мы с ним спускаемся по лестнице.

Он усаживается за свой стол, а я остаюсь стоять посреди небольшой комнаты. Колёса раздумчиво смотрит на меня и говорит:

— Зачем ты мне нужен?.. По-гу-й-щик, отстающий, ху-и-ганствующий э-э-мент...

И ведь все это суцая правда.

Году в пятьдесят втором отвлечение мое к школе несколько поуменилось. Это произошло оттого, что в нашем классе сбилась небольшая компания учеников, которые по своему развитию превосходили прочих, а потому верховодили. И вот решили мы учредить нелегальный журнал. Идея всем очень понравилась. Придумали название — «Голос из-под парты», собирались уже сочинять заметки. Я поделился этой новостью с домашними. После долгой паузы заговорил отец. Он довольно резко, почти без обиняков объяснил мне, в какой стране мы живем и чем эта затея может кончиться не только для нас, но и для наших родителей.

Наутро я шел в школу в большом смущении. Я решил отказаться от участия в журнале и уговорить

друзей вообще бросить эту затею. Но истинную причину этого решения мне бы не хотелось открывать в классе...

По счастью, все прошло очень гладко. Никто из моих товарищей не произнес о журнале ни слова, судя по всему, подобные разговоры с родителями произошли у каждого из нас.

Ч асов десять вечера. Мы с братом Борисом пьем чай, сейчас нас отправят спать. А нам так этого не хочется...

На другой стороне того же овального стола, на котором стоят наши чашки, идет карточная игра. Это ежевечернее на Ордынке «шестьдесят шесть». Играют отец, он сидит на своем кресле спиной к окну, и мама — она на диване, а рядом с нею — Ахматова.

— Так, — произносит отец, он тасует колоду. — Маз будет?

— Пять рублей, — произносит Ахматова.

Отец сдает карты, и начинается новая игра.

Довоенных приездов Ахматовой на Ордынку я не помню. Смутно вспоминаю ее появление в сорок шестом году — весной и осенью, уже после постановления, ее тогда мама привезла из Ленинграда. Но начиная с пятидесятого года Анна Андреевна жила у нас на Ордынке едва ли не больше, нежели в Ленинграде. Сначала тянулось следствие по делу сына, он сидел в Лефортовской тюрьме. А затем этого требовала и работа — Ахматовой давали стихотворные переводы именно в московских издательствах.

За вечерними картами обыкновенно возникала забавная игра. В ней Ардов изображал зятя-грузина, а Анна Андреевна — тещу. Мама фигурировала в игре как дочь Ахматовой. В ответ на какой-нибудь мамин неловкий карточный ход отец говорил Анне Андреевне с сильным акцентом:

— Ви мэна парастытэ, мама, но я удивляюсь ваший дочэры...

В свое время отец придумал Ахматовой и такое семейное прозвище — «теща гонорис кауза».

Иногда свои шуточные упреки Ардов преподносил Анне Андреевне в манере типичного советского оратора:

— И прав был товарищ Ж., когда он нам указывал...

(Имелся в виду Жданов со своим докладом.)

За чаем на Ордынке, если вдруг оказывалось, что потерялся какой-нибудь мелкий предмет, отец обычно говорил шутя:

— Граждане, прошу не расходиться — у меня пропала ложка.

Анна Андреевна, которой это много раз случилось слышать, однажды заметила:

— Как часто мне приходится не расходиться.

Ардов рассказал, что в бюро изобретений до сих пор висят такие объявления: «Проекты перпетуум-мобиле к рассмотрению не принимаются» (ибо «вечные двигатели» все несут и несут).

— Вот это и есть перпетуум-мобиле, — говорила Ахматова.

Ардов очень любил ходить по магазинам на Пятницкой улице. Он знакомился с продавцами, дарил им свои книжечки — словом, был в этих лавках своим человеком. При этом особенную слабость он питал к бракованным и уцененным предметам. И вот несколько раз он приносил с Пятницкой подпорченные, давленные конфеты. Однажды, когда он принес очередную порцию и объявил, что конфеты опять давленные, Анна Андреевна учтиво осведомилась:

— Их хоть при вас давят?

Ахматова иногда вспоминала, как еще до войны, в возрасте двух с лишним лет, я заходил к ней в маленькую комнату, тянулся к черным бусам, которые она тогда носила, и говорил:

— Бусики, бусики...

И эти «бусики, бусики» были чем-то вроде моего детского прозвища.

Я сижу за отцовским письменным столом. Передо мною небольшая книга в голубом коленкоровом переплете. Это «Четки», я переписываю стихи в тетрадь...

(Мне было лет тринадцать, когда я решил прочитать, что же такое пишет Ахматова, почему, собственно, отец, мать и все, кто к нам приходит, относятся к ней по-особенному.

Ее стихи произвели на меня такое впечатление, что в первый же вечер, когда родители куда-то ушли, я пошел в кабинет, достал из маленького шкафчика «Четки» и сел переписывать.)

Я слышу, как распахивается дверь, поворачиваю голову... И к ужасу своему, к смущению, вижу стоящую на пороге Ахматову.

— Ну вот, — говорит она, — Бусики-бусики, а уже переписывает мои стихи.

Я вхожу в столовую в пальто, беру со стола большой конверт. Мне надо поехать в Союз писателей и передать письмо для секретаря Союза А.А. Суркова. Это поручение Ахматовой.

Я уже поворачиваюсь, чтобы идти, но тут мне в голову приходит забавная мысль. Я говорю:

— А вдруг Сурков поступит со мною, как Грозный с Василием Шибановым, — вонзит мне в ногу жезл, обопрется и прикажет читать вслух?

Шутка всем, а в особенности Анне Андреевне, нравится.

Так меня окрестили Шибановым.

С той поры Анна Андреевна часто называла меня Василий. В особенности если я куда-нибудь ее сопровождал или оказывал разного рода мелкие услуги.

Почти все подаренные мне книги надписаны — «Шибанову». А на газетной вырезке, где напечатаны ее переводы из древнеегипетских писцов, Анна Андреевна начертала:

«Самому Шибанову — смиренный переводчик».

Когда Ахматовой исполнилось семьдесят пять лет, я дал в Ленинград телеграмму без подписи: «Но слово его все едино». Домочадцы Анны Андреевны были озадачены. Моя мать, которая там присутствовала, сказала:

— Дайте телеграмму Анне Андреевне.

Ахматова прочла и dokonчила:

— «Он славит своего господина». Это телеграмма от Миши.

Ахматова смотрит на меня с легким укором и полусуто произносит:

— Ребен-ык! Разве так я тебя воспитывала?

И мне, и брату Борису приходилось это слышать частенько.

Она воспитывала нас в самом прямом смысле этого слова. Например, с раннего детства запрещала нам держать локти на столе (вспоминая при этом свою гувернантку, которая в таких случаях преbольно ударяла руку локтем об стол). Она требовала, чтобы мы сидели за столом прямо, учила держать носовой платок во внутреннем кармане пиджака и говорила:

— Так носили петербургские франты.

Больше всего, конечно, Ахматова заботилась о том, чтобы мы с братом правильно говорили по-русски. Она запрещала нам употреблять глагол «кушать» в первом лице, учила говорить не «туфли», не «ботинки» или — упаси Бог! — «полуботинки», а «башмаки», наглядно преподавала нам разницу между глаголами «одевать» и «надевать»:

— Одевать можно жену и ребенка, а пальто или башмаки надевают.

Сетуя на искажения русской речи, Ахматова вспоминала слова Игнатия Ивановского о деревне:

— Он сказал мне: «Там только и слышишь настоящий русский язык. Мужики говорят: «Нет, это не рядом, это — напротив».

(Увы! — это замечание требует некоторых топографических разъяснений. На деревенской улице дома стоят обыкновенно в два ряда, или порядка. По этой причине, как бы ни был дом на той стороне улицы близок, про него никак нельзя сказать, что он рядом.)

Мы едем в такси по Мясницкой улице. Анна Андреевна сидит рядом с водителем. Я только что встретил ее на вокзале, она очередной раз приехала из Ленинграда.

Наша машина поравнялась с домом Корбюзье.

Ахматова поворачивает голову и говорит:

— Ну, что матушка-Москва?

Ахматова и Петербург — тема известная, но вот Ахматова и Москва — звучит не совсем обычно.

По своей «шибановской должности» я часто сопровождал Анну Андреевну в ее московских поездках и могу кое-что сообщить об ее отношении к белокаменной.

Она часто говаривала с грустью:

— Здесь было сорок сороков церквей и при каждой — кладбище.

Иногда прибавляла:

— А лучший звонарь был в Сретенском монастыре.

Если ехали по Пречистенке, Анна Андреевна почти всегда вспоминала историю первого переиме-

нования этой улицы. (Она только не помнила ее старого названия — Чертольская.)

— Здесь ехал царь Алексей Михайлович и спросил, как называется улица. Ему сказали какое-то неприличное название. Тогда он сказал: «В моей столице не может быть улицы с таким названием». И ее переименовали в Пречистенку.

Однажды в разговоре я употребил выражение «у Кировских ворот». Анна Андреевна поправила меня с возмущением:

— У Мясницких ворот! Какие у Кирова в Москве могут быть ворота?

Мясницкие ворота из-за близости Вхутемаса Ахматова считала самым «пастернаковским местом» в Москве. Однажды она указала мне на статую Грибоедова, которая стоит за станцией метро, и произнесла:

— Здесь мог бы стоять памятник Пастернаку.

Узнав, что один мой приятель живет в Трехпрудном переулке, Анна Андреевна очень этим заинтересовалась, сказала, что Трехпрудный — «цветаевское место», и даже выразила желание как-нибудь туда поехать.

VI

Не помню уже, по какому поводу Ахматова проговорила однажды с оттенком августейшей гордости:

— Марина мне подарила Москву...

(Имелись в виду строчки Цветаевой:

— И я дарю тебе свой колокольный град,

— Ахматова — и сердце свое в придачу!)

Однажды я заговорил о Некрасове:

— Можно ли так игриво и беззаботно писать стихи об экзекуции:

Вчерашний день, часу в шестом,

Зашел я на Сенную;

Там били женщину кнутом,

Крестьянку молодую...

На это Ахматова сказала мне серьезно и с упреком:

— А ты помнишь, что там дальше? — И сама закончила:

Ни звука из ее груди,

Лишь бич свистал, играя...

И Музе я сказал: «Гляди!

Сестра твоя родная!»

(Я тогда еще не знал ее строчек:

Кому и когда говорила,
 Зачем от людей не таю,
 Что каторга сына сгноила,
 Что Музу засекли мою.)

Помню, Ахматова говорит о пристрастии Достоевского описывать публичные скандалы:

— У Федора Михайловича так. Сначала у дверей стоит швейцар с булавой, а в гостиной сидит генеральша. Потом начинается скандал, и уже невозможно разобрать, где швейцар, где булава, где генеральша...

Анна Андреевна иногда вспоминала надпись на пакете с тремя тысячами, которые Федор Павлович Карамазов приготовил для возлюбленной:

«Ангелу моему Грушеньке, коли захочет придти».

И приписка карандашом:

«И цыпленочку».

Бывало, показывая какое-нибудь неловкое письмо, обращенное к ней, Анна Андреевна говорила:

— Ну, это уже — «и цыпленочку».

В «Бедных людях», помнится, она обратила мое внимание на то место, где Достоевский устами Девушкина хвалит «Станционного смотрителя» и ругает «Шинель».

— Гоголя он даже не называет по имени, пишет что-то вроде «этот», — вспоминала Анна Андреевна.

Сама Ахматова Гоголя очень любила и шутя называла хохлом. «Хохлацкую» сущность великого русского писателя, которую он сохранил до конца

своих дней, Анна Андреевна доказывала очень хитроумно. Она приводила фразу с первой страницы «Мертвых душ», где описывается въезд Чичикова в город Н.:

«Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным; только два русских мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем».

— Зачем здесь слово «русские»? — спрашивала Анна Андреевна. — Почему не написать просто: два мужика?

Однажды она добавила:

— А кого он ожидал здесь увидеть? Испанских грандов?

В «Мертвых душах» Ахматова особенно любила описание сада Плюшкина. Она говорила, что это отступление нагляднее всего доказывает, что Гоголь — поэт. Ведь никакой необходимости для сюжета в этом куске нет, и он не несет никакой смысловой нагрузки.

Про отступление о двух писателях она как-то сказала мне:

— Это он про себя и про Пушкина. Только Пушкин совсем не такой...

Одна приятельница моей матери, дама весьма недалекая, заявила Анне Андреевне, что считает Пушкина человеком нескромным, так как он написал «Памятник». Ахматова рассказывала об этом с возмущением:

— Я, конечно, объяснила ей, что «Памятник» написан, когда он читал о себе в журналах только ругань.

Однажды Ахматова рассказала мне о случае, происшедшем с одной ее знакомой — сотрудницей библиотеки.

— К ней пришел истопник и спросил, действительно ли для того, чтобы найти книгу, надо знать не только ее название, но и кто написал. Она подтвердила. Тогда он сказал: «Очень жалко. Я читал такую хорошую книгу, а вот кто написал — не помню». Она на всякий случай спросила название. Он сказал: «Капитанская дочка».

В свое время я получил в подарок изданную в 1921 году книгу Анненского «Пушкин и Царское Село (Речь, произнесенная И.Ф. Анненским в бытность его директором Царскосельской мужской гимназии, 27 мая 1899 г., на пушкинском празднике в Китайском театре, в Царском Селе)». Я показал книжку Ахматовой. Она сказала:

— Я помню, как он это говорил.

Потом я обратил внимание Анны Андреевны на дивные строки из «Бориса Годунова», которые Иннокентий Федорович цитирует:

Но детский лик царевича был ясен
И свеж и тих, как будто усыпленный.

— Пушкин весь такой, — произнесла она и, отдавая мне растрепанную книжку, добавила: — Только не переплетай заново, пусть останется так.

VII

В столовой на Ордынке утро. Анна Андреевна пьет свой «кофий» и разбирает корреспонденцию. Большая часть писем читателей начинается примерно так: «Вы, конечно, удивитесь, что вам пишет незнакомый человек...»

— Как они себе это представляют? — говорит Ахматова. — Мне пишут уже пятьдесят лет, и я всякий раз должна удивляться?

Одним из ее почитателей оказался некий адмирал. Письмо его было подписано: «Ваш адмирал Н.Н.». Прочитав это, Анна Андреевна говорит:

— Я чувствую себя королевой. У меня уже есть флот.

Примерно с пятьдесят третьего года, с тех пор как научился печатать на машинке, я стал выполнять при Анне Андреевне некоторые секретарские обязанности: переписывал стихи для публикаций, деловые письма... Впоследствии эту работу для Ахматовой стала делать Ника Николаевна Глен, а еще позднее Анатолий Генрихович Найман.

Я переписываю письмо. Когда текст напечатан, говорю:

— А в конце — «Ваша Ахматова»?

— Ни в коем случае! Я очень мало кому пишу «Ваша Ахматова».

Анна Андреевна диктует мне свои стихи.

— Вот это место непонятное, — вырывается у меня.

Она говорит, имея в виду Пастернака:

— Со мной и с Борисом произошло нечто обратное. Он вначале писал очень сложно, а теперь пишет абсолютно просто. А я — наоборот...

Я печатаю под ее диктовку:

Китайский ветер поет во мгле,
И все знакомо.

Тут Ахматова прерывается и простодушно говорит:

— Ох и достанется мне от Лёвы за «китайский ветер»...

(Л.Н. Гумилев называл себя доктором истории Востока.)

Анна Ахматова прожила на свете семьдесят шесть лет. В течение двадцати последних я был ее собеседником, слушал царственную речь этой необыкновенной женщины.

— Я помню, как в начале века у нас говорили, что в Царском Селе очень полезно жить, потому что там радиоактивная земля...

Анна Андреевна уверяла, что с распространением электричества у людей ухудшилось зрение:

— В юности я зажигала свечу в своей комнате, ложилась и читала на ночь. Если бы я вздумала зажечь две свечи, вошла бы моя мама и сказала: «Что за иллюминацию ты устроила?»

— Коля Гумилев говорил мне: «В Царском Селе я ругаю извозчиков и даже бью их, потому что тут их мало, они могут запомнить меня и рассказать обо мне друг другу. А в Петербурге их такое количество, что никакой надежды на это нет, и я отдаю себя в их власть».

— Когда вышла из печати моя первая книга, я очень смущалась, а Гумилев смеялся и читал мне:

Ретроградка иль жорж-зандка,
Все равно теперь ликуй!
Ты с приданным, гувернантка,
Плюй на все и торжествуй!

О жизни в имени Гумилевых Слепневе:

— На престольный праздник там непременно кого-нибудь убивали. Приезжал следователь, оставался обедать...

В разговоре о склонности великих русских писателей на вершине славы переходить от литературы к прямому проповедничеству Ахматова сказала:

— По-моему, это только у русских. Коля Гумилев называл это «пасти народы». Он говорил: «Аня, отрави меня собственной рукой, если я начну пасти народы».

Году в пятнадцатом в Петербурге в гости к Ахматовой пришли Георгий Адамович и Георгий Иванов. Они пожелали видеть сына Анны Андреевны и Николая Степановича. По приказу хозяйки няня привела нарядного и курчавого младенца. Тот посмотрел на визитеров и спросил:

— Где живете, дураки?

Анна Андреевна любила рассказывать об одном пророчестве. В Петрограде сразу же после февральской революции они с приятельницей поехали кататься, кажется, на острова. Расплачиваясь с бородатым стариком извозчиком, дамы дали ему золотую монету. Тот взял ее, посмотрел и сказал:

— Не держать больше в руках золота ни нам, ни внукам нашим.

— Я встретила Мариэтту Шагинян. Она сказала мне: «Я уезжаю в Армению. Навсегда. Слишком изолгалось перо». Это было в двадцать втором году. Представляешь, что с этим пером сейчас?

— Демьян Бедный сказал мне: «Я бы считал вас первым поэтом, если бы не считал им себя».

— В двадцать четвертом году, вернувшись с известных похорон, Осип (Мандельштам) сказал: «Я придумал пол-анекдота. Один еврей стоит на месте, а другой все время вокруг него бегаёт...»

— В тридцать восьмом году я ехала в метро с Борисом. Он мне сказал: «Вы знаете, я вчера написал стихи: “Скажите, милый Поль, вы изваяли властелина из пластмассы?”» Это неизвестная строчка Пастернака.

— В Ташкенте ко мне пришла Фаина (Раневская). Я лежала и читала. Она спросила: «Что вы читаете?» Я сказала: «Биографию Будды». — «А у Будды была интересная биография?»

О Константине Симонове:

— Когда он пришел ко мне первый раз, то от застенчивости снял на лестнице орден. А когда через несколько лет пришел опять, он уже ничего не снимал...

— В Англии две религии. Одна обыкновенная, а другая такая: папа по вечерам читает Библию вслух, а негры (?) плачут.

Уличив кого-нибудь в неграмотности, Ахматова говорила:

— Почему я должна все знать? Я — лирический поэт, я могу валяться в канаве.

— Гомера не было. Теперь это уже доказано. Все было совсем не так. «Илиаду» и «Одиссею» написал совершенно другой старик, тоже слепой...

Тогда, в пятидесятых годах, многие мужчины ходили так — из верхнего наружного кармана пиджака непременно торчали авторучка и гребенка.

Ахматова говорила:

— Когда я это вижу, мне всегда хочется спросить: «А где ваша зубная щетка?»

Вернувшись из очередной больницы, Анна Андреевна произносит:

— Теперь я поняла, что главная специальность всех баб — не жить с собственными мужьями. Каждая новая, как только приходит в палату, первым делом заявляет: «Ну, с мужем я уже давно не живу».

VIII

К Ахматовой всегда, а в особенности в последние годы, приходило множество визитеров. У нее могли встретиться самые неожиданные люди. Как-то Б.Л. Пастернак назвал это:

— Столкновение поездов на станции Ахматовка.

Шутка прочно вошла в обиход Ордынки. Впоследствии «столкновение поездов на станции» отпало, и Анна Андреевна за завтраком сообщала нам:

— Сегодня — большая Ахматовка.

Это означало, что у нее будет много гостей.

Прежде всего мне вспоминаются самые близкие и преданные ее друзья — Эмма Григорьевна Герштейн, Николай Иванович Харджиев, Мария Сергеевна Петровых, Лидия Корнеевна Чуковская, Любовь Давыдовна Большинцова...

Отдельно — Надежда Яковлевна Мандельштам. Пронзительный взгляд, крючковатый нос, вечно дымящаяся папироса в откинутой правой руке... Была в ней какая-то неустроенность, нарочитое неблагополучие... Являлась она в те годы нечасто.

А потом в памяти возникают и другие лица...

Серьезный и значительный Семен Израилевич Липкин.

Обаятельный и восторженный Дмитрий Николаевич Журавлев.

Несколько набыченный — сообразно фамилии — Юлиан Григорьевич Оксман.

Миниатюрный и манерный Виталий Яковлевич Виленкин.

Красивая и язвительная Наталия Александровна Роскина («Наташа плохая»).

Сдержанная до застенчивости Татьяна Семеновна Айзенман.

Веселая и говорливая Наталия Иосифовна Ильина.

Умудренный от молодых ногтей Вячеслав Всеволодович Иванов.

Молчаливый, знающий себе цену Борис Абрамович Слуцкий. Так и слышу его голос, доносящийся из маленькой комнаты. Он нараспев читает Ахматовой стихи про тонущих в море лошадей и притесняемых на суше евреев...

Ахматова провожает гостя. Я тоже выхожу в переднюю, снимаю с вешалки пальто и хочу подать его.

Гость с испугом отстраняется от меня.

— Нет!.. Нет!.. Что вы!

Это — А.И. Солженицын. Он берет у меня из рук пальто и надевает его сам.

— Я очень боюсь переменить психологию, — объясняет он Ахматовой и мне. — По этой причине я стараюсь не ездить на такси... Я не могу видеть, как перед автомобилем разбегаются маленькие люди...

— Случилось, — говорю я, — что молодой, но уже очень известный поэт Твардовский был в гостях у академика — кораблестроителя Крылова. На прощание хозяин попытался подать ему пальто. Твардовский остановил его жестом. На это Крылов сказал: «Поверьте, молодой человек, у меня нет причин заискивать перед вами...»

— Да, да, — подтверждает Солженицын, — это было... Мне об этом сам Твардовский рассказывал...

Мы все сидим за завтраком. Анна Андреевна полуссутя обращается ко мне и к брату:

— Мальчики, сегодня вечером ко мне придет академик Виноградов. Я прошу вас вести себя прилично.

В ответ я говорю:

— Мы встретим вашего академика гармонью и лихим матлотом. И еще споем ему частушки.

И мы с Борисом тут же за столом принимаемся сочинять эти частушки...

Одна из них оказалась удачнее прочих, и Анна Андреевна даже запомнила ее:

К нам приехал Виноградов —
Виноградова не надо!
Выйду в поле, закричу:
— Мещанинова хочу!

Кстати, о частушках. Как-то брат Борис прочел Анна Андреевне такую:

Дура я, дура я,
Дура я проклятая!

У него четыре дуры,
А я дура пятая!

— Это похоже на мои стихи, — проговорила Ахматова.

Нарядный и важный Алексей Александрович Сурков, нарочито окая, говорит Анне Андреевне:

— Мы знаем вас как человека с огромным чувством национального достоинства...

1964 год, Сурков «инструктирует» ее перед поездкой на Сицилию для получения премии Таормино.

Поэт и литературный начальник А.А. Сурков был истинным благодетелем Ахматовой. Разумеется, благодеяния его не выходили и не могли выходить за пределы дозволенного. Он, например, был неизменным автором предисловий и составителем тех жалких сборничков, которые выходили у нее после смерти Сталина.

По этой причине, сколько я себя помню, на Ордынке все время были телефонные звонки от Суркова и к нему, разговоры с его секретаршей Еленой Аветовой и с женою Софьей Антоновной.

Однажды Ахматова довольно долго говорила по телефону с супругой Суркова, а когда повесила трубку, произнесла:

— Это уже почти из «Ревизора» — Анна Андреевна и Софья Антоновна...

Как известно, Ахматова была делегатом Второго съезда писателей. Сурков читал там доклад и, по

словам Анны Андреевны, сделал весьма характерную оговорку:

— Мы, советские писатели, работаем ради миллионов рублей... то есть ради миллионов людей!..

IX

— Сегодня придет Фаина и будет меня виноватить, — произносит Анна Андреевна...

Среди ее друзей Фаина Георгиевна Раневская стояла особняком, ибо принадлежала театру, миру, с которым Ахматова никак не была связана. Однако же дружба их, которая возникла во время войны в Ташкенте, продолжалась до самой смерти Анны Андреевны.

Настоящая фамилия Раневской была, если не ошибаюсь, Фельдман, и была она из семьи весьма и весьма состоятельной.

Помню, она говорила:

— Меня попросили написать автобиографию. Я начала так: «Я — дочь небогатого нефтепромышленника...»

В юности, после революции, Раневская очень бедствовала и как-то обратилась за помощью к одному из приятелей своего отца. Тот ей сказал:

— Дать дочери Фельдмана мало — я не могу. А много — у меня уже нет...

(Кстати, в своих воспоминаниях о Чехове Иван Бунин, к вящему удовольствию моему, ругательски ругает столь знаменитые и популярные пьесы Антона Павловича, в частности, за совершенное

незнание дворянского быта. И мне было очень забавно прочесть там такое:

«Раневская, будто бы помещица и будто бы парижанка <...>

Раневская, Нина Заречная... Даже и это: подобные фамилии придумывают себе провинциальные актрисы».)

Насколько мне известно, в своей, актерской среде Фаина Раневская позволяла себе весьма крутые шутки и вполне непристойные выражения, но при Ахматовой она всегда держалась сообразно обществу.

Я даже вспоминаю и такое. Анна Андреевна послала меня с каким-то поручением к Раневской. Та приняла меня в одной из комнат своей квартиры и во время нашего разговора уселась под большим фотографическим портретом Ахматовой. Через некоторое время я заметил, что она, быть может, инстинктивно, копирует позу Анны Андреевны, ту самую, что запечатлена на фотографии...

Ахматова любила и иногда повторяла шутки и короткие новеллы Раневской. Дословно помню такую фразу Анны Андреевны:

— Фаина говорит: «Моя домработница мне сказала: “Да, чтобы не забыть — в субботу конец света”».

На Ордынке имело хождение множество цитат из Раневской. Все это произносилось с южным, одесским акцентом.

— Ой, в вас волос густой!.. В вас воши есть?.. А шо вы обижаетесь?.. В кого их нет?.. А вы намажьте голову фотоженом, и они уси как одна сбегут!

— Ой, в вас нежная кожа!.. Когда я была молодая, у меня тоже была нежная кожа... Я шла по улице, так люди высовывались с форточек и говорили: «Ось идет иностранка».

Однажды в трамвае Раневскую узнала какая-то женщина, пришла в совершеннейший восторг, наговорила массу любезностей... Но тут, как назло, ей нужно было выходить, а потому она ухватила артистку за ладонь и сказала:

— Мысленно жму вашу руку.

Всплывает в памяти беспощадный отзыв Фаины Георгиевны об одной молодой женщине:

— У нее не лицо, а копыто...

В Театре Моссовета, где Раневская работала последние годы, у нее шла непрекращающаяся вражда с главным режиссером Ю.А. Завадским. И тут она давала волю своему острому языку.

Как-то она и прочие актеры ждали прихода Завадского на репетицию, он только что получил звание Героя Социалистического Труда.

После нескольких минут ожидания Раневская громко произнесла:

— Ну, где же наша Гертруда?

Надо сказать, Завадского Раневская пережила и, помнится, так говорила по поводу его кончины:

— Да, да, это очень печально... Но между нами говоря, он уже давным-давно умер.

Я поднимаю телефонную трубку.

— Можно попросить Виктора Ефимовича? — говорит далекий голос.

— Здравствуйте, Фаина Георгиевна, — говорю я. — Это Миша. Виктора Ефимовича нет дома...

— Вы знаете, — говорит Раневская, — он написал мне письмо о моем спектакле... А я ему ответила... И там я так неудачно выразилась... Я написала, что я люблю рожать. Я имела в виду творить, создавать что-то на сцене... А то ведь могут подумать, что рожать в прямом смысле слова...

— Все кончено, — говорю, — ваше письмо уже находится в Центральном архиве литературы и искусства. И теперь грядущие исследователи станут утверждать, что у вас было трое детей... И из них двое — от Завадского...

— Я кончаю разговор с ненавистью, — услышалось из трубки...

Еще только раз в жизни я позволил себе пошутить с Раневской. Это было у нее дома. Я машинально взял со стола фотографию, на которой были две фигуры — сама Фаина и Е.А. Фурцева, которая смотрела на актрису снизу вверх и очень преданно. На оборотной стороне снимка рукою Раневской было написано буквально следующее:

«Е.А. Фурцева: Как поживает ваша сестра?

Я: Она умерла...»

Повертевши фотографию в руке, я сказал:

— Фаина Георгиевна, а Фурцева на этом снимке играет лучше, чем вы...

Мой выпад она игнорировала и произнесла:

— Я очень, очень ей благодарна... Она так мне помогла. Когда приехала моя сестра из Парижа, Фурцева устроила ей прописку в моей квартире... Но она крайне невежественный человек... Я позвонила ей по телефону и говорю: «Екатерина Алексеевна, я не знаю, как вас благодарить... Вы — мой добрый гений...» А она мне отвечает: «Ну что вы! Какой же я — гений?.. Я скромный советский работник...»

Х

В нашей столовой много людей. Они — на диване, на всех стульях и даже на табуретках, которые принесены с кухни.

За столом в некотором обособлении сидит седой красивый человек, который читает рукопись, аккуратно переворачивая страницы...

Мы с братом Борисом стоим в прихожей и смотрим на все это через раскрытую дверь...

И вдруг мы слышим такое:

Водилась крыса в погребке,
Питалась ветчиною,
Как Лютер, с салом на брюшке
В два пальца толщиной.
Подсыпали ей мышьяку,
И впала тут она в тоску,
Как от любви несчастной...

Мы с Борисом начинаем безудержно хохотать.

Взрослые оборачиваются и начинают шикать на нас. Чтение прерывается, и человек за столом говорит:

— Это очень хорошо, что дети смеются... Сцена в погребке Ауэрбаха и должна быть смешной...

Борис Леонидович Пастернак читает на Ордынке свой перевод «Фауста».

А еще я помню в его чтении самое начало «Доктора Живаго» и стихи — «Огни заката догорали...», «Я кончился, а ты жива...», «Август», «Белая ночь»...

По поводу последнего стихотворения у Пастернака с Ахматовой произошел примечательный диалог. Там есть такие строчки:

Фонари, точно бабочки газовые,
Утро тронуло первую дрожью...

Анна Андреевна заметила:

— Во время белых ночей фонари никогда не горели.

Борис Леонидович подумал и сказал:

— Нет, горели...

Я помню, как он жаловался на то, что в журнале «Знамя» отвергли стихи «Ты значил все в моей судьбе...». Там есть такая строчка:

Со мною люди без имен...

Так вот Вера Инбер в своем отзыве написала: «У нас нет людей без имен. Все советские люди имеют имя».

Тут я хочу дословно привести запись из небольшой тетрадошки, в которую Ардов некоторое время заносил слова Ахматовой и свои впечатления о ней:

«Рассказ Н.А. Ольшевской:

«К нам пришел Борис Леонидович. Анна Андреевна ему впервые прочитала свое стихотворение, посвященное ему. Он стал хвалить стихи. И потом они оба стали разговаривать о чем-то. О чем, я не могла

понять даже отдаленно. Как будто не по-русски говорили. Потом Пастернак ушел. И я спросила:

— Анна Андреевна, о чем вы говорили?

Она засмеялась и сказала:

— Как? Разве вы не поняли? Он просил, чтобы из моего стихотворения о нем я выбросила слово “лягушка”»...

(Во второй редакции этой вещи “лягушки” нет, Ахматова заменила ее словом “пространство”).

Мой младший брат в детстве презабавно перевирал слова. Например, булочную он называл «хлебушная»... Часто произносимая в доме фамилия Пастернак тоже далась Боре не сразу. Поначалу он говорил «Монастырев». Об этом рассказали самому Борису Леонидовичу. Реакция была такая:

— Да, да... Это так понятно... Па-стер-нак... Мона-стырь...

Как-то Борис Леонидович рассмешил Анну Андреевну и всех нас такой фразой:

— Я знаю, я — нам не нужен.

Вот еще история, связанная с ним, которая бытовала в доме моих родителей. До переезда на Ордынку наша семья года два жила в Лаврушинском переулке, в писательском доме, и в том же подъезде, что и Борис Леонидович. Когда я был грудным младенцем, примерно в таком же возрасте был сын Пастернака Ленья. У моих родителей были специальные весы для взвешивания маленьких детей, и Борис Леонидович регулярно брал их, чтобы проверить

вес Лени. На этой почве между поэтом и моим отцом произошло некоторое сближение, и как-то Пастернак попросил у Ардова почитать какую-нибудь его книгу. Отец дал соседу сборник своих юмористических рассказов. В следующий свой приход за весами Борис Леонидович вернул книгу и сказал:

— Вы знаете, мне очень понравилось... Я думаю, вы могли бы в гораздо большей степени навязать себя эпохе...

В пятидесятых годах Борис Леонидович часто бывал на Ордынке. Обычно эти визиты сопровождались многочисленными телефонными звонками. Он мог, например, позвонить и сказать:

— Анна Андреевна думает, что я приду через сорок минут, а я приду через пятьдесят...

Однажды он позвонил на другой день после визита и сказал:

— Вы знаете, Анна Андреевна, мне кажется, что вчера я слишком мало смеялся анекдотам Виктора Ефимовича...

Как-то после очередного подобного звонка мы с Ахматовой заговорили о великих русских поэтах двадцатого века. Она вдруг указала мне рукою на телефон и произнесла:

— Этот сумасшедший старик — тоже гений.

Иногда Борис Леонидович приходил к нам как-то странно одетый. На нем бывала поношенная кофта явно домашнего вида. Мы удивлялись этому. Анна Андреевна со свойственной ей проницательностью объяснила нам однажды:

— Все очень просто. Он не говорит Зине, что идет сюда, а объявляет, что хочет пройтись.

Я иду заснеженным замоскворецким переулком, а навстречу мне — величественная и несколько отстраненная от уличной суеты фигура. Это — Пастернак. Мне всегда казалось, что он движется как бы на вершок от земли...

— Здравствуйте, Борис Леонидович.

— А-а-а... — Он некоторое время узнает меня, как бы спускаясь с неба на землю. — А-а-а... Здравствуйте, здравствуйте... Что дома? Как Анна Андреевна? Как мама?.. Кланяйтесь, кланяйтесь им от меня...

И опять он двинулся, опять воспарил в заоблачные выси.

Я стою на лестничной площадке перед дверью квартиры Пастернака. Звоню, довольно долго звоню, но мне не открывают...

У меня в руке небольшой сверток, в нем книжница. Анна Андреевна просила отнести ее Борису Леонидовичу...

Наконец я слышу шаги в прихожей.

Дверь распахивается — и передо мною хозяин, по пояс голый и мокрый. Очевидно, я прервал его мытье...

— А-а-а, спасибо, спасибо, — говорит он, принимая сверток влажной рукою. — Простите, я заставил вас ждать... Я был в ванной... Поклон Анне Андреевне и маме...

Дверь закрывается, и я опять один на лестнице.

А пока я шел до Лаврушинского, я заглянул в книжицу. Там рукою Ахматовой было написано: «To our first poet Boris Pasternak».

Мы — Ахматова, М.С. Петровых и я — сидим на деревянной больничной скамье. Все трое молчим. Мария Сергеевна и я не знаем, как начать... Мы пришли к Ахматовой в Боткинскую больницу, чтобы объявить ей о смерти Пастернака.

Анна Андреевна расспрашивает нас о чем-то. Отвечаем мы односложно. Наконец она сама интересуется, какие вести из Переделкина.

Мария Сергеевна нежно гладит руку Ахматовой, глядя ей в глаза и приговаривая:

— Там плохо... Там очень плохо... Там совсем плохо..

— Он скончался? — тихо говорит Ахматова.

— Да, — отвечаем мы.

И тогда вместо ожидаемых проявлений отчаяния мы видим, как она истово крестится и произносит:

— Царствие ему небесное.

XI

На Ордынке завтрак. За столом не вполне понятное мне тягостное молчание. Отец читает юмористический журнал «Крокодил», а сам мрачнее тучи. Потом он молча передает журнал Ахматовой.

Анна Андреевна смотрит на страницу в течение нескольких секунд и кладет «Крокодил» на диван рядом с собою.

Завтрак окончился, все выходят из-за стола, я хватаю журнал.

Страница так и стоит у меня перед глазами:
«Николай Грибачев. “Ощипанный джойнт”».

Я помню даже первую фразу:

«Плач стоит на реках Вавилонских, главная из которых — Гудзон». Это «памфлет» о «деле врачей-убийц».

Рискуя сорваться, я лезу по скользкой, обледеневшей крыше... Впереди и сзади меня еще человек двадцать таких же смельчаков. Теперь прыжок вниз, в подтаявший сугроб, — и мы почти у цели...

Это происходит 7 марта 1953 года. Крыша эта и двор расположены между Столешниковым и Камергерским переулками.

Все мы, в том числе и я с двумя приятелями, стремимся, минуя бесконечную очередь, попасть в Колонный зал и поглядеть на лежащего там мертвого Сталина.

Идея эта пришла в голову мне. В свои пятнадцать я сумел сообразить, что вполне реально пройти с той стороны, с которой движутся люди, уже побывавшие в Колонном зале.

Сказано — сделано. От площади Маяковского до Пушкинской оцепление было неплотным, и мы с приятелями пробрались без особенных усилий. От Пушкинской пришлось идти проходными дворами, и так добрались до Столешникова...

Мы примкнули к очереди почти у самой цели и через двадцать минут оказались там, куда тщето рвались осатаневшие от горя несметные толпы.

В памяти осталась только пышная зелень, окружавшая гроб, да звуки траурной музыки...

Люди моего поколения помнят, как несколько дней подряд из всех репродукторов доносилась классика — симфоническая и фортепианная.

Скрипач Давид Ойстрах впоследствии вот что рассказывал одной нашей с ним общей знакомой. Пока гроб Сталина стоял в Колонном зале, они, лучшие исполнители, играли по очереди. Там же они могли немного отдохнуть и подкрепиться. За занавеской стояли стулья, стол с бутербродами и чаем.

В какой-то момент за эту занавеску заглянул Хрущев — лицо небритое, усталое, но довольное.

Оглядев сидевших там знаменитых музыкантов, он сказал вполголоса:

— Повеселей, ребятки!

И лысая голова исчезла.

И еще немного о музыкантах.

Кто-то из коллег увидел в те дни плачущую Е.Г. Гилельс и принялся ее утешать:

— Ну что вы так убиваетесь... У нас будут еще вожди. Ну, может быть, не такие, как Сталин...

— Да плевать мне на вашего Сталина, — отвечала она, — я плачу оттого, что Сергей Сергеевич Прокофьев умер...

Действительно, С.С. Прокофьев скончался в один день с тираном. В свое время композитор Андрей Волконский рассказывал мне, что ему и другим ученикам Сергея Сергеевича, тем, кто занимался похоронами его, досталось много хлопот.

И самое главное, Прокофьев жил на улице Горького, а туда из-за оцепления невозможно было подогнать похоронную машину. И вот ученики несколько кварталов несли на плечах гроб, и их горе никак не смешивалось с горем прочих людей, устремившихся к Колонному залу.

Десять часов вечера, но еще совсем светло. Мы с отцом идем по летней Москве, тут, в центре, толкотня, гомон толпы, гудки автомобилей...

Ардов впервые ведет меня, повзрослевшего, в ресторан «Арагви».

Швейцары почтительно приветствуют отца, и мы с ним спускаемся в малый зал.

Низкие своды, росписи художника Тоидзе...

(Я даже столик тот помню, за который нас усадили.)

Официант записывает заказ, почтительно наклонив голову.

Потом он исчезает, и слышно, как его голос повторяет все буфетчику и повару.

— Так... Два шашлычка, — доносится до нас, — повнимательней пойдет!..

Мы за мраморным столиком. Перед нами — кружки с пивом, моченый горох, соленые сухарики. Это «Пивной зал» на Пушкинской площади.

Я с любопытством оглядываюсь, здесь я тоже впервые.

В дальнем конце зала — лепной портик, а под ним три танцующие женские фигуры.

— Это что такое? — спрашиваю я отца.

— Три грации, — отвечает Ардов. — Набузовались пива и пляшут.

Мы с отцом сидим в артистической уборной знаменитой актрисы Евдокии Дмитриевны Турчаниновой. Мы пришли, чтобы выразить восхищение ее игрой. Старуха польщена и приветливо нам улыбается.

Чтобы слегка ее поразвлечь, Ардов решается рассказать ей один из самых последних анекдотов тогдашнего, хрущевского времени. Он говорит:

— Вы слышали, что сейчас всюду идут сливания — сливаются главки, тресты, министерства...

— Да, — отвечает актриса, — это я читала...

— И вот, говорят, чтобы не отстать от моды, в Министерстве культуры решили слить МХАТ и Малый, чтобы был один Московский Академический Мало-Художественный театр...

— Как?! Неужели есть такое решение?! — испуганно говорит Турчанинова. — Но это же ужасно! Это невозможно!

Она переполошилась не на шутку.

— Нет, нет, что вы! Это анекдот такой, всего-навсего анекдот, — пытается успокоить ее Ардов.

Но старуха еще долго волнуется и возмущается, никакого юмора она в толк взять не может.

Эта сцена происходила в помещении филиала Малого, в уютном театрике, который располагался в самом конце Большой Ордынки. С некоторых пор Ардов стал захаживать туда сравнительно регулярно. Все началось с того, что он где-то встретил своего приятеля актера Николая Рыжова и тот сказал:

— Пойди посмотри, как Турчанинова и моя мать играют «Правда хорошо, а счастье лучше». Не пожалеешь... Сходи, пока обе старухи живы.

И вот мы с отцом отправились на этот самый спектакль, а потом смотрели там «Волки и овцы» и еще что-то. Ардову нравилось, что сам театр располагается тут же, на Ордынке, да и репертуар там был, что называется, наш, замоскворецкий...

Вообще же к театру в нашей семье было несколько неоднозначное отношение. Ну, прежде всего потому, что наша мать была актрисой и режиссером и

оба моих брата обучались в школе-студии при МХАТе.

Сам Ардов в юности был весьма увлечен сценой, был участником каких-то тогдашних студий, а литературную карьеру начинал как театральный рецензент. Но в конце жизни почти не ходил на спектакли, это ему было скучно. Он уже любил вовсе не театр, а самих актеров — за инфантилизм, готовность к розыгрышам, шуткам... Ардов по этой причине всегда охотно посещал «капустники», юбилеи, вечера в Доме актера...

Помнится, отец внушал мне мысль, что актер вообще профессия не мужская, а женская. А если умный и мужественный человек наделен сценическим талантом, то это сущее несчастье. И самый красноречивый тому пример, который он всегда приводил, — великий артист Леонид Миронович Леонидов.

У Ахматовой отношение к театру было вполне прохладным. Приведу здесь небольшой отрывок из воспоминаний Ардова об Анне Андреевне:

«Театр она не любила.

Например, никогда не была в Художественном. Но у нас дома был альбом, посвященный очередному юбилею МХАТа. Ахматова полистала его, посмотрела фотоиллюстрации и сказала свой приговор, так сказать заочно:

— Ну, так... Теперь я вам скажу: все, что относится к современности, они умеют делать хорошо, а исторические пьесы у них не удаются. Особенно плох у них должен быть Шекспир».

На столе бутылки и тарелки с закуской.

Сегодня к нашей матери пришли две ближайшие подруги — Вероника Витольдовна Полонская и Софья Станиславовна Пилявская.

Ужин тянется долго, они обсуждают внутритеатральные дела.

Ахматова, которая слушает их беседу, вдруг произносит:

— Я не понимаю ни одного слова. Впечатление, будто присутствуешь при профессиональном разговоре гангстеров.

XII

— **П**ревосходное вино, — произносит Михаил Давыдович Вольпин. Он берет бутылку со стола и читает надпись на зеленоватой этикетке: — «Кахетинское № 8... Цена 14 рублей»...

— Мне за строчку перевода платят пятнадцать, — говорит Ахматова.

— Ну вот, — отзывается Вольпин, — даже и рифмовать не надо, чтобы купить такую бутылку...

Сидящий рядом с Вольпиным Николай Робертович Эрдман, как всегда, молчалив.

М.Д. Вольпин, близкий друг моих родителей, именно в его честь меня и назвали Михаилом, был одним из умнейших, остроумнейших и достойнейших людей, которых я знал на протяжении всей жизни.

Помню, на Ордынке был один из бесконечных разговоров о Сталине, и Вольпин поделился с нами таким воспоминанием.

Их везли в телячьем вагоне, человек тридцать столичных интеллигентов и восемь уголовников. У «политических» была с собой теплая одежда, еда на дорогу и все прочее, а у тех, разумеется, ничего. Урки сразу же выдвинули ультиматум — платить определенную дань. Интеллигенты взялись обсуж-

дать это требование, и Вольпин дал совет: пойти на все их условия. Но большинство решило так: нас много, их мало, — а потому ультиматум был отвергнут.

В первую же ночь урки набросились на интеллигентов с железными прутьями, жестоко их избили и отобрали вообще все вещи. После этого «политические» принялись рассуждать, отчего они не смогли дать грабителям отпор, несмотря на внушительное численное преимущество.

Вольпин говорил:

— Я им тогда пытался объяснить. Наши возможности заведомо не равны. Я ради того, чтобы сохранить свой чемодан, урку не убью, не смогу убить. А он ради моего чемодана меня убьет, он с тем и идет. А потому исход всегда предрешен, всегда в его пользу. Вот точно таким же был и Сталин. Все его соперники — теоретики, демагоги — не были готовы к тому, чтобы ради власти Сталина убить. А он знал, на что идет, был совершенно к этому готов. И он их всех до одного убил.

Все лагерные рассказы были у Вольпина замечательные. Например, такой. После освобождения он уезжал на поезде из Архангельска в Москву. Соседом по купе у него оказался удаляющийся на «заслуженный покой» комендант архангельского управления НКВД, то есть человек, который в течение многих лет приводил в исполнение приговоры к расстрелу. В частности, он рассказал Вольпину, что пришел работать в органы еще при Дзержинском и сам «железный Феликс» проводил с ним и с другими новичками беседу. Он говорил им о высокой от-

ветственности чекистов, о том, что в их руках будут находиться человеческие жизни. А чтобы почувствовать меру этой ответственности, предложил каждому новичку расстрелять одного из многочисленных приговоренных. Попутчик Вольпина сделал это столь мастерски, что сразу же был начальством отмечен и вскоре получил свою должность коменданта.

Вольпина арестовали довольно рано, еще в начале тридцатых годов. Он познакомился с Гулагом и, кроме того, много ездил по стране, а потому в нем не было и тени тех иллюзий, какие в то время усиленно культивировали в себе «собратья по перу», которым очень хотелось жить «дыша и большевея», по меткому выражению Осипа Мандельштама.

Михаил Давыдович несколько раз при мне рассказывал о примечательном разговоре, который был у него с Мандельштамом и Олешей. Вольпин пытался открыть им глаза на мрачную реальность. Осип Эмильевич отделался одной сакраментальной фразой:

— Надо без страха смотреть в железный лик эпохи.

А Олеша стал возражать по существу дела.

Вольпин вспоминал:

— Ну, с Мандельштамом я спорить не стал... А Олеша был мне ровня, и я ему сказал буквально так: «Юра, если вы не опомнитесь и станете культивировать в себе казенный оптимизм, вы или перестанете писать, или сопьетесь».

(От себя добавлю: сбылись оба пророчества.)

Далее Вольпин говорит:

— Олеша этого нашего разговора не забыл. В пятидесятые годы я пришел в Управление охраны авторских прав, чтобы получить деньги, и увидел там Олешу. Ему ничего не причиталось, он просто выпрашивал у знакомых мелкие суммы, побирался... Я отвел его в сторону и сказал: «Юра, я вам дам столько денег, сколько вам нужно». И вдруг он взглянул на меня и произнес: «У вас я не возьму». «Почему?» — спросил я. «А помните, что вы мне когда-то сказали?..»

Вспоминая свой давний разговор с Мандельштамом и Олешей, Вольпин прибавлял и такое:

— Осип Эмильевич мне говорит: «Это правда, что вы пишете юмористические стихи?» — «Да, — отвечаю, — пишу». — «Я тоже написал недавно юмористическое стихотворение, — продолжает Мандельштам, — как вам оно понравится?» И прочел такие строки:

Я — мужчина-иностранец,
 Я — мужчина-лесбиянец,
 На Лесбосе я возрос,
 О, Лесбос, Лесбос, Лесбос.

Перед войною Вольпин не имел права жительства в Москве. В таком же положении находился и Н. Эрдман. Они оба поселились тогда в Твери и вместе сочиняли сценарий для кинорежиссера Бориса Барнета.

Как-то раз тот приехал в Тверь для очередной встречи со своими авторами в страшном раздражении и даже гнев.

— Больше я к вам сюда ни за что не приеду, — с порога заявил Барнет.

Позднее, слегка успокоившись, он сказал:

— Вы люди талантливые, и сценарий ваш мне очень нравится... Но ездить сюда невозможно. В вагоне против меня сидел мужик, который всю дорогу жрал селедку с газеты, рыгал, пускал газы и при этом то и дело повторял, обращаясь к попутчикам: «Простите вы меня за такое мое безобразие...»

После войны, уже вернувшись в Москву, Вольпин и Эрдман продолжали писать сценарии для кино и пьесы для музыкальных театров. Но, как репрессированные, были несколько в тени. Дела их окончательно поправились, когда фильм по их сценарию «Смелые люди» получил Сталинскую премию.

Это история тоже примечательная. Именно из-за их авторства картину на премию не выставляли. (Тут надо заметить, что действие фильма разворачивается на конном заводе, а герой — наездник.) Так вот, по словам Вольпина, когда Сталину дали на утверждение список награждавшихся в тот год, он будто бы произнес такую фразу:

— Смелым лошадям тоже надо дать.

И еще из рассказов Вольпина. Как-то он побывал с женой в Одессе, и они отправились на местную барахолку. Сам Михаил Давыдович особенного интереса к торжищу не испытывал, а потому, пока жена ходила по рядам, он присел на крылечко у небольшого домика, стоявшего при входе. Над этим самым крыльцом были электрические часы.

Через некоторое время с барахолки вышли две игривые девицы, и одна из них, кокетливо взглянув на Вольпина, спросила:

— Молодой человек, который час?

М.Д., который был уже отнюдь не молод, воспринял вопрос буквально и указал ей рукою на огромный циферблат:

— Вот часы.

В ответ на это девица обругала его по матери, и они с подругой стали удаляться.

Эту сцену наблюдали три одесситки, которые при входе на барахолку продавали вареные кукурузные початки. Одна из них сказала так:

— Удивительное дело. Ну, предположим, ночью ты проститутка. Но днем ты же можешь быть порядочным человеком... Нет, такое бывает только у нас в Одессе.

Другая торговка отвечала:

— Я думаю, в Николаеве то же самое... Я никогда не была в Москве, но уверена — и там такая же картина...

Третья торговка в это время сосредоточенно рылась в своей сумке. Наконец она достала оттуда самый большой початок, протянула его Вольпину и сказала:

— Молодой человек, возьмите бесплатно. Догоните ее и дайте по морде!..

Ардов иногда вспоминал такую реплику Вольпина. Они вместе зашли в гости к Евгению Петрову, причем отец был в белых штанах. И там он позволил себе весьма крутую шутку. Тогда Вольпин сказал:

— Ну, Ардова пора выводить под б е л ы б р у к и.

Вообще же чувство языка и способность к каламбурам у Вольпина были изумительные. Лучше всего это проявлялось в его юмористических стихах и частушках. Кое-что из этого хранит моя память.

В свое время нарком Луначарский публично заявил, что в Советском Союзе «решен половой вопрос». Вольпин тогда сочинил такие строчки:

Луначарский сказал,
Так что ахнул весь зал:
«Нет у нас полового вопроса!»
А вопрос половой
Покачал головой,
Не поверив словам наркомпроса.

О реперткоме, тогдашней цензуре:

Когда вхожу я в репертком,
Беру от страха «ре» пердком.

Нужна большая доза мужества,
Чтоб удержаться до замужества.

Встречаюсь я с баптисткою,
Девкой-недотрогой.
А потому баб тискаю,
Религию — не трогаю.

Среди неисчислимых Дусь
Вы есть единственная Дуся.
Себя я больше не стыжусь
И буйной страсти предадуся.

У Льва Никулина было стихотворение, которое начиналось так:

У палача была любовница,
Она любила пенный грог...

А Вольпин закончил:

Простая рыжая коровница,
На паре здоровенных ног.

В свое время Михаил Давыдович подарил Ильфу и Петрову частушку, которую они вставили в «Золотого теленка»:

У Петра Великого
Ближих нету никого,
Только лошадь да змея —
Вот и вся его семья.

Еще вольпинская частушка:

Ты не ухни, кума,
Да ты не эхни, кума,
А я не с кухни, кума,
А я из техникума.

Со слов Вольпина я запомнил такие афоризмы:

«У нас в Советском Союзе печать только свободная, всякая другая у нас запрещена», «Советская колыбельная должна будить ребенка».

Я говорю Вольпину:

— У Саши Черного есть описание праздничного стола, и там такая строка: «Бледный поросенок, словно труп ребенка...»

— У меня это лучше, — отвечает мне Михаил Давыдович и читает:

А поросенок возлежал
С бумажной хризантемой в пасти
И грустным взглядом провожал
Свои съедаемые части.

Еще я запомнил басню Вольпина «Гордиев узел», но, к сожалению, с небольшим пропуском.

Однажды Гордий взял веревку
И, проявив сноровку,
Он завязал веревку в узел
И до того сей узел сузил,
Что разрубить его невозможно нипочем —
Ни топором, ни тляпкой, ни мечом,
Вокруг узла волнения и крики.
И прибежал на шум сам Александр Великий.

.....
На узел даже не взглянул,
А громко крикнул: «Кто здесь Гордий?!»
И бац ему по морде!

XIII

Николай Робертович Эрдман бывал на Ордынке гораздо реже Вольпина. Мои родители и все гости относились к нему по-особенному, его пьеса «Самоубийца» всегда считалась бесспорным шедевром, а он сам мастером литературной филигрании. Свидетельством тому были и басни, которые в свое время Эрдман сочинял в соавторстве с Владимиром Массом. Например, такая:

Кичились раз своим здоровьем
Соски на вымени коровьем.
И с простотою деревенской
Глумились так над грудью женской:
— Ты и мала, и коротка,
И кот наплакал молока...
Как только стыд тебя не гложет?..
Насмешкам этим вопреки,
Молчали женские соски —
Грудь разговаривать не может.
— А вымя? — спросит кто-нибудь.
— Нас занимает только грудь!

Один поэт, свой путь осмыслить сляясь,
Хоть он и не был Пушкину сродни,
Спросил: «Куда вы удалились,

Весны моей златые дни?»
Златые дни ответствовали так:
— Мы не могли не удалиться,
Раз здесь у вас такой бардак
И вообще, черт знает что творится!
Златые дни в отсталости своей
Не понимали наших дней.

В конце концов обоих баснописцев арестовали. Рассказывают, что актер В.И. Качалов выступал на кремлевском приеме и там прочел несколько басен Эрдмана и Масса. Кто-то из присутствовавших осведомился, как фамилии авторов. И через несколько дней они оба были схвачены в Сочи, там шли съемки фильма по их сценарию. Это были знаменитые «Веселые ребята».

Мне говорили, что это событие стало темой последней басни, которую сочинил Эрдман.

Однажды ГПУ пришло к Эзопу
И взяло старика за жопу.
А вывод ясен:
Не надо басен!

Ардов рассказывал, что свои письма, присылаемые матери из Енисейска, ссыльный Эрдман подписывал таким образом: «Твой мамин-сибиряк Коля».

Во время войны Эрдман и Вольпин служили в ансамбле НКВД, были там, так сказать, штатными сочинителями. Когда Эрдман впервые надел дома форму чекиста и посмотрелся в зеркало, то сказал:

— Мама, кажется, за мной опять пришли.

С этой энкаведешной формой связана и другая забавная история. В Ташкенте Эрдман и Вольпин пришли навестить Ахматову. И живущие по соседству люди видят, что среди бела дня к ней идут два человека во всем известной форме. Стало ясно, что сейчас Ахматову арестуют. Но против чаяния, люди в форме довольно быстро вышли от поэтессы по-прежнему вдвоем, а потом опять вернулись, неся в руках бутылки с вином... И все поняли, что арест не состоялся.

XIV

— **В**и-тинь-ка, — медленно и отдельно произносит худой невысокий человек, сидящий на стуле у стола, — мне понравился ваш последний рассказ в «Крокодиле»... Вы неплохо пишете... К сожалению, я не могу этого сказать о нашем общем друге Лёне Ленче...

Это Зоценко. Я впервые вижу его на Ордынке и пожираю его глазами. Он мой кумир, мой самый любимый писатель.

Сейчас он похож на человека, который недавно очнулся от летаргического сна и заново осваивается с реальностью, щурится на солнечный свет, растерянно улыбается людям. На дворе 1954 год.

Зоценко усмехается и продолжает свою речь:

— Я был у них в гостях... У Ленча... Лиля мне говорит: «Да, Миша, стареем, стареем... Вот Лёне (!) пятьдесят, мне уже сорок...» А я так прикинул: если она правду говорит, значит, я в свое время был растлителем малолетней...

(Надо сказать, что у Зоценко с этой дамой был довольно длительный роман. Тогда она была женою некоего О. Злые языки рассказывали, что тот час-тенько демонстрировал фото супруги и объяснял:

— Это моя жена. С ней живет Зоценко.)

На Ордынке был культ Зощенко. Он вспоминался и цитировался постоянно. Моя память и сейчас хранит многое из того, что употреблялось в нашем семейном обиходе:

«Желающие не хотят», «Маловысокохудожественные стихи», «Пьеса не хуже, чем у Бориса Шекспира», «Не то чтобы мы пишем из-за денег, но гонорар вносит известное оживление в наше дело».

Культ Зощенко в нашей семье, так сказать, косвенно поддерживала Ахматова. Анна Андреевна относилась к нему по-особенному, как к товарищу по несчастью. За глаза она всегда называла его Мишенькой.

Я много раз слышал и в свое время записал нижеследующий рассказ Анны Андреевны. В августе сорок шестого года она шла по ленинградской улице и вдруг увидела, что по другой стороне идет Зощенко. Заметив Ахматову, он перебежал через мостовую, буквально бросился к ней. Надо сказать, что прежние их — весьма далекие — отношения ничего подобного не предполагали. Он схватил Анну Андреевну за руку и стал сбивчиво говорить:

— Что же теперь делать? Как же теперь быть? Неужели терпеть? Неужели это — терпеть?

— Конечно, терпеть, — произнесла Ахматова, улыбаясь в своем неведении.

Тогда Зощенко стал горячо ее благодарить, говорил:

— Вы даже не представляете себе, как вы меня поддержали...

Он попрощался, и они расстались.

Лишь несколько часов спустя Ахматова узнала о постановлении ЦК и тогда поняла причину странного поведения Зоценко.

У Анны Андреевны были свои любимые цитаты из Зоценко. Точно помню две из них.

Моего младшего брата, в те годы актера, она частенько называла, как одного из героев рассказа «Забавное приключение»:

— Артист драмы.

Другая излюбленная цитата из раннего рассказа «Лялька Пятьдесят». Там повествуется о воре, который влюблен в проститутку с таким именем. В финале он является к ней, говорит, что принес кучу денег, и приказывает выгнать клиента — богатого китайца. А когда тот уходит, вор признается, что денег у него вовсе нет, и тогда Лялька Пятьдесят в отчаянии повторяет:

— Кто мне возместит китайские убытки?

В пятидесятые годы Ахматовой приходилось зарабатывать на жизнь тяжким трудом — переводами из китайской классики, и тогда эта реплика была для нее весьма актуальна.

А когда испортились отношения между Москвою и Пекином, Анна Андреевна ввела в обиход новую редакцию:

— Кто нам возместит китайские убытки?

В один из ранних своих, довоенных визитов на Ордынку Зоценко почему-то рассматривал альбом с фотографиями. Там между прочими был такой сни-

мок — два атлета в трусиках. Взглянув на фотографию, Михаил Михайлович сказал:

— Этот думает: дай, думает, сниму штаны... И этот: дай, думает, и я сниму...

А вот еще одна замечательная реплика Зоценко. Перед самой войной умер их с Ардовым общий знакомый (фамилию я забыл). Так вот, когда война разразилась, Михаил Михайлович сказал отцу:

— А Н.Н. умер — и не прогадал.

Отец рассказывал о невероятной, неправдоподобной славе, которая пришла к Зоценко в тридцатые годы.

Как известно, он был сыном художника. И вот как-то в комиссионном магазине писатель увидел картину отца. Ему захотелось купить холст, но цена была непомерно высокая. Когда же он осведомился у продавца, отчего просят так дорого, тот отвечал:

— Так ведь это — Михаил Зоценко.

В этом случае его собственная слава перешла на его давным-давно умершего родителя.

У меня есть дневниковая запись о Зоценко, сделал я ее летом 1958 года:

«Второй раз в жизни я видел Михаила Михайловича за четыре месяца до его смерти. Я знал, что он придет на Ордынку, и ждал его. Еще раньше я попросил отца дать мне одну из книг Зоценко, чтобы он надписал ее лично мне.

Прохладным апрельским вечером я стоял у ворот нашего дома и ждал приезда Зоценко. Он бывал у нас и прежде, но во дворе шел ремонт и было

очень грязно. В это же время должна была возвратиться из гостей Анна Андреевна. Она приехала раньше, и я проводил ее до дверей, потом вернулся к воротам и стал ждать дальше.

Ждал я до тех пор, пока отец не вышел ко мне и не сказал, что Михаил Михайлович уже пришел. Как я его не заметил, до сих пор понять не могу.

Меня тогда поразило, насколько плохо стал Михаил Михайлович разговаривать. Слова у него выходили с трудом, как будто ему было больно их из себя выталкивать. Общий разговор из-за этого очень затруднялся. Я весь превратился в слух. Помнится, он говорил о поэзии, точнее даже, о сборнике «День поэзии». Он говорил, что почти все, что ему понравилось, принадлежало старым поэтам — Ахматовой, Пастернаку, Асееву...

Когда стали ужинать, я, до того сидевший в углу комнаты, придвинулся к столу и сел около Зощенко. Моя мать сказала ему, что я его большой поклонник и, как она выразилась, знаток. Он впервые взглянул на меня с интересом и сказал, что, если бы знал об этом, сделал бы мне на книге более теплую надпись. За ужином он ничего не пил и не ел».

Тут я прерываю свою старую запись, чтобы сделать некоторое дополнение. Мать впоследствии вспоминала, что между нею и Зощенко состоялся такой краткий диалог.

— Миша, почему вы ничего не едите?

— Видите ли, Ниночка, какая странная история: мне все время кажется, что я отравлюсь.

Вообще же атмосфера вечера была самая непринужденная. Я помню и такую деталь. Михаил Михайлович в Москве остановился у своего старого друга литератора В.А. Лифшица, который жил неподалеку от Ленинградского шоссе. На Ордынку Зоценко поехал на такси. В те годы машины еще свободно ездили через Красную площадь, и шофер, который его вез, ухитрился врезаться в фонарный столб неподалеку от Кремля. Эта история всех позабавила, в ней нашли и некий политический оттенок. Зоценко едет в гости к Ахматовой и сбивает столб на Красной площади. Не провокация ли это?

Возвращаюсь к своей записи:

«Когда Михаил Михайлович стал прощаться, я вызвался проводить его до метро. Он сначала отказывался, но когда мать поддержала просьбу, согласился.

Мы вышли в мокрую и холодную весеннюю ночь. Он спросил меня, правда ли, что я так им интересуюсь. Я ответил, что он мой любимый писатель и, если время позволит, я буду писать о его творчестве. Он спросил меня, знаю ли я его повести, на что я ответил, что знаю и люблю.

Те двести пятьдесят метров, которые мы с ним прошли (далее он себя провожать не позволил), промелькнули мгновенно, а я все еще говорил ему, что думаю об отдельных его вещах, задавал ему вопросы...

На прощание он обещал надписать мне книжку, которую вот-вот должны были выпустить, и сказал, что если я ее не достану, то он сам пришлет мне.

И теперь, через несколько дней после того, как я достал эту книжку, его не стало...»

Ардов сидит в своем кресле в столовой, прихлебывая чай, и просматривает газеты.

— Послушай, — говорю я ему, — сегодня двадцать второе июля, ровно год со дня смерти Зощенко. В приличной стране уже начало бы выходить полное собрание сочинений.

— В приличной стране, — отзывается отец, — он был бы еще жив.

XV

— Анна Андреевна, вы помните?! На Гороховой, у мадам Жерар... Всего пять рублей, а какие барышни! Вы помните?

— Лев Вениаминович, ну откуда я могу это помнить? — отвечает Ахматова, едва сдерживая смех.

Разговор этот происходит у нас в столовой, присутствует старый друг моего отца Л.В. Никулин, его жена, все мы и Ахматова. Лев Вениаминович явился навеселе и вдруг пустился в воспоминания о значных местах старого Петербурга. А так как под рукою никого из петербуржцев не оказалось, он свои речи адресовал Ахматовой.

Никулин был другом Валентина Стенича. На Ордынке иногда вспоминалась такая история. Мои родители после женитьбы поселились в коммунальной квартире на улице под названием Садовники. (Потом ей присвоили имя Осипенко.) Их комната была на первом этаже.

Однажды в отсутствие отца туда зашли Никулин и Стенич. Они уселись на диван и пустились в разговор с моей матерью, которая в те годы была весьма привлекательна.

В это время распахнулась форточка и в комнату всунулась чья-то голова.

— Простите, — послышалось из окна, — вы не знаете, где здесь помойка?

— Вот — одновременно произнесли Никулин и Стенич и указали друг на друга.

Вообще же погибший в тридцатые годы писатель Валентин Осипович Стенич в моем восприятии был личностью легендарной. На Ордынке о нем рассказывалось множество новелл.

Настоящая его фамилия была Сметанич. В юности он писал стихи, его отчасти прославил Блок в своем опусе «Русский денди». Во время гражданской войны Стенича едва не расстреляли, и после этого он перестал писать стихи.

С ним была связана и такая легенда. Стенич утверждал, что когда-то в молодости из подражания Раскольникову он будто бы убил старуху, но не топором, а тяпкой. В это не все верили, но Стенич иногда прибегал к такой шутке, — если он видел какую-нибудь немолодую даму, которая вызывала в нем раздражение, то произносил с кровожадной интонацией:

— Где моя тяпка?!

И еще одна жутковатая, но также не вполне достоверная история. Когда эксгумировали прах Гоголя и перевозили его из Даниловского монастыря в Новодевичий, Стенич якобы украл ребро великого писателя и с тех пор держал эту кость на своем письменном столе.

Кто-то из знакомых карикатуристов изобразил такую картину. К спящему Стеничу является гигантская фигура Гоголя и вопрошает:

— Ну шо, сынку, помогло тоби мое ребро?..

«Русскому денди» Стеничу большевизм был отвратителен, и он этого почти не скрывал. Видный рапповец Юрий Либединский жаловался Ардову на Стенича. Он, Либединский, прибыл в Ленинград, чтобы агитировать попутчиков, писателей нейтральных, примкнуть к РАППу. После его выступления слово взял Стенич и сказал буквально следующее:

— Я согласен на такую игру: вы, рапповцы, — правящая партия, мы — оппозиция. Но вы хоть бы подмигнули нам, дали понять, что сами-то во всю эту чепуху не верите...

Стенич говорил:

— Знаю я ваших «пролетарских писателей». Они по воскресеньям жрут сырое мясо из эмалированных мисок, придерживая куски босой ногой.

За бесшабашную болтовню Стенича вызвали в «Большой дом» на Литейном. Там строгий чекист стал делать ему внушение.

— Валентин Осипович, у нас есть сведения, что вы придумываете и распространяете антисоветские анекдоты.

— Ну какой, например, анекдот я, по вашим сведениям, сочинил? — осведомился Стенич.

— Например, такой, — сказал чекист. — Советская власть в Ленинграде пала, город в руках белых. По этому случаю на Дворцовой площади происходит парад. Впереди на белом коне едет белый генерал. И вдруг, нарушая всю торжественность момента, наперерез процессии бросается писатель Алексей Толстой. Он обнимает морду коня и, ры-

дая, говорит: «Ваше превосходительство, что тут без вас было...»

Стенич посмеялся и сказал:

— Это придумал не я. Но это так хорошо, что можете записать на меня...

Стенич где-то кутил всю ночь и залил рубашку красным вином. Рубашку он тут же выбросил и продолжал пьянствовать. Утром ему понадобились деньги, чтобы продолжать кутеж. Он повязал галстук на голую шею, надел пиджак, кашне, пальто и отправился в Управление охраны авторских прав просить аванс. Не снимая пальто, Стенич появился в комнате, где сидели бухгалтеры. Увидев его, один из них радостно воскликнул:

— Валентин Осипович! А мы собирались вам звонить... Тут надо подписаться на государственный заем.

Стенич одним движением сбросил с себя пальто, кашне, пиджак и оказался по пояс голым.

— Вот, — закричал он, — что со мною ваши займы наделали!

Стенич был первоклассным переводчиком с английского. М.Д. Вольпин рассказывал мне, что был свидетелем такой сцены.

Находясь в гостях у Ильфа, Стенич взял с полки английское издание «12 стульев» и стал с листа переводить это на русский язык теми самыми словами, какие были в подлиннике. Простодушный Евгений Петров воскликнул:

— Вы это наизусть знаете!

— Ну вот еще, — отозвался переводчик, — буду я учить наизусть всякое г...

Стенич был членом писательского домостроительного кооператива. Стройка замерла из-за отсутствия гвоздей. Стеничу поручили раздобыть гвозди. Он пошел в соответствующий наркомат, отыскал нужную комнату и обнаружил там тщедушного еврея, который распределял этот дефицитный товар. На всех заявках, поступающих к нему, этот человек писал одну и ту же резолюцию: «Гвоздей нет. Отказать».

Тогда Стенич решил употребить красноречие. Он говорил о том, что писателям необходимо жилье, ибо они работают в своих квартирах, и что, если гвоздей не дадут, может не состояться расцвет советской литературы.

Еврей все это выслушал весьма меланхолически и наложил свою обычную резолюцию: «Гвоздей нет. Отказать».

Тогда Стенич посмотрел ему прямо в глаза и с расстановкой произнес:

— А Христа распинать у вас были гвозди?..

Рассказывал Семен Израилевич Липкин:

— Однажды мы со Стеничем шли к кому-то в писательский дом в Лаврушинском. Лифт не работал, и мы поднимались по лестнице пешком. Я говорил: «Вот здесь живет такой-то писатель... А вот здесь — такой-то...» Стенич некоторое время меня

слушал, а потом воскликнул: «Да это какой-то шашлык из мерзавцев!»

Кто-то из знакомых упрекнул Стенича:

— Нельзя называть большевиков «они». Надо говорить «мы»!

— Ну ничего, — ответил Стенич, — придет время, «мы» «нам» покажем...

XVI

Н а столике возле зеркала зазвонил телефон. Один из гостей берет трубку.

— Я слушаю... — Тут он смотрит на нас и произносит с недоумением: — Тут спрашивают какого-то Павла Геннадиевича...

— Павла Геннадиевича? — кричит Ардов из своего кабинета. — Скажите, что он был и только что ушел...

Павел Геннадиевич Козлов, приятель мамы еще по Владимиру, как я уже упоминал, был преподавателем теории музыки в заведении Гнесиных. Однако там у него все шло вовсе не гладко. Причиной тому было его не в меру нежное сердце. Он развелся со своей первой женой Еленой Ивановной и женился на одной из своих учениц, а это, как известно, в советских вузах не поощрялось.

Мало того, через некоторое время он развелся и с этой женою, чтобы сочетаться браком с еще более молодой ученицей. Но и этот союз оказался не последним — за ним был четвертый в том же роде. Последняя жена была моложе Павла Геннадиевича уже лет на пятьдесят, и в конце концов она с ним развелась, а затем привела в их общую квартиру мужа-сверстника.

Все это разворачивалось на протяжении десятилетий, но всегда по одному и тому же сценарию. В каждый промежуточный период, когда действующая жена его еще контролировала, а он уже встречался с новой возлюбленной, Павел Геннадиевич просил Ардова отвечать на телефонные звонки именно таким образом:

«Был и только что ушел».

Вообще же Козлов был человеком воспитанным, милым, с тонким чувством юмора. На Ордынке бывали некоторые его новеллы.

Один студент Института Гнесиных на экзамене назвал сочинение Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна» — «Обеденный перерыв фавна».

Другого студента экзаменаторы спросили:

— Что такое баркарола?

Он ответил так:

— Это песня венецианских гольденвейзеров.

И наконец моя самая любимая из историй П.Г. Козлова.

Даже не в институте, а в училище шел экзамен по диалектическому материализму. (Надо сказать, что все преподаватели подобных «наук», как правило, страдали некоторым комплексом неполноценности.) Один из мальчиков проявил такое невежество, что экзаменатор спросил его с некоторым вызовом:

— Позвольте, сами-то вы кто — материалист или идеалист?

— Я баянист, — смиренно отвечал юный музыкант. — Поставьте мне троечку...

Один из самых близких друзей нашего дома — Семен Вениаминович Кантор — был в определенном смысле существом парадоксальнейшим. Он был унылый юморист. Его интеллигентско-еврейская унылость никак не вязалась с профессией автора эстрадных и цирковых шуток. Впрочем, юмор его был несколько механический. Вот тому наглядный пример. Кантора пригласили посетить выставку собак. Он ответил:

— Мне недосук.

При всем том Семен Вениаминович человек был удивительно воспитанный, приличный и приятный в обращении. Он очень хорошо играл в карты, а смолоду и в теннис. В свое время он был одним из карточных партнеров Маяковского, и у него хранилась открытка, в которой поэт приглашал его на игру в покер. А подпись была такая: «Ваш покернейший слуга Владимир Маяковский».

Кантор был коренным москвичом, жил в Лабковском переулке на Чистых прудах, в одной из комнат коммунальной квартиры, которая когда-то вся принадлежала их семейству. (Дом этот и по сию пору стоит, в свое время он принадлежал отцу поэта-имажиниста С. Рубановича.)

Отец Кантора был вполне преуспевающим присяжным поверенным. Кстати сказать, именно его помощником числился Осип Максимович Брик. И наш Семен Вениаминович прекрасно помнил тот день, когда Брик после свадьбы нанес визит своему патрону и представил ему молодую жену, в девичестве Лилию Уриевну Коган.

Семен Вениаминович был меломан, смолоду учился музыке, был завсегдатаем Большого и консерватории. Со слов Кантора я запомнил два старых театральных анекдота.

По ходу оперного спектакля некоему тенору следовало взять свою «возлюбленную» на руки. Тенор был subtilный, а партнерша дородная, потому поднять ее было весьма затруднительно. В этот момент из зала раздался чей-то голос:

— Раздели на две охапки!

В опере «Фауст» есть такое место. После дуэли сбегаются горожане и видят лежащего на земле Валентина. Тут они хором несколько раз повторяют такую фразу:

Кажется, он жив — поможемте ему...

Так вот когда-то в Большом партию Валентина исполнял артист, который был крещеным евреем. Хористам это обстоятельство было известно, а потому они текст слегка переделывали и пели так:

Кажется, он жид — поможемте ему...

Из завсегдатаев Ордынки самым комическим персонажем, пожалуй, был полковник Ч., приятель Ардова еще с военных времен. Примечательно было даже само их знакомство, произошедшее при следующих обстоятельствах. Отец получил путевку в военный санаторий в Архангельское. Там он жил в трехместной палате с другим своим будущим приятелем — военным врачом-рентгенологом Львом Фрейдиным. Однажды туда приехала мама. И вот

отворилась дверь, в палату вошел человек в офицерском кителе. Увидев маму, он растерянно произнес:

— Простите, это женская палата?

— Входи, входи, чудак, — отозвался Ардов со своей койки. (В слове «чудак» он заменил «ч» на «м».)

Отец рассказывал, что в самом начале знакомства Ч. принес ему в подарок картину. Это была скверная копия известного сюжета «Утро в сосновом бору».

— Виктор, — сказал Ч., — я купил две такие картины. Одну я повесил у себя над кроватью, а эту ты повесь у себя. Это будет знаком того, что мы с тобою друзья...

Ардов с возможной деликатностью повесить картину отказался.

Во время одного из своих визитов Ч. сказал:

— Слушай, Виктор... Я сейчас проходил по Пятницкой, там у метро продают ананасы...

Тут отец решается пошутить со своим гостем и говорит:

— Так что же ты нам не купил ананас?.. Анна Андреевна, — обращается он к сидящей на диване Ахматовой, — вы когда-нибудь слышали, чтобы в приличный дом приходили без ананасов?

— Никогда в жизни, — отзывается Ахматова.

Эффект этого диалога превзошел все ожидания. Ч. поспешно вышел из-за стола и через двадцать минут вернулся с ананасом.

К нам опять пришел Ч. Вот он сидит на диване и морщит свои брови. Он и всегда-то мрачноват и серьезен, а сегодня даже сверх всякой меры.

Отец спрашивает:

— Павел, что с тобой?

— У меня большое горе, — отвечает Ч., — отец у меня при смерти.

(Тут надобно представить этого отца. Ему было уже за 80, был он «старый большевик» и почетный гражданин города Свердловска.)

— А что с отцом? — спрашивает Ардов.

— Понимаешь, такая история, — говорит Ч. — Там, в Свердловске, были автогонки... И вот он пошел посмотреть... Ну, его, как почетного гражданина, пропустили к самому финишу... Когда показалась первая машина, финишную ленточку опустили. А отец решил, что ленточку уронили случайно и бросился ее поднимать... Ну, и... Перелом позвоночника, обеих ног... Тяжелейшее сотрясение мозга...

Своим знакомством с Ахматовой Ч. весьма гордился и даже его афишировал. На Ордынке стал известен такой эпизод. В одном московском доме кто-то спросил Ч.:

— Как поживает Ахматова? Как у нее дела?

— У нее все в порядке, — отвечал полковник со своей обычной серьезностью. — Я даю ей рекомендацию в партию.

Мы стоим посреди ковра как некая скульптурная группа — все без движения: профессор Борис Евгеньевич Вотчал со своим стетоскопом, Ардов, оголивший грудь и живот (он пациент), и при сем два свидетеля — я и профессорский пес-боксер...

— Ну что же, — произносит наконец Вотчал, отнимая стетоскоп от груди отца, — по-моему, ухудшений нет... Продолжайте принимать те же лекарства...

Пес подошел к хозяину и прижался к его ноге.

— Между прочим, — говорит Вотчал, — недавно один из моих пациентов спросил: «А как вы сами лечитесь?» А я ему говорю: «К моему псу регулярно приходит ветеринар и выписывает ему какие-то шарики. Я их даю псу и сам их принимаю...»

Все это происходит в профессорской квартире, в высотном здании на площади Восстания.

Поскольку у Ардова был врожденный порок сердца, а Вотчал был выдающимся кардиологом, то они познакомились как пациент и медик. В дальнейшем они подружились, Борис Евгеньевич стал бывать на Ордынке и какое-то время пользовался Ахматову.

Я помню, как Вотчал рассказывал:

— Мой учитель... (тут называлась какая-то неизвестная мне профессорская фамилия) говорил нам, молодым врачам: «Запомните: если вас когда-нибудь позовут на консилиум и там коллеги разделятся на две группы — первая за один какой-нибудь диагноз, другая — за второй, — никогда не присоединяйтесь ни к одной из этих партий. Всегда выдвигайте какую-нибудь свою, третью версию. И если когда-нибудь вы окажетесь правы, это запомнят навсегда». — И Борис Евгеньевич добавляет: — В моей практике это уже несколько раз было.

Вотчал уходит после визита. Он целует Ахматовой руку, прощается с нами.

Мы смотрим ему вслед. Он высокий, стройный, подтянутый. Полковничья форма ему удивительно к лицу, особенно фуражка с высокой тульей и узким козырьком.

Я говорю:

— Анна Андреевна, по-моему, он похож на офицера старой гвардии...

— Я их очень много видела в Царском, — отвечает мне Ахматова. — Именно такие они и были...

Совершенно в другом роде был еще один медицинский профессор, близкий приятель Ардова, — Александр Наумович Рыжих, огромный еврей с очень тонким голосом.

Отец и с ним познакомился по необходимости, в свое время угодил в его проктологическое отделение, которое тогда помещалось против синагоги в Спасоглинищевском переулке. Ардов сразу с Рыжихом подружился, сочинял в его честь шуточные стихи. Одно я помню почти целиком:

Он пациента не водит за нос,
 Не произносит он лишних слов,
 А залезает он прямо в анус,
 И вот диагноз уже готов.

.....

К нему попал ты, так не взыщи,
 Его девиз — «ищи свищи!».

Через день после операции профессор Рыжих зашел в палату к Ардову и осведомился о состоянии здоровья. Отец отвечал ему так:

— Чувствую себя превосходно, с волнением жду премьеры...

— Какой премьеры? — спросил профессор.

— Что в наши дни называется премьерой? — отвечал Ардов. — Это когда г... идет в первый раз.

На Ордынке идет разговор о национальности Ленина. Ардов говорит:

— А мы сейчас позвоним Рыжиху, он родом из Самары, а там жил дед Ленина по матери — Бланк.

Он набирает номер и говорит в трубку:

— Саша?.. Это я, Ардов... Послушай, кто был по национальности доктор Бланк?.. Ну там у вас, в Самаре...

— Еврей, конечно, — слышится тонкий голос из трубки. — Но теперь почему-то это скрывают...

И еще одна замечательная реплика Рыжиха. Он кричит начальству в полемическом задоре:

— Что мне ваш ЦК? Что мне ваше Политбюро?! Я всем им вот этим пальцем в задницу лазил!..

О Рыжихе еще рассказывали такое. В 1953 году во время «дела врачей-убийц» он был в Сандуновских банях со своим приятелем, знаменитым военным хирургом Александром Вишневским. Когда они сидели в парной, Рыжих довольно громко сказал:

— Саша, говорят, что Сталин хочет выселить из Москвы всех евреев. Он, наверное, с ума сошел?

— Тише! Тише! — Вишневский замахал на него руками. — Что ты говоришь?!!

— А что такого? — отвечал Рыжих. — Здесь же баня, здесь никто не видит, что ты генерал...

XVII

В нашей столовой на диване две фигуры, лица повернуты друг к другу и сияют счастьем. Это — Ахматова и ее сын...

Нет, не так надо начинать...

На диване рядом с Ахматовой сидит застенчивый, бедно одетый человек — и плачет, с трудом сдерживает рыдания, и слезы каплют с его лица в тарелку с бульоном.

На Ордынке — обед. Мы все сидим за столом, а этот гость явился неким предтечей Л.Н. Гумилева, предвестником его скорого освобождения.

Он поэт, еврейский поэт, пишущий на идиш. А фамилия у него совершенно не подходящая ни к облику, ни даже к профессии. Его зовут Матвей Грубиян. Он только что освободился из того самого лагеря, где сидит Лев Николаевич, и вот пришел к Анне Андреевне с приветом от сына и со своими рассказами о тамошней жизни. Слезы текут по его лицу, слезы на глазах Ахматовой, у всех нас, сидящих за тем памятным мне обедом.

Это было в феврале 1956 года.

А сам Гумилев появился на Ордынке ясным майским днем того же года. Он был в сапогах, косоворотке, с бородою, которая делала его старше и зна-

чительнее. Бороду, впрочем, он немедленно сбрил, отчего сразу помолодел лет на двадцать.

Анна Андреевна попросила меня помочь приобрести для Льва Николаевича приличное платье. Мы с ним отправились на Пятницкую улицу и там в коммиссионном магазине купили башмаки, темный костюм в полоску, плащ...

С этого эпизода началась моя многолетняя дружба с Гумилевым. Нам вовсе не мешало то обстоятельство, что он был старше меня на четверть века. Я всегда относился к нему как почтительный ученик к учителю. Да к тому же Л.Н. чувствовал себя много моложе своих лет.

— Лагерные годы не в счет, — утверждал он, — они как бы и не были прожиты.

Лев Николаевич сидит на тахте. Поза — лагерная, коленки возле подбородка. Во рту дымится папироса. Он говорит:

— Моим соседом по нарам был один ленинградский филолог. По вечерам он развлекал нас таким образом. Он говорил: «Очень скоро произойдет мировая революция и город Гонолулу переименуют в Красногавайск... Разумеется, там начнет выходить газета «Красногавайская правда...» И дальше импровизировал, сочинял статьи и заметки, которые будут печататься в этой «Красногавайской правде».

На первое время Гумилев поселился на Ордынке в нашей с братом «детской» комнате. В те дни я общался с ним едва ли не пятнадцать часов в сутки. Я жадно ловил каждое его слово, впитывал всякое его

суждение. Мы с ним ходили в пивную на Пятницкую, пили водку у нас в «детской»... Выпив рюмку-другую, он сейчас же закуривал и задира л ноги на тахту...

Сталина (а его личности разговор касался частенько) он называл по-лагерному — Корифей Наукович, свои лагерные сроки — «моя первая голгофа» и «моя вторая голгофа».

Лев Николаевич с детства обладал сильным сходством со своим родителем. Это видно на широко известной фотографии, об этом упоминает в своих воспоминаниях В.Ф. Ходасевич... Но в зрелые годы Гумилев стал похож на мать. Этому способствовало некое приключение на фронте. Было это, если я не ошибаюсь, в Польше. Лев Николаевич попал под минометный обстрел. Одна из мин угодила в какой-то деревянный настил, взрывной волной оторвало доску, и она попала Гумилеву в самую переносицу. В результате этой травмы нос у него стал с горбинкой, точь-в-точь как у Ахматовой.

Анна Андреевна говорила:

— Лева рассказывал о войне: «Я был в таких местах, где выживали только русские и татары».

А сам Гумилев мне как-то сказал:

— Войны выигрывают те народы, которые могут спать на голой земле. Русские это могут, немцы — нет.

— В Ленинградском университете, — рассказывал Лев Николаевич, — шел экзамен. Одной студентке достался билет, в котором был вопрос о воззрениях

Руссо. Ей подкинули шпаргалку. Но тот, кто это писал, букву «д» выводил как «б», с хвостиком наверх... И вот вместо того, чтобы сказать «человек по природе добр», студентка заявила экзаменатору — «человек по природе бобр»... Это не только забавно, но и не лишено смысла. Я в этом убедился на собственном опыте. Как бобер возводит плотины и хатки, которыми ему, быть может, не придется воспользоваться, так и я писал в лагере научные труды без малейшей надежды на публикацию.

Лев Николаевич прочел мне коротенькое стихотворение. Но при этом подчеркнул, что автор не он. Строки эти я запомнил с его голоса, сразу и на всю оставшуюся жизнь:

Чтобы нас охранять,
 Надо многих нанять,
 Это мало — чекистов,
 Карателей,
 Стукачей, палачей,
 Надзирателей...
 Чтобы нас охранять,
 Надо многих нанять,
 И прежде всего —
 Писателей.

Однажды Гумилев рассказал мне, что еще в юности решил стихов не писать, ибо превзойти в поэзии своих родителей он бы не мог, а писать хуже не имело смысла. Однако же способности к стихосложению были у него незаурядные. Я вспоминаю такую фразу Ахматовой:

— Мандельштам говорил: «Лева Гумилев может перевести “Илиаду” и “Одиссею” в один день».

Мы со Львом Николаевичем идем по Тверской улице и смотрим на памятник Юрию Долгорукому. (Мой спутник, вероятно, видит его первый раз в жизни.)

— Да, — произносит он, — об этом князе истории достоверно известны лишь три факта: то, что он основал Москву, а также, по словам летописи, был «зело толст и женолюбив».

Лев Николаевич говорит моему брату Борису:

— Я знаю, что такое актерский труд. Я вам так скажу: зимой копать землю труднее, чем быть актером, а летом — легче...

Гумилев рассказывал нам, что где-то в архиве хранится экземпляр «Путешествия из Петербурга в Москву» с пометками императрицы Екатерины II.

— Радищев описывает такую историю, — говорит Лев Николаевич. — Некий помещик стал приставать к молодой бабе, своей крепостной. Прибежал ее муж и стал бить барина. На шум поспешили братья помещика и принялись избивать мужика. Тут прибежали еще крепостные и убили всех троих бар. Был суд, и убийцы были сосланы в каторжные работы. Радищев, разумеется, приговором возмущается, а мужикам сочувствует. Так вот Екатерина по сему поводу сделала такое замечание: «Лаять девок и баб в Российской империи не возбраняется, а убийство карается по закону».

Гумилев говорит:

— Я в науке, разумеется с вынужденными перерывами, уже почти четверть века. Я никогда не видел в советской науке борьбы материализма с идеализмом, борьбы пролетарской идеологии с буржуазной... У нас всегда была только одна борьба — борьба за понижение требований к высшей школе. И эта борьба дала свои плоды.

— Я сидел за своим рабочим столом в Эрмитаже. Это было в сорок восьмом году. Ко мне подошла сотрудница и говорит: «У нас подписка. Мы собираем деньги на памятник Ивану Грозному. Вы будете вносить?» А я ей отвечаю: «На памятник Ивану Грозному — не дам. Вот когда будете собирать на памятник Малюте Скуратову — приходите».

— Мама как-то жаловалась мне на отца: «Сразу после женитьбы он уехал в Африку». Я ей говорю: «А как же можно было отказаться от экспедиции?» А она мне: «Дурак».

— В двадцатых годах в одной из бесчисленных анкет был такой вопрос: «Есть ли у вас земля и кто ее обрабатывает?» Павел Лукницкий написал такой ответ: «Есть в цветочном горшке. Обрабатывает ее кошка».

По поводу событий на Ближнем Востоке:

— Раньше все было ясно, были семиты и антисемиты. А теперь все антисемиты: одни против евреев, другие против арабов.

Лев Николаевич пересказывал мне свой спор с одним ленинградским скульптором.

— Он мне говорит: «Вы как интеллигентный человек обязаны...» А я ему отвечаю: «Я человек не интеллигентный. Интеллигентный человек — это человек слабо образованный и сострадающий народу. Я образован хорошо и народу не сострадаю».

На столе бутылка водки и пироги с грибами. Лев Николаевич поднимает рюмку и чокается со мною.

— Ну, Миша, выпьем за то, чтобы Ира была хорошая.

(В его произношении — «Ива была ховошая».)

Сидящая с нами «Ива» (дочь Н.Н. Пунина от первого брака) кривится, Анна Андреевна хмурится.

Это происходит в августе 1958 года в Ленинграде, в квартире на улице Красной конницы, где жили Пунины и Ахматова, после того как их выселили из Фонтанного дома. Грибов мы набрали в Комарове, домработница по имени Анна Минна напекла пирогов.

В это время у Льва Николаевича уже была своя комната на самой окраине тогдашнего Ленинграда — в конце Московского проспекта. Про это место Ахматова отзывалась так:

— Лева живет на необъятных просторах нашей Родины.

В 1964 году я крестился. Это обстоятельство еще более сблизило меня с Гумилевым. В нем я встретил первого в нашем интеллигентском кругу созна-

тельного христианина. Я помню, как поразила меня его короткая фраза о Господе Иисусе. Он вдруг сказал мне просто и весомо:

— Но мы-то с вами знаем, что Он воскрес.

Много позже я понял, что взгляды его, по существу, вовсе не православны. Хотя он-то, Царствие ему Небесное, был абсолютно убежден в обратном. Он, например, говорил мне, что определенность в религиозных воззрениях (узость) — признак секты. А Церковь, дескать, на все смотрит шире. Теперь-то я бы ему ответил, что именно в Церкви, то есть в Писании и у Святых отцов, все определено, и притом весьма категорично. А что же касается до модной теперь «широты взглядов», то ни с какой шириной в «узкие врата», о которых говорит Христос, не пролезешь. Да что там говорить, сама по себе теория пассионарности не могла бы сложиться в голове христианина, качества превозносимых им пассионариев греховны, прямо противоречат евангельским заповедям.

Я очень живо вспомнил все это, когда сравнительно недавно прочел у Владислава Ходасевича об отце Льва Николаевича:

«Гумилев не забывал креститься на все церкви, но я редко видел людей, до такой степени не подозревающих о том, что такое религия».

В последние годы жизни Ахматовой у нее с сыном прекратились всякие отношения. В течение нескольких лет они не виделись вовсе. У них были взаимные претензии, и каждый был в свою меру прав.

Однако же Льву Николаевичу следовало бы проявлять больше терпимости, учитывая возраст и болезненное состояние матери.

В начале 1966 года Лев Николаевич подарил мне свою статью «Монголы XIII в. и “Слово о полку Игореве”», опубликованную отделением этнографии Географического общества. Там много спорных утверждений, но главная идея, на мой взгляд, верна. «Слово...» отнюдь не произведение одного из участников похода князя Игоря, а сочинение более позднее, призывающее на самом деле к борьбе не с половцами, а с другими «погаными» — с татарами.

Этой темы мы с Ахматовой коснулись в самом последнем разговоре о ее сыне. Я очередной раз навещал ее в Боткинской больнице. Она знала, что дружба моя с ним продолжается, и спросила:

— Ну как Лева?

— У него все хорошо, — отвечал я. — Между прочим, он датировал «Слово о полку Игореве».

— Ну вот в это я не верю, — отозвалась Анна Андреевна.

Наши близкие с Гумилевым отношения продолжались до 1968 года. Тогда в Ленинграде состоялось судебное разбирательство. Лев Николаевич как законный наследник оспаривал право Ирины Николаевны Пуниной распродавать архив Ахматовой. Я, как и почти все друзья Анны Андреевны, выступил на его стороне. Но, честно говоря, сам факт этого суда повлиял на меня очень сильно и в конце концов отбил охоту тесно общаться с Гумилевым.

В этом деле он действовал как-то странно, в течение продолжительного времени никаких шагов не предпринимал, в результате почти все бумаги Ахматовой были Пуниными распроданы и оптом, и в розницу — и в государственные архивы, и частным лицам.

Мы стоим на Фонтанке у здания Ленинградского городского суда. (Кстати, там в свое время помещалось Третье отделение собственной его величества канцелярии. Мой любимый А.К. Толстой писал:

Стоит на вид весьма красивый дом,
Своим известный праведным судом.)

Я говорю Гумилеву:

— В этой пунической войне (суд с Пуниными) вы вели себя, как Кунктатор.

Шутка приводит его в восторг:

— Я — Кунктатор!.. Я — Кунктатор! — повторяет он несколько раз и громко смеется.

Не могу умолчать тут об одном удивительном факте. Году эдак в семьдесят восьмом я пригласил двух гостей, его учеников, с которыми он меня в свое время и познакомил, — Гелиана Михайловича Прохорова и Андрея Николаевича Зелинского. (Друг друга они узнали, разумеется, тоже через Л.Н.) В ожидании их прихода я слушал Би-би-си. К тому моменту, когда гости подошли к моей двери, дикторша принялась читать стихи Марины Цветаевой, и они переступили порог квартиры, по которой разносилось:

Имя ребенка — Лев,
 Матери — Анна.
 В имени его — гнев,
 В материнском — тишь.
 Вóлосом — он — рыж
 — Голова тюльпана
 — Что ж — осанна! —
 Маленькому царю.

Примерно через полгода после того как это случилось, я поехал по делам в Ленинград. Там Прохоров предложил мне пойти на публичное выступление Гумилева. Состоялось оно на Васильевском острове, в роскошном здании на берегу Невы. До начала лекции я подошел к Л.Н. и рассказал о том, как мы трое слушали по радио стихи Цветаевой о нем. Он реагировал на это сообщение с некоторым даже неудовольствием:

— С вами, Миша, всегда происходит что-нибудь в этом роде.

Само его выступление (а я ни до, ни после его публичных лекций не слушал) произвело на меня несколько тягостное впечатление. Разумеется, говорил он блистательно — сыпал фактами, именами, датами, парадоксальными суждениями... Но все это как-то легковесно, несолидно, эдакий научный Аркадий Райкин, виртуоз на профессорской кафедре...

Сама же теория пассионарности, на мой взгляд, критики не выдерживает, ибо он объявлял явлениями одного и того же порядка и классическую гре-

ческую философию, и распространение ислама, и крестовые походы, и европейский Ренессанс.

Я, помнится, тогда же, после его выступления, поделился с Г.М. Прохоровым такой идеей: хорошо бы написать большой портрет Гумилева, а над ним лозунг — «Пассионарии всех времен — соединяйтесь!».

И все же я жалею Льва Николаевича. Он в определенном смысле опоздал. Будь он лет на десять, на пятнадцать помоложе, доживи до девяностых годов не дряхлым и расслабленным, а полным сил, его слова были бы слышнее, а слава — громче. В наше смутное время «завиральные идеи» пользуются повышенным спросом. Пользуясь термином Пастернака, я могу утверждать, что Гумилев «мог бы в гораздо большей степени навязать себя эпохе».

Осенью 1991 года, когда он был еще жив, я специально включил телевизор, чтобы послушать Льва Николаевича, взглянуть на него. Он вещал, сидя в садике на какой-то даче. Грустное это было зрелище. Он даже изумительный свой дар лектора утратил. В частности, сказал такое:

— Пассионарность передается половым путем. То есть по наследственности...

Услышав это, я телевизор выключил.

Но вот вспоминается мне день смерти Ахматовой — 5 марта 1966 года. Я был тогда в Ленинграде, вечером поехал в ее квартиру на улице Ленина.

Несколько позже моего появления — звонок. Дверь открывают, и в прихожую входит Лев Нико-

лаевич. Он снимает шапку, смотрит на нас и произносит:

— Лучше бы было наоборот. Лучше бы я раньше ее умер.

Тогда же, в марте шестьдесят шестого, состоялся наш с ним единственный разговор о его отношениях с матерью, о причинах ссоры с ней. Было это на девятый день после смерти Анны Андреевны, мы поехали к нему домой после панихиды в Гатчинской церкви. Он мне сказал такую фразу:

— Я потерял свою мать в четвертый раз.

И далее перечислил: первый — какое-то отчуждение в 1949 году, второй — в пятьдесят шестом, сразу же после освобождения, третий — последняя ссора, когда они перестали встречаться.

В тот день я получил от него подарок — пять фотографий. Первая — сорок девятого года, до второго ареста. Затем последовательно — тюремная, лагерная, где он держит дощечку со своим номером, еще лагерная из последних, с бородой, и наконец снимок пятьдесят шестого года, после освобождения. Помнится, он разложил это все на столе и сказал:

— Полюбуйтесь, путь ученого... Это — за папу... Это — за маму... А это — за кошку...

XVIII

— **В**от тут ты сделаешь два кронштейна, — говорит Ардов.

Он ведет карандашиком по чертежу.

— Ну-к что ж, исделаем, — степенно отвечает столяр Иван Капитонович.

— А здесь, — продолжает объяснять отец, — такую небольшую фанерную перемышку...

— Ну-к что ж, исделаем...

При подобных сценах мне приходилось присутствовать регулярно в детские годы и в юности. И.К. Сигунов был краснодеревцем, он следил за сохранностью хорошей мебели в нашей квартире, а кроме того, выполнял многочисленные ардовские заказы — сооружал столики, полки, подставки под книги и т. д. и т. п.

Если замысел заказчика был ему по душе, Капитоныч степенно твердил свое «ну-к что ж, исделаем...», а коли нет, он повторял иронически: «Эшь ты!..»

Кончались эти диалоги почти всегда одинаково.

— Ну а материал-то у тебя есть? — спрашивает отец. — Доска у тебя такая найдется?

— Васька стибрит, — отвечал Капитоныч. (На самом деле он употреблял глагол более выразительный.)

Васька был его помощником и обладал тем преимуществом, что работал на мебельной фабрике, а потому, как теперь бы выразились, для приватизации имел возможности почти неограниченные.

Иван Капитонович жил неподалеку от нас, в Толмачевском переулке, в крошечной квартирке без удобств, которую он соорудил себе сам на месте какого-то сарая. Году эдак в пятидесятом он овдовел, остались они вдвоем с сыном, впрочем, уже взрослым.

Как-то мы с отцом зашли к Капитонычу в Толмачевский. Он сидел на своей кухне и беседовал с простой женщиной очень степенного вида. Это оказалась сваха, которая довольно скоро подыскала ему вторую жену — скромную, тихую и приятную.

Под конец жизни с Капитонычем случилась страшная беда — он совершенно ослеп, и у него как у инвалида появились права на улучшение жилища. Но осуществить это оказалось вовсе не просто, и вот тут ему помог Ардов.

Пока это дело тянулось, Капитоныч регулярно появлялся на Ордынке. Его приводила жена, та самая вторая, застенчивая и молчаливая. Отец звонил по телефону, печатал на машинке письма и жалобы...

И вот хлопоты увенчались полным успехом, Капитоныч получил новую квартиру. Жена еще раз привела его, он принес отцу подарок, какую-то, помнится, шкатулочку, которую сам полировал, уже будучи слепым. Когда Ардов вышел из комнаты, Капитоныч сказал мне и брату Борису:

— Вот сколько у меня было заказчиков... У кого я только не работал... И никто мне не помог. Один он только мне помог...

И слезы катились по его незрячему лицу.

Однажды наш Капитоныч работал у писателя Владимира Дыховичного. Ему довелось реставрировать драгоценную вещь — декоративное корыто карельской березы. В какой-то момент он вытащил страшный ржавый гвоздь.

— Вот сукины дети! — воскликнул столяр. — Что делают!

— Да что ты говоришь? — отозвался хозяин. — Ведь это делали крепостные мастера в восемнадцатом веке!..

— Делали-то крепостные, — отвечал Капитоныч, — да ремонтировали вольные, так их мать...

Дверь отцовского кабинета раскрывается, и в столовую выходит заспанный хозяин. Навстречу ему со стула поднимается плешивый человек с эдаким «кувшинным рылом». Это эстрадный актер С. Отец немедленно вступает с ним в игру. Изобразивши на лице удивление, отец говорит:

— Простите, вы кто такой?

С. почтительно наклоняет голову и произносит реплику из «Плодов просвещения»:

— От Бурдые...

Валерий С. регулярно появлялся на Ордынке в течение нескольких десятилетий. Был он человек одаренный, я, помню, как-то слышал в его исполне-

нии рассказы Салтыкова-Щедрина. К Ардову он приходил заказывать репертуар и притом был весьма требовательным клиентом, заставлял переделывать и переписывать юморески.

Как-то Ардов говорит ему полушутя:

— Валя, почеси-ка мне спину.

— Ты, Виктор, с этим не шути, — серьезно отвечает С.

— А что такое?

— Был у меня, — продолжает тот, — дядя Павел. Он у нас с ума сошел. А тетя еще этого не знала. И вот она ему тоже говорит: «Павел, почеси мне спину». А он ей давай корябать — до крови. Шесть швов накладывали... Так что ты с этим не шути...

С. вечно попадал в какие-то истории.

Они с Ардовым не виделись в течение всех военных лет. Наконец встретились. С. осунувшийся, бледный...

— Валя, — говорит отец, — что с тобой? Как живешь? Рассказывай...

— Плохо, — отвечает тот.

— А что такое?

— Да я с балкона упал...

— Как же это?..

— Был я в гостях, думал, что там лестница... А это был просто балкон... Я шагнул и...

Как-то С. отдыхал в Сочи. Купаясь в море, он потерял вставную челюсть. Вышел на берег очень расстроенный, но кто-то тут же дал совет. Неподалеку купались местные мальчишки, их подозвали и попросили за вознаграждение поискать челюсть на дне.

Мальчишки бросились нырять, и один из них тут же нашел потерю. Он вынырнул на поверхность, высоко поднял руку с челюстью и крикнул: «Ваша?» — так, как будто все дно в этом месте было усеяно челюстями.

— Я бы, конечно, мог себе достать галоши бесплатно, только хлопот много, времени жалко...

Это произносит К., моложавый и красивый, вполне пристойно одетый человек, который сидит на диване в нашей столовой.

— А как же это можно достать галоши — бесплатно? — спрашивает Ардов.

— Очень просто, — отвечает К. — Для этого надо одолжить у кого-нибудь одну галошу. Например, правую. После этого я еду в трамвайный парк в стол находок и предъявляю там эту одолженную галошу. «А левая, — говорю я им, — потерялась у меня во время давки в трамвае». — «Ну, ищите», — говорят они мне. А у них там потерянных галош целая гора. Вот я и подбираю пару к той галоше, что одолжил. Они составляют акт, и я ухожу. После этого я возвращаю правую галошу владельцу, а с левой еду уже в троллейбусный парк. И там заявляю, что потерял правую во время давки в троллейбусе... И они мне показывают свою гору галош... Но это все так канительно.

Этого человека я помню со времени своего отрочества. К. был администратором, устраивал Ардову выступления. Отец называл его жулик-неудачник. Был он притом совершенно неотразим для са-

мой низшей категории дам. Но и на этом фронте его преследовали неудачи. К. бывал то и дело бит ревнивыми соперниками.

Вот он вздыхает и говорит:

— Мне тут предлагают заработать десять тысяч. Но я боюсь, уж больно дело ненадежное...

— А что надо сделать?

— Надо поджечь здание артели... Это тут недалеко — в Малаховке. Они там проворовались, а теперь хотят замести следы... Поджечь, конечно, можно... Но евреи очень хлипкие, на следствии расколются, сами же все и расскажут...

— Нет, произносит Ардов, — так жалобы не пишут...

Он кладет бумагу на стол.

Перед ним на диване сидит просительница, она смотрит на него умоляюще и с надеждой.

— Я вас сейчас научу, как надо писать жалобы, — говорит отец. — Если вы вступили с кем-нибудь в бумажную войну, вы должны адресовать свои письма одновременно во все те инстанции, куда их может переслать вышестоящее начальство. Вот, например, вы жалуетесь в ЦК партии. На вашем письме должно значиться: копия — в МК партии, копия — в Моссовет, копия — прокурору Москвы, районному прокурору и т. д. и т. п.

У Ардова был огромный интерес к жизни и к людям, а также доброта, желание активно помогать нуждающимся. Среди потока проходящих к нему людей немало было ищущих защиты и помощи. Но

по доброте своей и отзывчивости к чужому горю Ардов иногда попадал в положения двусмысленные.

Как-то на Ордынке появилась убитая горем женщина. Ее сын был осужден по довольно жуткому делу. Этот молодой человек в компании своих подвыпивших приятелей оказался на какой-то квартире. Там они все стали приставать к пришедшей с ними девице, а та от испуга бросилась в окно и разбилась насмерть. Так вот мать одного из них умоляла Ардова хлопотать о снижении тюремного срока, к которому приговорен был ее сын. Он, кажется, пытался урезонивать своих дружков и к несчастной этой девчонке не приставал. Отец взялся помочь, и в конце концов приговор парню пересмотрели.

Через несколько дней после того, как Ардов взялся помогать несчастной матери, на Ордынку явился пожилой, весьма уважаемый господин. Он тоже просил помощи. Муж его юной внучки, кажется, актер, из ревности убил ее, за это получил продолжительный тюремный срок. Суть же просьбы деда была в том, чтобы добиться для него смертной казни. К удивлению моему, Ардов было взялся помочь и в этом деле.

Когда проситель удалился, я сказал отцу:

— У тебя есть какие-нибудь принципы? В одном случае ты хлопчешь о том, чтобы наказание стало мягче, а в другом будешь добиваться, чтобы человека казнили?..

Ардов смутился и, помнится, об ужесточении приговора хлопотать не стал.

XIX

В италий Иванович Войтенко победно оглядывает нас, своих юных собутыльников, и кричит, кричит с неповторимой интонацией:

— Реже мечите, малолетки!

А потом вдруг резко поворачивается ко мне — и скороговоркой, скороговоркой:

Наш маленький Мотл
Нигде не работл!
Нигде не работл
Наш маленький Мотл!

Мы, двадцатилетние, смотрим ему в рот. Мы готовы без конца слушать его военные и лагерные истории, в которых, как мы позднее сообразили, реальность искажалась самым прихотливым образом.

Из всех тех, кого я именую тут клиентами Ардова, он один вошел в нашу с братом Борисом компанию, стал своим человеком в «детской», отчасти верховодил. В те годы он неплохо кормился тем, что был разъездным администратором, возил по бескрайним сибирским и казахстанским просторам бригады артистов, среди которых непременно должна была быть хоть какая-нибудь, хоть второсортная, хоть в тираж вышедшая, но — знаменитость.

На худой конец, у Войтенко была жена, исполнительница русских песен, которая выступала под именем «Зинаиды Руслановой». В тех, как выражаются администраторы, «мухосраловках» и «запердяевках», где устраивались эти концерты, она проходила как «дочка Лидии Руслановой».

Войтенко любил повторять:

— Искусство в массу, деньги в кассу.

А «систему Станиславского» он называл «системой Сандуновского»...

Легенда его, которую он нам внушал во время застолий в «детской» комнате, была такова. Он, дескать, был во время войны летчиком-штурмовиком высочайшего класса и получил множество наград. Когда же война победоносно завершилась, Войтенко будто бы принял не в меру активное участие в «пире победителей», угодил под трибунал и получил лагерный срок...

Относительно скоро после появления в нашей компании он снова отправился в места не столь отдаленные. В московском городском суде рассматривалось дело «якутского эстрадно-концертного бюро», Войтенко был одним из подсудимых и получил лагерный срок. На суде, надо сказать, он держался великолепно. При вынесении приговора жена, «Зинаида Русланова», заревела, а он заорал ей со скамьи подсудимых:

— Не позорься перед фраерами!

Через несколько месяцев на Ордынку пришло от него письмо из лагеря, написано оно было в форме киносценария. Я запомнил оттуда такую фразу:

«Зарплата тут мне положена двадцать пять рублей, из них шестнадцать вычитают на зори коммунизма».

Мы с братом воодушевлены идеей... Мы сочиняем стихотворные лозунги... Борис пишет их на ватманской бумаге... Мы возимся с проводкой... Мы бежим на Пятницкую в книжный магазин и покупаем там политические брошюры...

И уборная в квартире на Ордынке преображается. Там появляется полка с брошюрами, тут висит репродуктор, который не смолкая бубнит про «наши достижения»... Там красочные лозунги:

Превратим наши сортиры
 В главполтипросвет квартиры!
 Отправляя здесь нужду
 (физиологическую),
 Не забывайте про вражду
 (социально-политическую)!

Смеху было много, но все это просуществовало лишь несколько часов. Родители наши и Ахматова признали шутки небезопасными, и сортир на Ордынке снова стал самым прозаическим местом.

Раннее утро. Я лежу в кровати, а брат Борис уже встал и собирается в институт.

В дверях нашей «детской» комнаты появляется высокий юноша с красивым и умным лицом. Это семнадцатилетний Александр Нилин. Он зашел за Борисом, они теперь вместе учатся в школе-студии

МХАТа. Он стоит, я лежу, и мы с ним перебрасываемся шутками.

Наше такси очень медленно движется по улице Горького... Шофер ищет место для стоянки, но все забито — машин полно. Мы с приятелями хотим забежать в магазин «Армения», купить там коньяку и копченого мяса... Дело происходит 5 ноября, мы собираемся ехать на дачу, проводить там «праздники».

По лобовому стеклу автомобиля бегут струйки, на улице ветер и сильный дождь. Один из нас говорит:

— Ну почему в этой стране всегда все хуже, чем у прочих? Почему они устроили свою революцию в октябре?.. Вот во Франции Бастилию взяли летом, четырнадцатого июля... В Америке праздник — четвертого июля. А тут обязательно — грязь, сырость...

И вдруг к нам поворачивает голову шофер, он только что пристроил машину у тротуара.

— Это все в наших руках, — говорит водитель. — Праздник можно и переменить...

Это звучит не только неожиданно, но и страшновато.

Был у нас в те годы приятель несколько постарше нас. Он люто ненавидел советскую власть, в особенности наших «дорогих вождей». Во всяком застолье он произносил свой излюбленный тост — поднимал рюмку и говорил:

— Чтоб они сдохли!..

Как-то мы уселись выпивать в Международный женский день, 8 Марта. Наш друг поднял рюмку и не без галантности произнес:

— Ну, за их вдов!

Я читаю ахматовские строки:

Темнеет аллея приморского сада,
Свежи и желты фонари...

Сама Анна Андреевна сидит на диване и посмеивается. А я продолжаю в мужском роде:

Я очень спокойный, но только не надо
Со мной о любви говорить...

Тут Ахматова смеется сильнее и даже на какое-то мгновение закрывает лицо руками.

Это было в тот вечер, когда я вернулся с концерта Вертинского и рассказывал Анне Андреевне, как он переиначивает ее стихи.

Я иду вдоль Манежа, справа Александровский сад и кремлевская стена... И так почти каждое утро. Это мой путь от остановки автобуса № 6 до старого здания университета.

И вот мне приходит в голову мысль: отчего я всякий раз иду именно с этой стороны, а не с другой, не по Моховой улице?.. Ответ прост: я подсознательно оттягиваю тот момент, когда станет видна цель моего ежеутреннего путешествия.

Однорукий лысый человек, декан нашего факультета Евгений Лазаревич Худяков, доверительно смотрит на слушателей и произносит:

— Вот мы здесь все свои... Нету никого посторонних... И потому я могу вам сказать с предельной откровенностью: «Правда» — это наша лучшая газета...

Откровения подобного рода он во множестве преподносил нам на каждом занятии. Предмет, им преподаваемый, назывался прямо по Александру Зиновьеву: «Теория и практика партийно-советской печати». (И уж воистину, где кончалась теория и начиналась практика, различить было решительно невозможно.)

Очевидно, чтобы бывать на факультете пореже, Худяков читал нам свой убийственный предмет по четыре часа кряду. Выдерживать это можно было только так: сесть подальше от лектора и положить на колени интересную книгу. И еще характерная деталь. Лекции эти всегда происходили в аудитории, называвшейся Большая зоологическая. Как видно, для классов «антропологических» наши «теория и практика» не вполне подходили.

Я благополучно окончил факультет журналистики в 1960 году, но никаких особенных знаний и навыков оттуда не вынес. Почти все предметы были никчемные, а преподаватели за редким исключением — ничтожные.

У нашего декана был любимый афоризм, который он повторял к месту и не к месту:

— Газету надо делать чистыми руками.

Один из факультетских острословов как-то заметил:

— Наверное, по этой причине Худякову и отрубили одну руку.

А еще у него было прозвище:

— Однорукий двурушник.

Мы идем по самой середине мостовой, но машины нас не обгоняют и никто не попадаетеся навстречу — улица Ордынка совершенно пуста и разукрашена красными тряпками. Из репродуктора доносится бравурная музыка. Это 1 Мая.

Через полчаса начнется на Красной площади парад, и тогда по Ордынке покатают танки, пушки, ракеты... Здесь будет жуткий грохот, дым и вонь...

А потом возле мавзолея будет «демонстрация трудящихся», и сюда хлынут толпы оживленных людей с бумажными цветами и гирляндами столь же ненатуральными, как их патриотические чувства...

А пока Ордынка пуста, безлюдна на всем своем протяжении. И вот мы, вся наша компания, приближаемся к цели — к пивной на Серпуховской площади.

Тут тоже пока немногочисленно, два-три посетителя. Мы усаживаемся у окна, появляются пенные кружки, и старый официант Павел Яковлевич ставит на мраморный столик целое блюдо раков. Александр Нилин поднимает одного за красную клешню и произносит:

— Раки большие, как голуби...

Павла Яковлевича, официанта с Серпуховки, я запомнил на всю жизнь. Я всегда ценил в людях профессионализм, а он обладал этим качеством в высочайшей степени. Он работал в пивных с четырнадцати лет, и как работал!.. Павел Яковлевич, например, демонстрировал нам такой трюк — поднимал в двух руках дюжину пива, в каждой по шесть полных кружек.

С ним даже и разговаривать было необязательно. Он обычно стоял, прислонившись спиной к кафельной печке, — невысокий, стриженный, в белой официантской курточке. Достаточно было повернуть голову и только взглянуть на него, как он исчезал и тут же появлялся, абсолютно точно угадав не высказанное посетителем желание. Приносил пиво, раков, соленую рыбу, сухарики, моченый горох...

Однажды, помнится, у нас кончились деньги, а уходить не хотелось. Тогда кто-то предложил: не попросить ли у Павла Яковлевича займы?.. Эта фраза еще толком и произнесена не была, как сам старый официант приблизился к нашему столику и спросил:

— Может быть, вам в долг чего-нибудь подать?

Мы сидим за чинным завтраком в доме Д.Д. Шостаковича. За столом сам композитор, его жена, сын Максим, я и еще два наших общих приятеля. Все молчат, тишина довольно напряженная. И тогда Максим обращается ко мне:

— Мишка, расскажи какой-нибудь анекдот, ты их все знаешь...

Реплика повисает в воздухе, молчание становится еще тягостнее.

А дело было так. Максим Шостакович устроил холостяцкую пирушку, которая затянулась далеко за полночь, и мы все остались у него ночевать. А рано утром неожиданно-негаданно пожаловал с дачи Дмитрий Дмитриевич с супругой, и нас, заспанных и не вполне протрезвевших, усадили за табльдот.

Мой старый приятель Максим Шостакович — один из самых артистичных людей, каких я знаю. Темпераментный, живой, веселый, он не столько рассказчик, сколько «показчик», имитатор, и притом весьма наблюдательный. Если бы он не стал музыкантом, он мог бы быть замечательным актером. К сожалению, на бумаге невозможно передать почти ничего из того, чем он нас так веселил и радовал. Помню, например, как Максим изображал тол-

стого болгарского полицейского, который завязывает шнурок на ботинке. Одну ногу поставил на стул, а наклонился к другой, той, что была на полу...

Или такой трагикомический этюд.

Максим изображал человека, который идет по улице и несет подмышкою маленький детский гробик. Навстречу ему незнакомая молодая женщина катит коляску с грудным младенцем. Прохожий деловито заглядывает в коляску и бодрым голосом спрашивает у оторопевшей матери: «Это кто у вас? Мальчик?.. Девочка?..»

В шестидесятых годах Максим Шостакович с компанией друзей смотрел какой-то жуткий фильм об Эрнсте Тельмане. Кульминационным местом этой ленты был такой эпизод. Гестаповцы ведут Тельмана по тюремному коридору. И там он случайно встречает другого конвоируемого узника — Димитрова. Их разводят в разные стороны, и они кричат друг другу в гулком помещении: «До свидания, Эрнст Тельман!» — «До свидания, Георгий Димитров!»

— Будь здоров, Отто Нушке! — заорал во всю глотку из зала Максим. (Был тогда такой функционер в Восточном Берлине.)

В те далекие времена я регулярно видел и самого Дмитрия Дмитриевича. Но нельзя сказать, чтобы кто-нибудь из нас общался с ним. Разумеется, он был с нами, приятелями сына, очень вежлив, но от него всегда исходило какое-то ужасающее напряжение. Был он, как я понимаю, неврастеник и человек глубоко несчастный. Ведь и музыка его вполне

неврастенична, лучше всего он передает «страх и трепет». Я полагаю, он совершенно не переносил одиночества, а потому ему непременно надо было состоять в браке. После смерти первой жены, матери его детей, он не женился довольно долго. А потом, уже на моей памяти, у Шостаковича появилась очень странная, мягко выражаясь, супруга. Звали ее Маргарита, в прошлом она была комсомольским работником. Лучше всего ее характеризует такая фраза:

— Мой первый муж тоже был музыкант. Он играл на баяне.

Довольно скоро у этой дамы произошел конфликт с детьми Дмитрия Дмитриевича, и она была удалена. Притом даже бракоразводного процесса не последовало, ибо тут выяснилось, что она оформила свой брак с Шостаковичем, не расторгнув до конца союз с баянистом.

Дмитрий Дмитриевич в высокой степени обладал чувством юмора.

Во время войны композитор был в Куйбышеве, там он увидел и запомнил такое замечательное объявление: «С 1 октября открытая столовая здесь закрывается. Здесь открывается закрытая столовая».

Как-то Шостакович с сыном заехали в Управление по охране авторских прав. Там они увидели Жана Поля Сартра, который очень внимательно и деловито пересчитывал свой гонорар — изрядное количество крупных купюр. Наблюдая эту сцену, Дмитрий Дмитриевич тихонько сказал Максиму, перефразируя популярные в те годы слова Ленина:

— Мы не отрицаем материальную заинтересованность при переходе из лагеря реакции в лагерь прогресса...

В шестидесятых годах на какой-то фестиваль приехал из Индии очень богатый и знаменитый в своей стране композитор. Писал он главным образом музыке к кинофильмам. Его познакомили с Шостаковичем. Индус, между прочим, сказал:

— Вы, наверное, платите очень много денег вашему помощнику?

— Какому помощнику? — удивился Дмитрий Дмитриевич.

— Ну, тому, кто записывает ваши мелодии...

— Я сам записываю свою музыку, — сказал Шостакович.

— Как? — поразился индийский гость. — Вы даже ноты знаете?!

Я вспоминаю, Шостакович-младший пригласил меня на генеральную репетицию «Леди Макбет Мценского уезда» в Ленинградский Малый оперный театр. Там он обратил мое внимание на одно примечательное место в этой опере.

Его отец, как объяснил мне Максим, всю жизнь терпеть не мог музыки Чайковского. Но по вполне понятным причинам никогда не смел высказать это открыто. И все же он это выразил. Шостакович сам написал либретто для «Леди Макбет», там преступление Сергея и Катерины открывается так. Во время их свадьбы пьяненький мужичок ищет, чем бы

поживиться, и открывает крышку колодца, где лежат смердящие трупы. И тогда мужичок начинает петь на тот самый мотив, с которого начинается увертюра оперы «Евгений Онегин»: «Какая вонь!.. Какая вонь!.. Какая вонь!..»

Все семейство Шостаковичей долгие годы пользовалось услугами частной зубной врачихи, дамы с какой-то замысловатой двойной фамилией. Она практиковала в своей крошечной квартирке, где прихожая была также местом ожидания для пациентов, а единственная комната — и жильем, и кабинетом. Вместе с дантисткой там жила старая прислуга, которая исполняла обязанности санитарки.

Как-то Максим Шостакович проснулся утром с сильной зубной болью. Он решил отложить все дела, сел в машину и поехал к врачихе. Войдя в прихожую, он застал там обычную картину. На диванчике сидели две пожилые женщины и потихонечку переговаривались. Очевидно, дожидались своей очереди. Максим тоже присел на стул.

Через некоторое время из комнаты вышла прислуга и обратилась прямо к нему:

— Ну что же вы здесь сидите?.. Проходите, пожалуйста...

Максим последовал за ней, но так и замер на пороге. Посреди комнаты он увидел стол, на нем гроб, в котором лежала старая дантистка. Постояв несколько минут, мой приятель повернулся и отбыл с зубной болью восвояси...

В мое время, в пятидесятых годах, на гуманитарных факультетах в университете существовала военная кафедра, и мы, пройдя курс, становились младшими лейтенантами запаса. Преподаватели, в основном полковники, были презабавные, приструнить они нас толком не могли, а потому занятия проходили очень весело.

Полковник по фамилии Ахлестин имел к тому же и комическую внешность: курчавая шевелюра, широкий нос — совершеннейший лев с замкового камня на нашем старом здании.

Вот он заглядывает в свой конспект и произносит:

— В случае атомного нападения трупы собираются в закрытом помещении и не показываются на глаза родственникам...

Я складываю перочинный нож и люблюсь своей работой. На серой доске только что вырезанная мною надпись: «Я тот солдат, который не хочет стать генералом».

Я стою под грибком, я — дневальный.

Это было в лагерях под Тверью, на Волге, в Таманской дивизии. Там я довольно быстро освоился и постиг важную закономерность. У армейской си-

стемы есть множество возможностей давить на человека, но только если ты составляешь часть какого-нибудь из ее подразделений — взвода, роты, полка... А коли ты по какой-нибудь причине оказался вне этого — заболел, отстал от части и т. п., — у этой страшной машины против тебя почти нет средств. Как говорит русский народ, мышь копной не придавишь.

По этой самой причине я немедленно вызвался быть дневальным — четыре часа стоишь под грибом, четыре спишь, четыре бодрствуешь, а на самом деле опять-таки спишь где-нибудь на свежей траве, подложив под щеку пилотку...

В памяти моей всплывают полузабытые лица офицеров...

Бодрый капитан Самоделко...

Унылый лейтенант Тюгушев...

В сравнении с этими вояками наши университетские полковники выглядели энциклопедистами.

Замполит полка говорит нам доверительно:

— Хорошо бы комсомольское собрание собрать, да вот нет аквариума... (Он так произносит слово «кворум».)

В военных лагерях я побывал дважды, в двух, кстати сказать, Таманских дивизиях — под Тверью и в Алабине, в Подмосковье.

В Алабино мы с моим другом Геннадием Галкиным прибыли с некоторым опозданием и сразу же попали на совещание к командиру батальона.

Там шла речь о предстоящих учениях с боевой стрельбой. Между прочим, наш командир сказал следующее:

— Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы во время этих учений кого-нибудь из солдат убило. В этом случае могут снизить оценку всему батальону.

Лет почти двадцать спустя, уже в конце семидесятых, я снова попал в Тверь. В тамошнем соборе была хиротония, моего друга В.С. посвящали в диаконский сан. И уже после долгого обеда в гостеприимном архиерейском доме у покойного Владыки Гермогена я отправился на вокзал, чтобы ехать в Москву.

Был душный, пыльный летний вечер. На перроне многолюдство и толчея. И тут я заметил военный патруль — офицера и двух солдатиков, которые, изнемогая от жары, брели вдоль состава... Вдруг я понял, что они служат в той самой, в моей Таманской дивизии. А надо сказать, вид у меня был уже почти поповский — борода, длинные волосы... Но я не выдержал и по-военному гаркнул:

— Таман-цы!

Они, бедняги, вздрогнули и инстинктивно подтянулись...

Я вхожу в подъезд углового дома на Арбате. Лифт довозит меня до последнего, шестого этажа.

Я нажимаю на кнопку звонка, мне открывают дверь квартиры и указывают на комнату, которую занимают Галкины.

Я стучусь и вхожу.

Мой сокурсник по университету Геннадий лежит на диване. При виде меня он поднимается, выпрямляется во весь свой исполинский рост, и просторная комната сразу становится тесной.

Это произошло в 1958 году, на день Святой Пасхи.

Мы учились с Геннадием Галкиным на одном курсе, его нельзя было не заметить в довольно серой толпе студентов — рост почти два метра, лицо красивое и умное. Был он тогда несколько застенчив. Как мне представляется теперь, это свое качество он не преодолел вполне до самой смерти, а потому и наличествовала в нем нарочитая, несколько напускная грубость.

Тогда же, весной пятьдесят восьмого, мы с ним сблизились, виделись почти каждый день — ходили пить чешское и отечественное пиво, а также кое-что покрепче. Тут я его и познакомил с Александром Нилиным и вообще со всей нашей компанией.

В 1960 году мы окончили университет, и Галкин со своей женой, тоже нашей сокурсницей, уехал на работу в Якутск, в тамошнюю республиканскую газету. Года через два Геннадий вернулся в Москву, он был полон якутских впечатлений и рассказов, порой весьма занимательных. Мне особенно запомнились два.

Поскольку в Якутске Галкин пил столь же регулярно, как и в Москве, то он попал в довольно обширную компанию людей, связанных этим времяпрепровождением. И вот среди них появился отстраненный от полетов за пьянство летчик гражданской

авиации по имени Борис Коганер. Однако же через некоторое время он от компании отстал, каковому обстоятельству никто из собутыльников особенного значения не придавал. Далее Галкин рассказывал:

— Лечу я как-то по редакционному заданию в Мирный. А там посадка в Олекминске. А в аэропорту в Олекминске, это я точно знал, в буфете всегда бывают крутые вареные яйца и водка. Для Якутии лакомство необычайное. Вот лечу и думаю: «Сейчас выпью сто пятьдесят грамм и съем три крутых яйца». Сели. Иду в буфет, вижу — яйца есть, водка тоже. Стоит небольшая очередь. И вдруг смотрю, впереди стоит мой приятель — Боря Коганер... Мы друг другу обрадовались, взяли уже не по сто пятьдесят, а бутылку и десяток яиц. Сидим, выпиваем, разговариваем... Тут я говорю ему: «Постой, как бы мой самолет не улетел». А Боря меня спрашивает: «Ты куда летишь?» — «В Мирный», — говорю. «Так что ж ты волнуешься, ведь я этот самолет веду». И вот тут у меня рука дрогнула — наливать еще или не наливать...

Галкин говорил, что в конце концов летчик Борис Коганер все же разбился.

А вот еще рассказ Галкина:

— Прилетаю я в командировку в Верхоянск. В самый разгар лета, в июле. Это зимой там полюс холода, а летом тридцать с лишним градусов жары... Утро, я с жуткого похмелья... Иду в пиджаке, потом обливаюсь, а раздеться до рубашки нельзя — комаров тучи... Дома все деревянные, пылица, улица немощеная. И вот она уже кончается и переходит в пыльную проселочную дорогу, которая скры-

вається за горизонтом... А в последнем двухэтажном доме располагается местная музыкальная школа... По случаю жары все окна настежь, и из них доносится музыка, детские упражнения. Все вместе — какофония ужасная... И под этот немыслимый аккомпанемент на противоположной стороне улицы хряк кроет свинью... Я смотрю на все это и думаю: «Ну вот приехали — здесь конец света».

В шестидесятом году вместе с Галкиным отбыл в Якутск и другой наш близкий приятель, Леонид Лейбзон. Поначалу он со своей женой тоже работал в республиканской газете. Встала морозная сибирская зима, и как-то Леонид с женой решили посетить местный драматический театр. Они попытались купить билеты, но выяснилось, что это совершенно невозможно. Все продано на месяц вперед. Но так как они были работники газеты, места все же удалось раздобыть. И вот Лейбзон с женой отправились в театр.

Шла какая-то пьеса Островского. Спектакль оказался ужасным. Но самое любопытное состояло в том, что в зале было очень мало народу... И лишь в антракте они сообразили, в чем тут дело. В фойе стояли две длинные очереди — в мужской и в женский туалеты. Этот театр был одним из немногих зданий в городе, где был теплый сортир, ватерклозет, тогда как повсюду — выгребные ямы с дощатыми кабинками... И во время самых страшных пятидесятиградусных морозов местные жители не жалели денег на театральные билеты, лишь бы стравить свою нужду в теплом месте. А к концу

представления ни в зале, ни во всем театре почти никого не оставалось.

Хорошо было бы рассказать это Станиславскому. Дескать, не всегда и не везде театр начинается именно с вешалки...

Ардов в течение всей своей долгой жизни никогда не курил и не пил. Причиной тому в большой степени была его врожденная болезнь — порок сердца. А потому он не мог, не умел отличать пьяного человека от трезвого. Разумеется, если этот пьяный более или менее связно говорил и стоял на ногах.

Как-то раз, когда нас с братом не было, на Ордынку забрели два наших приятеля. Были они в сильном подпитии, но отец, как всегда, этого не заметил. А тут, как на грех, перегорела в столовой лампочка, и Ардов попросил пришедших молодых людей ее заменить.

Те принесли стремянку, стали устанавливать ее под люстрой с нарочитым старанием и массой лишних движений. Потом один полез наверх, другой принял у него перегоревшую лампочку и подал новую... Но все это так неловко, что одна из них упала на пол и разбилась.

Ардов, который с недоумением наблюдал за действиями своих гостей, воскликнул:

— Вы что — клоуны?!..

Мы, как всегда, сидим в своей «детской» комнате, выпиваем и шутим. Среди нас сегодня Анатолий

Найман, он только что выписался из больницы, из кардиологии, так что пить ему нельзя. Но шутить — сколько угодно.

— А хотите, — говорит он, — я вас познакомлю с медицинскими сестрами из своей больницы?.. Там чудные девушки-медсестры.

— Толя, — говорит один из нас, — познакомьте нас с медицинскими сестрами. Мы их будем «любить, как сорок тысяч братьев»...

У нас ценились именно такие шутки. Ну, например:

«Фотография. Лев Толстой и Айседора Дункан. Оба босиком. (Редкий снимок.)».

Рождались у нас и стихотворные пародии.

Юноше, обдумывающему житье,
Делать жизнь по-каковски,
Смотри, говорю, не кончи ее,
Как горлопан Маяковский.

Самая первая в Москве алкогольная лечебница помещалась на улице Радио. Это обстоятельство позволило нам так перефразировать «лучшего и талантливейшего»:

Выпивка — та же добыча радия,
Еще сто грамм — и на улице Радио.

Ради красного словца мы не щадили даже саму Ахматову. Ее известные строки:

Я с тобой не буду пить вино,
Потому что ты мальчишка озорной, —

мы решительно упростили:

Я с тобой не буду пить вино,
Потому что ты мальчишка и г...

Было у нас открытие, относящееся одновременно к блоковедению и ахматоведению. Некто будто бы выяснил, что стихи Блока, которые начинаются со строк:

В голубой далекой спальне
Твой ребенок опочил.
Тихо вылез карлик маленький
И часы остановил... —

посвящены Ахматовой.

Найден якобы еще один вариант стихотворения, и первая строка там такая:

В голубой далекой горенке.

(Как известно, Горенко — девичья фамилия Анны Андреевны.)

Соответственно иной была и третья строка:

Тихо вылез карлик голенький...

Ахматова иногда повторяла некрасовские строки:

Кто снимал рубашку с пахаря,
Крал у нищего суму...

Я помню, как она смеялась, когда я предложил ей нашу редакцию.

Кто снимал рубашку с хахаля.

И еще — «Вариации на темы русских поэтов».

В парке бабье лепетанье,
Трели соловья,
На веревке колыханье
Мокрого белья...

На Ордынке появился очередной номер альманаха «День поэзии». Среди прочей чепухи в нем было стихотворение Е. Долматовского про аэропорт в монгольской столице. Там появляются три пьяных американских туриста, которые шокируют публику. Самый конец цитирую буквально:

А третий (дам простить прошу
За то, что о таком пишу)
У азиатов на виду
Справляет малую нужду.
С презреньем смотрит Азия
На это безобразие.

В первый же вечер, когда собралась наша компания, один из приятелей набрал номер телефона Долматовского и вкрадчивым голосом спросил:

— Могу я поговорить с Евгением Ароновичем Долматовским?

— Я у телефона, — ответили ему.

— С вами говорит первый секретарь посольства Китайской Народной Республики Сунь Хо...

— Я вас слушаю, — почтительно отозвался поэт.

— Чрезвычайный и полномочный посол Китая в СССР поручил мне довести до вашего сведения, что «с презреньем смотрит Азия на ваше безобразие».

— Неудачно шутите! — взревел Долматовский и бросил трубку.

XXII

Он сидит в глубоком мягком кресле с газетой в руках. Полосатая пижама, домашние тапочки. Коротко стриженная седая голова, лицо выражает значительность, серьезность и ум. Взгляд из-под седых бровей я назвал бы свинцовым. Вот он опускает сложенный газетный лист, делает плавное движение правой рукой и отдельно произносит:

— Э!.. Ба-рах-ло...

Это его обычная реакция на все явления современной жизни, почти на все, что он слышит от близких, читает в прессе или видит по телевизору:

— Э!.. Ба-рах-ло...

С отставным генералом госбезопасности Дмитрием Аркадьевичем Ефимовым я познакомился в пятидесятых годах и регулярно общался в течение нескольких лет, поскольку на его младшей дочери Наталье был некоторое время женат мой близкий приятель. Лет Ефимову в ту пору было за пятьдесят, и нам, студентам, он казался глубоким стариком. Этот человек притягивал меня к себе, ибо принадлежал к миру Лубянки, к тому, что пугало нас всех, но и завораживало своей безмерной властью.

Если суммировать мои впечатления о Ефимове, то он напоминал мне нож гильотины. Не само уст-

ройство, не некое техническое изобретение, а именно нож — карающий, беспощадный... Была в нем при всей профессиональной хитрости и уме какая-то удручающая примитивность, прямолинейность. Чувствовалась абсолютная готовность исполнить любой приказ.

Вот он сидит в своем кресле и медленно поднимает взгляд от газеты «Правда». Лист опускается ему на колени...

— Да, — произносит генерал без тени юмора, — в Америке пролетарская революция пока невозможна... Империализм там еще очень силен...

Мы втроем стоим у плиты на небольшой кухоньке в генеральской квартире. Сам Ефимов, его зять и я. Генерал собственноручно снимает большую эмалированную кастрюлю с огня.

— А теперь они должны настояться... Надо подождать минут двадцать...

Ефимов, уроженец Дона, учит нас, молодежь, варить со специями и есть раков.

Биография у него была совершенно удивительная. Был он сыном священника, каковое обстоятельство в свое время его карьере вредило. Притом настоящее его отчество было не Аркадьевич, а Ардалионович. Но он еще до войны имел ромб в петлице, то есть был на Лубянке генералом.

В самом конце тридцатых годов его послали в Ригу, он был там резидентом. Работал он под видом коммерсанта, был компаньоном какого-то предприимчивого

латыша. Можно себе вообразить удивление и ужас этого человека, когда его скромный партнер по бизнесу после известных событий 1940 года вдруг стал министром госбезопасности Латвийской ССР.

Генерал Ефимов был одним из тех, кто лично предупредил Сталина о готовящемся нападении Германии. В апреле 1941 года в своем персональном вагоне он прибыл в Москву и делал сообщение на Политбюро. Он говорил о том, что несколько сот сотрудников немецкого консульства в Риге не просто занимаются шпионажем, а готовят захват Латвии.

После его речи Сталин не проронил ни слова. Зато выступил Ворошилов, который сказал буквально следующее:

— Товарищ Ефимов — хороший работник и преданный делу партии человек. Но он не владеет нашей наукой, марксизмом. А наша марксистская наука позволяет сделать бесспорный вывод о том, что в ближайшее время войны между Германией и СССР не будет.

С тем Ефимов снова сел в вагон и отбыл обратно в Ригу.

А события шли своим чередом. 19 июня в Риге генерал принял последнего своего агента, это был капитан какого-то немецкого судна. Он сообщил, что нападение будет со дня на день, потому что уже грузят бомбы на самолеты. Капитан добавил, что должен немедленно отплыть из Риги. (Таков был негласный приказ — все немецкие корабли отозвать из советских портов, а все наши под любым предлогом задержать у германских причалов.)

— Тогда, — рассказывал нам генерал, — я повел его на продовольственный склад, и он погрузил на свое судно столько продуктов, что ему могло бы хватить до конца войны...

А затем Ефимов заказал литерный поезд, разместил в нем всех своих сотрудников с семьями, и 21 июня 1941 года этот состав отправился из Риги в Москву.

Во время войны Ефимов какое-то время был, если не ошибаюсь, в Новосибирске и, кажется, там познакомился с будущим министром путей сообщения Бещевым. Это обстоятельство имело важное значение в его судьбе.

В конце войны побывал он и в Германии. Тут я должен заметить, что он был бескорыстен и безупречно честен. Я сам видел в их квартире «германские трофеи» — несколько хрустальных бокалов и букет искусственных цветов. И при этом он сам рассказывал, что его коллеги по известному ведомству не брали даже золото, их интересовали только драгоценные камни... В частности, Ефимов упоминал эпизод, который стоит того, чтобы быть занесенным в анналы. Доблестные чекисты завладели в Дрездене короной саксонских королей. Они извлекли оттуда все самоцветы, а корону расплющили. Самый крупный алмаз, ее украшавший, если не ошибаюсь, Абакумов послал в Москву в подарок своему начальнику по фамилии Мешик.

В 1945 году Ефимов присутствовал на торжественном заседании по случаю годовщины Октября. Это происходило в Большом театре. Доклад де-

лал Калинин, а Сталин с прочими функционерами сидел в президиуме.

Калинин видел очень плохо, и доклад ему переписали аршинными буквами. Однако дело не обошлось без недоразумения. В какой-то момент докладчик прочел страницу, забыл ее перевернуть и стал читать то же самое...

Когда несчастный «дедушка» принялся за ту же страницу в третий раз, Сталин со своего места издал выразительное «гм!». Из-за кулис тотчас же появился человек в штатском, стал позади трибуны и в нужный момент собственноручно перевернул страницу...

Далее все шло гладко.

После войны генералу Ефимову досталась, наверное, самая хлопотная должность во всем их доблестном ведомстве. Он стал министром госбезопасности Литовской Советской Республики. Там шла настоящая война. В Вильнюсе улица, на которой жили все советские начальники, на ночь запиралась с обеих сторон, как в средние века.

И все же в дом, где жил Ефимов с семьей, была брошена бомба. Угодила она в детскую комнату, но его дочери, по счастью, были в это время в школе.

О том страшном времени Ефимов вспоминал не без некоторого удовлетворения. Дело в том, что литовских партизан, «лесных братьев», с которыми он воевал, поддерживали с запада, в частности из Лондона, Интеллидженс сервис. А потому с профессиональной точки зрения это было весьма интересно — двойные агенты, провокационные акции и т. д.

Первым секретарем компартии Литвы был несменяемый Антанас Снечкус. Но так как точка была горячая, там был и эмиссар московского Политбюро — М.А. Суслов. В здании ЦК их кабинеты соседствовали.

И вот, рассказывал нам Ефимов, как-то среди ночи у него дома зазвонил телефон. Звонили из каунасского отдела госбезопасности. Голос в трубке сказал:

— Товарищ министр, мы вас просим немедленно приехать к нам в Каунас.

— А что там у вас случилось? — спросил сонный генерал.

— Задержаны две спекулянтки, которые торгуют сахаром.

— Вы что, с ума сошли?! — возмутился Ефимов. — У вас там милиции нет?..

— Мы все понимаем, — отвечали ему, — и тем не менее мы очень просим вас приехать...

Тут генерал сообразил, что в Каунасе у него сидят не круглые идиоты, а потому ехать придется.

Он сел в свой «мерседес» и к утру прибыл в Каунас.

Там его ждал сюрприз. В местной ГБ сидели две дамы — жена и свояченица М.А. Суслова. Задержали их за то, что они, разъезжая в персональном суловском вагоне, выменивали на сахар предметы антиквариата. (Можно себе вообразить, что давали в послевоенной Литве за мешок сахарного песка.)

Ефимов усадил обеих узниц в свою машину и поехал обратно в Вильнюс. К этому часу уже откры-

лись учреждения, и генерал ввел их прямо в кабинет Суслова.

— Михаил Андреевич, — сказал он, — примите ваших дам. Но я вас прошу впредь ограничить их активность. Вы сами знаете, какая сейчас обстановка в республике...

Суслов пилюлю проглотил, но, как писал Зоценко, «затаил в душе некоторое хамство».

В восьмидесятых уже годах я услышал о том, что в одном из московских судов слушается дело о наследстве Суслова — чада и домочадцы чего-то не поделили. Говорили, что имущество покойного идеолога официально (то есть явно заниженно) оценивается в тогдашних двадцать миллионов. И, памятуя о литовской эпопее, я в это легко поверил...

А затем я вспомнил одно из самых любимых моих мест из «Бесов» Достоевского:

«Почему это, я заметил, — шепнул мне раз тогда Степан Трофимович, — почему это все эти отчаянные социалисты и коммунисты в то же время и такие невероятные скряги, приобретатели, собственники, и даже так, что чем больше он социалист, чем дальше пошел, тем сильнее и собственник... почему это? Неужели тоже от сентиментальности?»

Вернемся, однако, к моему сюжету. Довольно скоро после конфликта с Сусловым у генерала Ефимова произошло столкновение с хозяином соседнего с сусловским кабинета — со Снечкусом.

У литовцев, как известно, масса родственников за рубежом, в частности в Америке, и многие из них уже в те годы получали посылки из-за океана. Ра-

зумеется, в Вильнюсе процветала торговля американскими товарами. И вот выяснилось, что одной из главных деятельниц этого подпольного бизнеса была жена первого секретаря ЦК Снечкуса. Словом, Ефимову пришлось иметь неприятную беседу и с ним.

Суслов к этому времени, кажется, уже вернулся в Москву, но они со Снечкусом сговорились Ефимова убрать и сделали это очень легко под тем предлогом, что министром госбезопасности должен быть литовец. И Ефимов, сорока лет от роду, в генеральском чине, получает на Лубянке полную отставку. Разумеется, воспринимает он это как жизненный крах.

Вот тут-то в его судьбе и сыграло роль приятельство с Б.П. Бещевым. А надо сказать, еще будучи литовским министром, Ефимов оказал ему неоценимую услугу. Дело было так.

Как-то на Лубянке к нему обратился один из коллег:

— Слушай, Ефимов, ты Бещева знаешь?

(А тот был уже заместителем министра путей сообщения.)

— Знаю, — отвечает Ефимов, — хороший мужик. А в чем дело?

— Понимаешь, — отвечает коллега, — его министр посадить хочет, все время на него пишет.

— Дай-ка я взгляну, — попросил Ефимов.

И он прочел несколько доносов, которые сочинил тогдашний министр путей сообщения на своего зама.

После этого Ефимов встретился с самим Бещевым, ввел его в курс дела и дал несколько дельных советов, каким образом нейтрализовать министерские доносы и что в свою очередь выдвинуть против него. В результате Бещев подселел своего шефа и сам стал министром.

И вот уже будучи в отставке, как-то летом Ефимов по обыкновению всех тогдашних начальников поехал на футбольный матч на стадион «Динамо». Там он увидел Бещева, который ему очень обрадовался и спросил:

— Ты где теперь?

— Нигде, — отвечал Ефимов. — Я в отставке...

— В отставке? — изумился министр. — Так я тебе работу дам...

И он немедленно сделал Ефимова своим заместителем по охране железных дорог. Разумеется, Ефимов считал подобное назначение для себя унижительным, но именно эта должность и спасла ему жизнь.

В то время на Лубянке началась очередная кровавая баня, которая кончилась лишь с расстрелом Берии и его ближайших приспешников... А про Ефимова там забыли, он так и сидел под крылышком у Бещева...

В шестидесятых годах мы с его зятем, бывало, за глаза подтрунивали над Ефимовым. Мы называли его экс-гауляйтером Литвы и обсуждали такой гипотетический сюжет: Литва отделяется от Союза, их командос похищают Ефимова, а потом его судят в Вильнюсе, как израильяне Эйхмана в Иерусалиме.

Мы тогда не могли себе представить, что наступят такие времена, когда сюжет этот станет весьма реалистическим. Только вот сам генерал до этих дней не дожил.

Помнится, в начале шестидесятых пришлось мне уехать на два дня в Вильнюс. Когда я вернулся оттуда, Ефимов расспрашивал меня о впечатлениях, а они были довольно отрадны. На фоне московской всегдашней неустроенности Прибалтика радовала эдаким не вытравленным европеизмом. Чистые улицы, уютные кафе, отсутствие очередей...

— Да, — отзывался наш «экс-гауляйтер», — в том, что там теперь нормальная жизнь, есть толика и моего труда...

Я тогда постеснялся, а может быть, и побоялся сказать ему напрямик, что вся эта относительная нормальность существует именно вопреки его собственным и его товарищей усилиям.

XXIII

Мзыка смолкла, коричневая лента сменилась розовым ракордом, и режиссер радиопередачи нажал на магнитофоне кнопку «стоп». В наступившей тишине раздается голос главного редактора:

— Так. Давайте обсуждать.

Новые коллеги мои, редакторы, один за другим берут слово. Я то и дело слышу:

— Эта песня хорошая, а эта плохая... Этот рассказ хороший, а тот плохой...

Я смотрю на всех с изумлением. Они сошли с ума или друг перед другом искусно притворяются? Вся эта радиопередача, все эти песенки и рассказы такое дерьмо, что об этом вообще говорить совестно... А вот поди ж ты — волнуются, спорят...

Это мой первый рабочий день на Всесоюзном радио, в редакции сатиры и юмора. Все сотрудники отдела собрались в кабинете главного и слушали только что записанную на пленку передачу.

Но пролетел месяц, другой... Я побывал на множестве таких обсуждений, и вот на очередном прослушивании я уже слышу собственный голос:

— Этот рассказ хороший... Эта песня плохая...

Так я стал разбираться в сортах дерьма. И весьма профессионально.

Коллега заглядывает в дверь и говорит мне:

— Тебя вызывают в политконтроль.

Так у нас на радио называлась цензура.

— К чему они там прицепились? — бормочу я, поднимаясь на шестой этаж.

За столом сидит мрачноватого вида немолодая тетка, перед ней папка с текстом подготовленной мною новогодней передачи.

— Посмотрите.

Она указывает мне на такое место из невинного детского рассказика: «Посреди зала возвышалась елка, похожая на трехступенчатую ракету».

— Ну и что? — спрашиваю я цензоршу.

— Как это — ну и что? — отвечает она. — Почему тут у вас сказано «трехступенчатая»?.. Ведь именно на таких ракетах доставляют в космос советские корабли... Я этого не могу пропустить в эфир...

— Хорошо, — говорю я, понимая, что спорить бесполезно, — давайте напишем так: «Елка, похожая на космическую ракету»...

— Вот это другое дело, — с удовлетворением говорит цензорша.

Я собственноручно делаю исправление в тексте и удаляюсь.

Цензорские функции осуществлял не только этот «политконтроль», это делали решительно все начальники, вплоть до самого председателя Комитета по радиовещанию и телевидению. В те годы я открыл такую закономерность: предугадать, чего именно потребует цензор, невозможно, ибо ход его

мысли непредсказуем. Мне даже пришло в голову, что какой-нибудь ученый мог бы взяться за написание труда «Психология цензора», работа могла бы получиться прелюбопытнейшая.

Несмотря на всю бдительность «политконтроля» и начальства, на радио по временам случались весьма скандальные истории. Одна из них привела даже к некоей реорганизации.

В мое время, в начале шестидесятых, существовал на радио небольшой отдел выпуска программ. Состоял он из одного симпатичного еврея по фамилии Киперман и нескольких его помощников. Этот Киперман принимал у нас папки с текстами и давал добро на прокручивание наших пленок. В свободное же время, какового у него почти не было, он, сидя за своим столом, занимался чтением весьма популярных в те годы фельетонов Леонида Лиходеева.

Но вот вместо кипермановского отдела возникла огромная, с десятками сотрудников главная редакция программ. И все это лишь по одной причине: выяснилось, что необходимо проверять не только сами радиопередачи, но, так сказать, их стыки — чем кончается одна и с чего начинается другая. И выяснилось это весьма скандальным образом.

Был самый обычный день. В эфир одна за другой выходили запланированные и записанные на пленку передачи. Но в какой-то момент на радио поступило экстренное сообщение ТАСС, его следовало передать немедленно. Информация была такая: «Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР Никита Сергеевич Хру-

щев отбыл с дружественным визитом в Финляндию».

После этих слов диктора заиграла музыка и разухабистый женский голос спел:

Не ходи ко мне, Никита,
 Не волнуй мою ты кровь,
 Твое сердце будто сито,
 В нем не держится любовь.

Разумеется, никакой намеренной провокации тут не было. За сообщением ТАСС пошла очередная передача «Музыка из кинофильмов», и она, как на грех, начиналась именно этой частушкой из картины «Светлый путь»...

Старые сотрудники радио вспоминали множество подобных историй. Но все это, как правило, относилось ко временам, когда почти все передачи шли из студии прямо в эфир. (В мое время таким образом передавались лишь последние известия, все прочие программы были записаны на пленку.)

Мне запомнился забавный случай с диктором по фамилии Герциг. Этот человек был страстным игроком на бегах. И вот как-то раз он примчался в радиостудию прямо с ипподрома. Ему надо было прочесть в эфир рассказ, который начинался такими словами: «Тонула женщина». А поскольку мысли диктора были все еще на конском ристалище, он произнес в микрофон:

— «Тонула лошадь»...

После некоторого замешательства Герциг вышел из положения и добавил:

— А рядом с нею тонула женщина...

Далее он без запиночки прочел весь незамысловатый рассказ. Но все же какой-то слушатель из Рязани прислал на радио письмо. Он осведомлялся о судьбе тонувшей в начале рассказа лошади — спасли ее или нет?..

Августовским воскресным днем шестьдесят первого мне позвонили из редакции и просили немедленно явиться на службу. Я отправился с большим неудовольствием, ибо до этого случая в выходной день меня туда ни разу не вызывали.

Явившись в Радиокomiteeт, я застал там то, что у военных называется готовностью номер один. Предстоял космический полет Германа Титова, и мы должны были рекламировать это событие по первейшему разряду.

Мне пришла в голову такая мысль: пригласить на студию Леонида Утесова и попросить его исполнить некое попури из его старых песен, а тексты переделать так, чтобы был прославлен полет Титова. Идея понравилась начальству. Утесов согласился, новые тексты были заказаны и написаны.

(Забегая вперед скажу, что номер этот имел необычайный успех. На радио дали знать, что в момент трансляции нашей передачи Хрущев и члены тогдашнего Политбюро сидели за завтраком. И вот когда зазвучал утесовский голос, Хрущев поднялся за столом и стал аплодировать. Его примеру последовали «и другие товарищи». Впрочем, ни сам Утесов, ни тем паче я за это никаких поощрений не получили.)

Только что окончилась запись. В студии духота — жаркий августовский день.

Утесов специально приехал с дачи, вызвал своих музыкантов. Вот от спрашивает меня:

— Ну и сколько ты мне теперь за это заплатишь?

Тут я замялся. По части оплаты наше Всесоюзное радио было организацией весьма несолидной...

Я говорю:

— Леонид Осипович, вы распишитесь в двух ведомостях — за саму радиозапись и как бы за репетицию. Тогда получится полторы ставки... (Это составляло примерно двадцать пять рублей.)

— Так, — произносит старый артист, — скоро ты меня за бутерброд с сыром вызывать будешь...

XXIV

Мы с Юлией Марковной Живовой стоим у высокого забора. Это даже не забор, а эдакая железобетонная решетка, за которой бродят по грязному снегу три десятка неопрятно одетых людей. Это прогулочный дворик в Московской психиатрической больнице имени Кащенко.

Мы кричим:

— Иосиф!.. Иосиф!..

Один из гуляющих подбегает к забору. Это Бродский.

— Скажите Ардову, — отчаянно выкрикивает он, — пусть сделает так, чтобы меня немедленно выпустили отсюда!.. Я не могу! Я больше не могу!..

(В эту больницу будущего нобелевского лауреата упрятали для того, чтобы уберечь от готовящейся расправы. Увы! — он этого не выдержал, вышел на волю, отправился в Ленинград. Дальнейшее известно.)

Летом 1962 года моя мать побывала у Ахматовой в Комарове и, вернувшись, рассказывала о двух молодых поэтах, которых Анна Андреевна приблизила к себе. Это были Иосиф Бродский и Анатолий Найман. Помнится, она говорила, что Бродский читал свои стихи в Комарове не очень охотно, а Найман — весьма охотно — и свои, и Бродского.

К тому же лету относится и такой забавный эпизод. К Ахматовой в Комарово приехала юная особа из Ленинграда. Говорила исключительно о поэзии. Между прочим, сказала и такое:

— У меня есть весь Бродский.

Ахматова возразила ей:

— Как это можно говорить «весь Бродский», когда ему только двадцать два года?..

В этот момент распахнулась дверь и на пороге появился сам Иосиф — он принес два ведра воды. Ахматова указала на него своей гостье и произнесла:

— Вот вам — ваш «весь Бродский».

Довольно скоро после этого оба — Бродский и Найман — появились у нас на Ордынке. Хотя они принадлежали к числу гостей Анны Андреевны, у меня и у брата, да и у всей нашей компании, установились с ними близкие отношения.

Бродский и Найман совершенно не походили друг на друга. Иосиф — рыжеволос, высок, нос с горбинкой. Анатолий — худощав, изящен, волосы как воронье крыло.

Ахматова как-то сказала Найману:

— У мальчиков Ардовых на голове еще волосы. А у вас — шерсть молодого здорового животного.

У Бродского уже была слава — стихи его талантливы и эффектны. Авторское чтение, громогласное и несколько картавое, эффекты заметно усиливало. У Наймана славы не было. Стихи его утонченны, под стать изящной фигуре. Оба они были ловеласы, а точнее — донжуаны.

Мы с Иосифом идем по Ордынке и сворачиваем в проходной двор. Цель нашего путешествия — шашлычная на Пятницкой улице. Он мне говорит:

— Михаил, я начал писать поэму... Вот послушайте начало:

Однажды Берия приходит в мавзолей
И видит, что в коробке кто-то рылся.
Он пригляделся: точно, кишек нет!
— Кто с...л кишки! — прокричал Лаврентий.
Ответа не было... Лишь эхо
Чуть слышно повторяло: кишки!... кишки!..

— Великолепно! — говорю я. — Превосходно! И больше ничего не надо...

— А я решил писать дальше, — отвечает Иосиф. — Уже начал продолжение:

Чека пришло в движенье. Абакумов...

— Не надо, не надо, — говорю я, — умоляю вас — не надо! Это так прекрасно — удаляющееся под землю «кíшки!.. кíшки!..»

Шуточные стихи Бродского вообще блистательны. Я, например, запомнил с его голоса такое:

К Аспазии

Я гибну, милая Аспазия,
От пьянства и от безобразия.

К Делии

Я гибну, дорогая Делия,
Увы! — от пьянства и безделия.

Луначарского Бродский называл Лунапаркский.

И, продолжая эту тему, прибавлю такое. В наше время весьма распространенной была аббревиатура ЦПКиО (Центральный парк культуры и отдыха). Произносилось это «цэпэкио». Так вот Бродский несколько перефразировал Маркса:

— Пролетариату нечего терять, кроме своих цэпэкио.

Он изобрел и такой девиз:

— На каждого мосье — досье.

В судебном заседании перерыв. Подсудимого не увели, Бродский стоит в окружении милиционеров и подтянутых людей в штатском.

Я приближаюсь к этой группе.

— Михаил! — кричит мне Иосиф. — Держите!

Я совсем забыл, что Бродский взял поносить какую-то беспризорную ушанку, которая несколько месяцев пылилась в прихожей на Ордынке. И вот теперь он почему-то решил эту шапку мне вернуть. Он пытается бросить мне ее, но не успевает даже взмахнуть рукою — на ней виснут три милиционера.

Иосиф улыбается растерянно и беспомощно.

«Суд над тунеядцем Бродским» (так эта трагикомедия именовалась официально) запомнился мне очень хорошо. Иосиф там держался великолепно. Особенно хороши были два его ответа.

Судья просила его относиться к суду уважительно. На это Бродский сказал:

— Нельзя уважать абстракцию.

Некоторые справки о гонорарах за переводы были отвергнуты, и в результате получалось, что заработки его были ничтожны. Судьяха подытожила: на такие деньги взрослый человек прокормиться не может, а следовательно, Бродский — тунец. На это Иосиф отвечал так:

— Я две недели сидел в милиции, и мне давали расписываться в том, что я съедал провизии в день на сорок копеек. Из этого следует, что взрослый человек может существовать на сумму гораздо меньшую, чем составляют мои гонорары.

Очень хорошо запомнился мне Лернер, тот самый, что организовал этот суд. Сказать, что он выглядел именинником, — ничего не сказать. Он суетился, включал и выключал магнитофон, совал газетчикам текст речи обвинителя, шутил с многочисленными милиционерами, подсаживался к лицам «в штатской форме», снисходительно спорил с интеллигентными молодыми людьми, записывал для газеты состав суда... Словом, он вел себя, как помреж на первой своей премьере.

Еще запомнился мне Владимир Григорьевич Адмони, который был одним из свидетелей защиты. Он стоял вполоборота к залу.

Судьяха ему говорит:

— Свидетель, прошу вас обращаться к суду.

Адмони отвечает:

— Простите, старая профессорская привычка обращаться к аудитории.

Уж коли речь зашла о Владимире Григорьевиче, мне вспомнился и такой эпизод, связанный с ним и Бродским. В свое время «литературная общественность Ленинграда» была слегка взбудоражена тем фактом, что первая на русском языке публикация Рильке — крошечный сборничек — была подготовлена Адмони, а переводы все до одного принадлежали его жене — Тамаре Сильман. Как-то мы с Бродским подвезли Адмони на такси. Он попрощался с нами, вышел из машины, а я говорю Иосифу:

— У этой парочки Рильке в пуху.

Надо было видеть, как хохотал Бродский.

Анатолий Найман стоит посреди столовой на Ордынке и поет:

Возле казармы
 В свете фонаря
 Кружатся попарно
 Листья сентября.
 Ах, как давно
 У этих стен
 Я сам стоял.
 Тебя, Лили Марлен,
 Тебя, Лили Марлен.
 Лупят ураганным —
 Боже, помоги!
 Я отдам Иванам
 Шлем и сапоги,
 Лишь бы разрешили
 Мне взамен

Под фонарем
Стоять вдвоем
С тобой, Лили Марлен,
С тобой, Лили Марлен.

Есть ли что банальней
Смерти на войне
И сентиментальной
Встречи при луне.
Есть ли что круглей
Твоих колен,
Колен твоих,
Их либе дих,
Моя Лили Марлен,
Моя Лили Марлен.

— Я давно не слышала ничего такого циничного,
— произносит Ахматова.

В этот день Найман вернулся из деревни Норинской, он навещал там ссыльного Иосифа, который только что написал свой текст «Лили Марлен».

Ссылка Бродского действовала на Ахматову весьма болезненно. С той поры, как его осудили, она перестала повторять фразу, которую я прежде то и дело слышал от нее:

— Я — партии Хрущева. Он освободил мою страну от позора сталинских лагерей.

Но я запомнил и такое:

— Он (Иосиф) как будто нанял кого-то, чтобы ему делали классическую биографию.

Я помню, Анна Андреевна пыталась привлечь к хлопотам о Бродском Д.Д. Шостаковича, который в те годы был депутатом Верховного Совета. С этой целью Ахматова пригласила его на Ордынку.

Утром в день его визита она сказала нам за завтраком:

— Все это хорошо, но я не знаю, о чем надо говорить с Шостаковичем...

А Максим рассказал нам, что, собираясь на Ордынку, Дмитрий Дмитриевич говорил: «О чем же я буду говорить с Ахматовой?..»

И тем не менее оба остались довольны друг другом, общие темы у них нашлись, хотя, если не ошибаюсь, помочь Бродскому Шостакович не смог.

Иосиф томился в своей ссылке и, разумеется, пытался принимать посильное участие в хлопотах... Письма его просматривались, и мы все об этом помнили. Он знал это и сам, а потому прибегал к инсинуациям и намекам, порой, впрочем, весьма прозрачным. В те годы начальником КГБ был Семичастный. Так вот в одном из писем Бродский писал: «Мне кажется, что все дело тормозится тем, чья фамилия состоит из семи частей».

В железную калитку стучат, и я слышу два голоса:

— Миша!..

— Миша!..

Я выглядываю за ворота и вижу двух «странников» с рюкзаками, это — Найман и Бродский. Я распахнул калитку, мы обнялись.

Было это в июне 1967 года. Я тогда жил в Коктебеле, в доме А.Г. Габричевского и Н.А. Северцовой. Самое забавное в неожиданном появлении двух поэтов было то, что оба прибыли в Крым с командировочными удостоверениями. Найман — от московского журнала «Пионер», а Бродский — от такого же ленинградского издания «Костер».

Я тогда, помнится, весьма цинично пошутил — предложил Иосифу псевдоним специально для этого журнала: Дж. Бруно, собственный корреспондент «Костра». А сам он себе придумал нечто более литературное — Капитон Лебядкин.

Году в семидесятом Бродскому пришлось лежать в больнице в городке Сестрорецке. Там его поместили в палату коек на двадцать. На каждой тумбочке стоял транзисторный приемник «Спидола», и больные все вместе и каждый по отдельности слушали целыми днями радиопрограмму «Маяк». Бродскому это было невыносимо...

Однажды он остался в палате один и тогда сам включил все двадцать приемников, настроив их на волну русской службы Би-би-си... В те времена советскому человеку слушать Лондон воспрещалось, а потому эффект этого поступка был оглушительный...

К тому же времени относятся и такие мои воспоминания. В Москве, в Сокольническом парке, устраивались международные выставки, на которых работала наша приятельница Аманда Хейт. Она нас познакомила с замечательным своим сотрудником — Майком Туми. Это был ирландец, католик, человек,

прошедший войну и побывавший в Дюнкере. Мы с Найманом и Бродским частенько хаживали к нему в английский павильон, где нас угощали джином, виски, вкусно кормили.

Как-то, вспоминая об этих визитах в Сокольники, Бродский мне сказал:

— Помнишь, душа Тряпичкин, как мы с тобой едали «на счет доходов аглицкого короля»?

Особенно хорош был консервированный язык, которым нас угощал Майк Туми. Мы с Бродским называли его English language.

Под соломенным абажуром вьется и назойливо жужжит оса. Мы ужинаем на кухне в коктебельском доме Габричевских — Наталья Алексеевна, Бродский, мой приятель Александр Авдеенко и я. Иосифа сильно раздражает жужжание, он поднимается и резким движением руки сбивает осу...

— Так, — растерянно произносит Наталья Алексеевна, — готово...

Оса угодила ей за вырез платья. Бродский хватается за голову. За столом тишина, общая растерянность.

Через минуту оса выбирается, не причинив нашей хозяйке никакого вреда...

Этот незначачий эпизод запомнился мне еще и потому, что Бродский упомянул о нем в своем стихотворении.

В ту осень, а было это в октябре 1969 года, Наталья Алексеевна написала его портрет, по-моему, весьма удачный. А Иосиф на оборотной стороне кар-

тона собственноручно начертал сонет, который начинался так:

Мадам, Вы написали мой портрет,
Портрет поэта, хвата, рукосуя...

.....
За то, что Вам адресовал осу я...

В тот год друзья раздобыли Бродскому путевку в коктебельский писательский дом, а я тогда жил у Габричевских. Собственно, уже у одной Натальи Алексеевны, Александр Георгиевич скончался за год до этого — в сентябре 1968-го.

Бродский там пришелся ко двору. Мы ежедневно выпивали, шутили, слушали иностранное радио... Шумно отметили день моего рождения 21 октября, Бродский по этому случаю сочинил пространную шутливую оду.

А еще мы ходили в совхозный сад джимболосить. Это местный крымский глагол, он означает собирание остатков в садах и виноградниках. Само слово это Бродскому чрезвычайно понравилось. Он даже шуточную оду ко дню моего рождения окончил так:

За сотню строк наджимболосив,
Я Вас приветствую, Иосиф.

Я сворачиваю с Литейного проспекта, и передо мною появляется светлая громада. Это Преображенский всей гвардии собор, окруженный забором из трофейных турецких пушек. Я вхожу в знакомый мне

подъезд углового дома, поднимаюсь на второй этаж. Здесь живет Бродский.

Отец поэта Александр Иванович отворяет мне входную дверь и ведет в комнату.

Иосиф сидит один за огромным обеденным столом и ест ложкой прямо из банки немислимые консервы, какую-то свинину с горохом. Александр Иванович указывает мне на сына и произносит:

— Полюбуйтесь, гражданин мира.

Узнав, что Иосиф собирается уезжать из страны, я отправился в Питер попрощаться с ним. (Тогда нам всем казалось, что расставания эти — навсегда.)

Я провел с Бродским почти целый день — один из самых его последних здесь: сопровождал его в милицию, военкомат, жилищную контору и т. д. И почти всюду возникали бюрократические препятствия, Иосиф то и дело звонил в ОВИР, чтобы преодолеть эти затруднения.

И вот мы с ним бредем вдоль ограды Преображенского собора. Вдруг он резко поворачивается ко мне и говорит:

— Уехать отсюда — невозможно, но жить здесь — немисливо!

XXV

Кладбище — жуткое... Мало того что могилы вырыты беспорядочно, но рядом чуть ли не зона... Во всяком случае, прямо над крестами и памятниками висится забор с колючей проволокой, стоят автоматчики на вышках...

Все мне видится Павловск холмистый.

6 марта 1966 года. Мы с Бродским бредем по кладбищу в Павловске, в том самом Павловске холмистом... Мы ищем место для могилы Ахматовой. Нас сюда послала И.Н. Пунина.

Узкая дорожка между могилами упирается в забор, и там стоит сосна — рослая, стройная...

— Ну, — говорю я, — вот тут, пожалуй, можно было бы... Но нет, не пойдет... У Пастернака три сосны, а у нас будет только одна...

Иосиф грустно усмехается:

— Ей бы эта шутка понравилась...

Мы медленно бредем прочь от павловского кладбища... И вдруг нас осеняет... Зачем мы слушаем эту дуру Пунину? Ахматова сама точнехонько указала место для своей могилы. Мы вспоминаем последние строки «Приморского сонета»:

И кажется такой нетрудной,
 Белея в чаще изумрудной,
 Дорога не скажу куда...

Там средь стволов еще светлее,
 И всё похоже на аллею
 У царскосельского пруда.

Мы спешим в Комарово на кладбище... Там широкая дорожка, она упирается в забор, а сзади — целый лес сосен (гораздо больше, чем в Переделкине). И мы понимаем: именно здесь...

А дальше начались многодневные хлопоты, мы боролись за то, чтобы нам отдали место в конце дорожки. Мы говорили, что могила Ахматовой будет предметом поклонения тысяч людей и т. д. А нам отвечали, что кладбище в Комарове — «перспективное» и должно развиваться в запланированном направлении, а посему на центральной алее никого хоронить нельзя...

В наши хлопоты были вовлечены многие лица, в том числе поэт Михаил Дудин, тогдашний секретарь ленинградской писательской организации. В те дни он пребывал в самом Комарове, в Доме творчества. Он позвонил оттуда и сказал мне буквально следующее:

— Я там только что был, на кладбище... Они предлагают другое место, в стороне... По-моему, очень хорошее место, надо соглашаться...

А я, грешник, с трудом удержался, чтобы не сказать ему: «Хорошо, Михаил Александрович. Если вам предлагаемое ими место так нравится, быть может, побережь его для вас?..»

В конце концов все решилось в самый день похорон. Помогла Зоя Борисовна Томашевская. Ее приятель, фамилия которого, если не ошибаюсь, была Фомин, в те годы состоял в должности главного архитектора Ленинграда. Он-то и приказал местным деятелям прекратить сопротивление.

Гроб с телом Ахматовой прибыл в Ленинград на самолете лишь 9 марта. Вечером того же дня в квартире на улице Ленина у нас был первый разговор о судьбе архива Ахматовой. Все бумаги забрали себе И.Н. Пунина и А.Г. Каминская. Бродский, Найман и я опасались, и, как выяснилось, совершенно справедливо, что дамы эти распорядятся своей добычей не самым лучшим образом.

Мы поделились своими подозрениями с Н.Я. Мандельштам, которая вполне разделяла наши опасения.

— Так что же делать? — спросил кто-то из нас.

— Выкрасть! — сказала Надежда Яковлевна тоном профессионального шпиона. — Немедленно выкрасть у них все бумаги!

Но, к великому сожалению, эта здравая идея реализована не была.

Я вспоминаю еще, что 5 марта вечером Гумилев, Бродский, мой брат Алексей Баталов и я разбирали фотографии, которые хранились у Анны Андреевны. Среди них оказался крошечный кусочек пожелтевшего картона, на котором рукою Ахматовой было написано:

Молитесь на ночь, чтобы вдруг
Вам не проснуться знаменитым.

Хор поет:

— В путь узкий хождшии прискорбный, вси в
житии Крест яко ярем взявшии, и Мне последовав-
шие верою, приидите насладитесь, их же угодовах
вам почестей, и венцов небесных...

Кинооператор приближается к гробу и поднима-
ет камеру, на него тут же кидается Лев Николае-
вич Гумилев, почти выбивает аппарат из рук...

И это повторяется в течение всего кинопоследо-
вания.

Отпевание Ахматовой проходило у Николая
Морского, в нижнем храме, 10 марта — на шестой
день после смерти. Я помню, как мы с Найманом го-
ворили: если бы 5-е число не было днем смерти Ста-
лина, если бы не помешал нормальному течению
событий омерзительный советский праздник 8 Мар-
та, если бы не борьба за место на кладбище — это
были бы похороны не для Ахматовой, они бы не со-
ответствовали всей ее жизни.

После отпевания гроб повезли в ленинградс-
кий Союз писателей. По удивительному совпаде-
нию он размещается в доме, который в свое вре-
мя, как и Фонтанный дворец, принадлежал гра-
фу Шереметеву. На нем красовался все тот же
герб с девизом «Deus conservat omnia» («Господь
сохраняет все»).

Но и это еще не все. В Москве тело Ахматовой
лежало в морге Института Склифосовского, то есть

в странноприимном доме, который построили для города все те же Шереметевы.

Бродский, Найман, я и прочие в Союз писателей не пошли, чтобы не слышать глупостей и пошлостей, которые произносили над гробом великого поэта «инженеры человеческих душ». Побывавшая там Л.Д. Большинцова впоследствии рассказала нам о примечательном эпизоде.

Во время прощания с телом Ахматовой некую даму-распорядительницу упрекнули в том, что все устроено очень плохо. Та ничтоже сумняшеся отвечала:

— В следующий раз организуем лучше.

— Следующий раз будет через сто лет! — крикнули ей из толпы.

Впрочем, без глупостей и пошлостей не обошлось и на кладбище. Там слово получил Михалков, он говорил «от имени московских писателей, которые не успели попрощаться с Ахматовой», а кроме того, объявил:

— Настоящее искусство не имеет срока.

Слава Богу, это продолжалось недолго, возле гроба появился священник и предал покойную земле.

На могиле был установлен сосновый крест. (Кстати сказать, изготовленный на киностудии «Ленфильм» по просьбе А. Баталова.)

Крест этот почему-то очень смущал человека, который в те времена был директором Дома творчества и комендантом писательского поселка. Он неоднократно выражал свое беспокойство поэту

Александр Гитовичу, другу Ахматовой и ее соседу по даче.

Как-то раз комендант сказал:

— Крест пора убирать... Мы там поставим колонку...

— Колонку ставят в ванной, — отвечал ему Гитович.

На похоронах Ахматовой особенно запомнился мне Арсений Тарковский. Он единственный произнес человеческие слова над ее могилой:

— Пусть ей земля будет пухом.

А несколько дней позже, после панихиды в ее домике, в Будке, он сказал мне с тоскою и болью:

— Как же жить теперь будем, Миша?..

Он написал на смерть Ахматовой цикл стихотворений, некоторые из них превосходны.

Я очень хорошо помню тот день, когда Ахматова вышла из своей маленькой комнаты и в руках у нее была небольшого формата тетрабочка стихов.

— Посмотри, — сказала она мне, — по-моему, это очень хорошо.

Это были переписанные рукою автора тринадцать стихотворений Тарковского.

Больше прочих в этой тетрабочке Анне Андреевне нравились стихи «Шах с бараньей мордой на троне...». Я помню, она повторяла:

— Ах, восточные переводы, как болит от вас голова...

Тарковский был веселым, остроумным, очаровательным собеседником. Прибавьте к этому редкос-

тную красоту его лица, в котором светились ум и доброта. Экспромты и каламбуры его были бесподобны. Помнится, он зашел на Ордынку, чтобы взять конверт с деньгами, Ардов возвращал ему долг. Тарковскому открыли дверь, и он с порога произнес:

Я пришел к тебе с приветом,
Чтобы деньги взять при этом...

Я запомнил эпиграмму Тарковского на поэта-переводчика Вильгельма Левика:

Левик,
Иди в хлевик,
Там — твое место,
Там твоя невеста.

Тарковский жил в довольно запущенной квартире, но приводить ее в порядок запрещал. Он говорил: — После меня — хоть ремонт!

Мне очень нравились стихи Тарковского, я и теперь люблю некоторые из них. Арсений Александрович знал об этом, а потому у нас с ним возникла некая близость. Он надписывал мне свои книги, а я бережно храню их. Есть у меня и несколько его писем.

А дальше... дальше я круто изменил свою жизнь, а потому наши отношения с Тарковским прекратились. Впрочем, я радовался за него, потому что к нему наконец-то пришли признание и даже слава, которых он более чем заслуживал.

Когда на московские экраны вышел фильм «Зеркало», меня угораздило пойти его посмотреть. Надо

сказать, к творчеству Тарковского-младшего я относился довольно скептически. Разумеется, на фоне самодеятельного и убогого советского кино он блистал профессионализмом.

«Андрея Рублева» я не стал смотреть, ибо знал, что там наличествует кощунственное изображение Спасителя. А «Солярис» я видел и много во время сеанса смеялся, ибо самый жанр фантастики представляется мне совершенной чепухой. Тогда же я и сформулировал свое отношение к творчеству Андрея Арсеньевича, позаимствовав слова Льва Толстого:

— Он пугает, а мне не страшно.

Но вернусь к «Зеркалу». Там меня постигло ужасное огорчение. Я услышал голос, читающий стихи за кадром, и голос этот принадлежал любимому и уважаемому мною Арсению Александровичу. Мне это было тем более отвратительно, что я знал некоторые подробности его биографии.

В фильме есть такой эпизод. Героиня, то есть мать автора картины, тщетно ждет в деревне приезда мужа, и в это-то время реальный отец режиссера Арсений Тарковский читает свое любовное стихотворение, посвященное Марине Ивановне Цветаевой, — «Свиданий наших каждое мгновение...». Дескать, мама тут ждет, а папа где-то предается любовным утехам. Это ли не хамство в самом изначальном, библейском смысле этого слова?.. Это ли не глумление над наготою собственного отца?..

Но я и еще кое-что знаю. Я знаю, что в момент возникновения романа Тарковского и Цветаевой он

был женат не на матери Андрея, у него уже была другая жена... До сих пор не могу понять, как Арсений Александрович мог на все это согласиться...

Мы с ним больше так и не увиделись. Но в самый год его смерти я прочел нечто, что живо напомнило мне годы близости с ним, то давнее время, когда я так любил и его самого, и его стихи. Одна московская газетенка опубликовала его старое, довоенное стихотворение, где я нашел мысли и чувства, которые с давних пор испытываю по отношению к самому для меня отвратительному виду искусства — кинематографу:

Я, как мальчишка, убежал в кино.

Косая тень легла на полотно.

И я подумал: мне покоя нет.

Как бабочка, трещал зеленый свет.

И я увидел двухэтажный дом

С отворенным на улицу окном.

Хохочущую куклу за окном

С коротким носом над порочным ртом.

А тощий вислоухий идиот

Коротенького за руку ведет,

Другой рукою трет себе живот,

А коротышка ляжками трясет.

Тут кукла льет помой из окна,

И прыгает от радости она.

И холодно, и гадко дуракам,
И грязный жир стекает по щекам.

И стыдно мне, когда другого в рот
Целует сердобольный идиот.

И Пат смешон, и Паташон смешон,
Но Пату не изменит Паташон.

И тошно мне, и голова болит.
Куда мне скрыться от моих обид?

1938

Мы особенно часто общались с Тарковским самое первое время после смерти Ахматовой. Союз писателей, как водится, учредил комиссию по ее литературному наследию. (Это была первая такая комиссия, теперь уже существует вторая.) Так вот Арсений Александрович был одним из членов, я — секретарем, а председателем — Алексей Сурков. Заседания наши происходили в Ленинграде. Впрочем, деятельность той комиссии была совершенно безуспешной. наших рекомендаций и решений никто даже во внимание не принимал, и в конце концов комиссия перестала существовать.

А. Сурков сидит на председательском месте, я рядом с ним, несколько поодаль — прочие. Только что прозвучало предложение поручить подготовку посмертного сборника Ахматовой Лидии Корнеевне Чуковской. На это Сурков говорит:

— Лично я против Лидии Корнеевны ничего не имею... Но вы поймите меня правильно... Когда пись-

ма, адресованные в наши советские инстанции, становятся достоянием иностранных газет и их радио раньше, чем доходят до адресата, это выглядит по крайней мере странно...

Тут я неожиданно для самого себя произношу:

— Да, это уже стало хорошей традицией...

Сурков смотрит на меня с недоумением и неудовольствием...

Это заседание происходило в Ленинграде в феврале, если мне не изменяет память, 1967 года. Там мне особенно запомнился Виктор Максимович Жирмунский. Он говорил:

— Я могу сообщить присутствующим, что мною уже подготовлен текст сборника Ахматовой для большой серии «Библиотека поэта». Но тут возникает проблема: кто напишет к этому сборнику предисловие? Я не могу написать: «В 1910 году Ахматова вышла замуж за поэта, фамилия которого не сохранилась». Я таких предисловий писать не умею, и учиться этому мне поздно...

(Тут надобно добавить, что в те годы запрещалось всякое упоминание в печати имени Н.С. Гумилева.)

Затем Виктор Максимович поразил меня и всех присутствующих по меньшей мере странным сравнением. Он говорил о преступном решении И.Н. Пуниной продать половину бумаг Ахматовой в Центральный архив, а другую — в Публичную библиотеку.

— Разделить архив Ахматовой на две части, — говорил тогда Жирмунский, — это все равно что

расчленив тело прекрасной женщины — голову отправить в Москву, а тело оставить в Ленинграде.

В этом месте академика перебила сотрудница Публичной библиотеки по фамилии Мандрыкина. Она стала говорить о достоинствах своего учреждения. Но Жирмунский решительно остановил ее:

— Вы меня тут не учите уважать Публичную библиотеку! Я был ее читателем, когда вас всех, сидящих в этой комнате, еще не было в живых!

Мы с Арсением Александровичем Тарковским идем по Литейному в Союз писателей, предстоит очередное заседание ахматовской комиссии. Я указываю ему на серую громаду известного в Питере «Большого дома», в котором располагается КГБ, и говорю:

— Это здание строили два архитектора, итальянцы по происхождению, — Пыталли и Растрелли.

XXVI

Мы идем по каменистой коктебельской дороге. Александр Георгиевич Габричевский говорит мне:

— Есть только один способ узнать совершенно точно, кто именно из твоих друзей и знакомых стукач. Только этот способ не всегда удобен и даже не всегда доступен...

— Какой же это способ? — спрашиваю я.

— А вот какой. Когда тебя уже посадили и следователь ведет допрос, он непременно расспрашивает тебя о всех твоих знакомых. Так вот, когда ты назовешь имя стукача, он его как бы не слышит. Он не хочет, чтобы это имя попало в протокол... Поэтому, пропустив его мимо ушей, он тебе говорит: «Так... Ну а еще кто у вас бывал?» Все те люди, которые у него не вызовут ни малейшего интереса, — стукачи.

А.Г. Габричевский и Н.А. Северцова бывали на Ордынке не очень часто, тем не менее мои родители и они, что называется, дружили домами.

Первым, кто был принят в коктебельском доме Габричевских, был мой старший брат Алексей Баталов. Наталья Алексеевна говорила:

— Я нашла его на волейбольной площадке.

Произошло это году в пятидесятом, в доме Габричевских предстояло торжество по случаю дня рождения Ольги Северцовой, племянницы Н.А. Было решено устроить шарады, а участников для этой театрализованной игры почти не было. Наталья Алексеевна отправилась на поиски. Она подошла к волейбольной площадке и стала наблюдать. И тут один юноша неудачно ударил по мячу, а после этого изобразил припадок отчаяния — схватился за лоб, воздел руки к небу и т. д. Когда окончилась игра, Наталья Алексеевна подошла к молодому человеку и пригласила его в гости. Это был будущий актер Алексей Баталов, тогда студент школы при Художественном театре...

Из Коктебеля наш Алексей вернулся в совершеннейшем восторге от дома Габричевских. В его речи то и дело мелькало «дядя Саша» и «тетя Наташа»... Затем его дружба с Габричевскими еще больше укрепилась: друг его юности Олег Стукалов (сын Н.Ф. Погодина) женился на Ольге Северцовой.

Мое собственное, особенное сближение с Габричевскими произошло в 1962 году. В августе мы с Алексеем отдыхали в Коктебеле, и только тут я стал завсегдаем их гостеприимного дома. Когда Алексей уехал, а я еще оставался в Крыму, Наталья Алексеевна предложила мне поселиться у них. С тех самых дней и вплоть до кончины Александра Георгиевича, а потом и Натальи Алексеевны меня связывала с ними обоими самая тесная дружба.

Александр Георгиевич был человеком сильного и ясного ума, и это в сочетании с редкостной эрудицией. Он знал классические и многие современные языки, античную и новую философию, литературу, искусство, не чужд был и наукам естественным... В формировании моей личности дружба с ним имела первостепенное значение. В 1964 году он стал моим крестным отцом, хотя, честно говоря, для этой роли он не вполне подходил. Христианство было частью его необычайно обширных знаний, а вовсе не «единым на потребу», как тому надлежит быть.

Вот мы идем с Габричевским по Тепсеню, холму, который возвышается в Коктебеле над заливом и поселком. Я ему говорю:

— Терпеть не могу Белинского. Какие глупости и гадости он адресовал Гоголю!.. А что он писал о Пушкине в самые последние годы жизни поэта?.. Баратынский в своей эпиграмме называет его «намеднишним Зоилом». Достоевский пишет: «Он мне ругал Христа по матери...» Совершенно смрадная фигура...

Александр Георгиевич смотрит на меня и говорит:

— Мой дедушка Станкевич мне рассказывал...

Я замер в удивлении. Разговор этот происходит в 1964 году...

— Так вот он рассказывал, — продолжает мой спутник, — в сороковых годах прошлого века они с братом Николаем и еще некоторые их приятели вернулись в Россию из германских университетов, где изучали философию. А Белинский в то время был участником их совместных попок... И вот когда под

утро расходились по домам, он останавливал в подворотне кого-нибудь из них и расспрашивал о немецкой философии. Сам Белинский никаких иностранных языков не знал, и ему приходилось довольствоваться сведениями, которые он получал от собутыльников... А потом в своих статьях он спорил с немецкими философами...

Дед Габричевского Александр Владимирович Станкевич жил очень долго и являл собою тип старого русского барина. Лето он проводил в имении, зиму — в собственном доме в Большом Чернышевском переулке, в непосредственной близости от консерватории. Особняк этот и по сию пору стоит, а в шестидесятых годах на калитке еще красовалась старинная надпись: «Свободенъ отъ постоя».

А.В. Станкевич в сопровождении камердинера Ивана каждый день совершал прогулку по Чернышевскому переулку. Но стоило ему увидеть хотя бы один автомобиль, как он немедленно возвращался домой. Цивилизации он не терпел.

Весьма занята история о том, как в его дом провели электричество. Все понимали, что старик этого никак не одобрит, а потому работы были сделаны летом, пока он был в имении. И вот уже осень, по возвращении в московский дом надо было ему сообщить об этой важной перемене. С этой целью к нему был послан самый любимый внук — Юра. Мальчик вошел к деду, который лежал на кровати, а в изголовье у него стоял столик с лампой.

— Дедушка, — сказал Юра, — у нас теперь электрическое освещение. Смотри!

Мальчик нажал кнопку, и под стеклянным абажуром вспыхнула лампочка.

— Так, — сказал дед, — а как ее погасить?

— Очень просто. Так же, как и зажечь... Надо опять нажать эту кнопку... Вот так...

Как только свет погас, старый барин изо всей силы ударил рукою по лампе, та грохнулась на пол и разбилась. Он до смерти своей так и не признал электричества.

Габричевский живо вспоминал такую сцену. Коридор в доме на Чернышевском залит электрическим светом... Дед идет из столовой в свой кабинет, а впереди шествует камердинер Иван, который на вытянутой руке несет бронзовый шандал с шестью горящими свечами...

Если кто-нибудь из его малолетних внуков шалил или вел себя неподобающим образом, А.В. Станкевич говорил с характерной интонацией:

— Дурак, дурак, бойся Бога!

Мы совершаем очередную прогулку по Тепсеню. Габричевский говорит:

— Как-то раз следователь спросил меня: «Что бы вы сделали, если бы ваш отец поджег детский дом?»

— Ну и что же вы ему сказали? — спрашиваю я.

— Я ему сказал: «Это вопрос схоластический, я на него отвечать отказываюсь...»

Его отец Георгий Норбертович Габричевский был известный ученый, врач. В Москве теперь есть научный институт и улица его имени. Он довольно

рано умер, его вдова ездила в Париж к Родену и заказала надгробный памятник.

С этим монументом тоже связана целая история. Наталья Алексеевна рассказывала мне, что в тот день, когда большевики переименовали Большой Чернышевский переулок в улицу Станкевича (в честь Николая Владимировича), родственников сего последнего выгнали из наследственного дома. Там поместилось какое-то учреждение. Памятник работы Родена по причине революции и разрухи так и не был установлен на кладбище, а стоял в одной из комнат особняка. Новые владельцы выбросили эту скульптуру из окна. По счастью, мраморный монумент упал в сад на мягкую землю и не разбился.

И тут Александр Георгиевич стал ходить по тогдашним музеям, умоляя бесплатно взять работу Родена. В конце концов хлопоты его увенчались успехом, скульптуру забрали. Теперь это один из немногих подлинных «Роденов» в России.

С некоторого времени наши прогулки с Габричевским стали ежедневными. Ему предписано было врачами ходить пешком, и я взял на себя труд сопровождать его — и в Коктебеле, и в Москве. Во время этих неспешных моционов я жадно впитывал его мысли, суждения, самый строй его речи.

Мы идем на Тверскую, в аптеку. Габричевский указывает мне на здание новой гостиницы и говорит:

— Посмотри, уменьшающиеся пропорции.... Сразу видно, что архитектор — ученик Жолтовского.

(С Иваном Владиславовичем Жолтовским он был в свое время дружен, и это имя во время наших прогулок возникало частенько.)

Вот Габричевский смотрит на здание Арсенала, высящееся за кремлевской стеною.

— Узкий фриз и окна в глубоких нишах. Жолтовский говорил, что это классический способ создать впечатление, будто стена очень массивная...

В другой раз он обращает мое внимание на фальшивые балкончики с порталами, они обрамляют окна на старом здании университета.

— Жолтовский видеть этого не мог. Он говорил: «Как это можно украшать архитектуру — архитектурой?»

И еще о Жолтовском. Александр Георгиевич вспоминал, что Иван Владиславович относился к своим коллегам, советским архитекторам, с необычайным презрением. Он говорил: «Я по крайней мере знаю, что, где, как и у кого украсть... А они, невежды, даже и этого не могут...»

Габричевский свидетельствовал, что Жолтовский, пользуясь своим влиянием, отстоял здание Манежа, которое уже было предназначено большевиками на снос...

— Я помню, — говорит мне Александр Георгиевич, — я вышел из дома в январе двадцать четвертого года... Стояла длинная очередь к гробу Ленина, люди жгли костры и грелись... А вот тут, на Манеже, висел загадочный лозунг: «Могила Ленина — колыбель человечества»... Это я не понимаю, что такое...

— Это не так уж трудно расшифровать, — отвечаю я.

— Ты так думаешь?

— Я надеюсь, вы не станете мне возражать, — говорю я, — если я скажу, что партия большевиков — сатанинская пародия на Церковь, съезды — это соборы, парады, демонстрации и митинги — ритуальные действия, чучело Ленина пародирует святые мощи и так далее...

— Это справедливо, — отзывается Александр Георгиевич.

— Так вот, — продолжаю я, — лозунг «могила Ленина — колыбель человечества» — это такая же точно сатанинская пародия на слова молитвы, обращенной ко Христу: «Гроб Твой — источник нашего Воскресения».

— Александр Георгиевич, — говорю я во время очередной прогулки, — а вы знаете, как теперь называется еда? Продукты питания...

— Да? — удивляется он. — А что это означает?

— Ну, по смыслу самих слов очевидно, что кто-то чем-то питается, потом происходит пищеварение, а затем выходит — «продукт питания»... И главное, это наименование абсолютно соответствует качеству теперешнего продовольствия.

— Это интересно, — отзывается Габричевский... Про Ахматову Габричевский говорил:

— Я ее боюсь.

И она о нем то же самое:

— Я его боюсь.

Как-то я привез Ахматову к Габричевским. Туда забрел случайный гость и стал расхваливать выставку картин Рериха. Ахматова и Габричевский молчали. Когда этот человек ушел, Анна Андреевна сказала:

— Александр Георгиевич, неужели вам нравится Рерих? По-моему, это немецкий модерн.

— Финский, — поправил Александр Георгиевич. (Естественно, под словом «модерн» оба подразумевали определенный стиль начала века.)

Летом шестьдесят шестого года я писал в Коктебеле воспоминания об Ахматовой. Когда это было готово вчерне, я показал мемуары Габричевскому. Он отозвался весьма благосклонно и притом добавил, имея в виду Анну Андреевну:

— Это очень хорошо, что она была такая умная.

В шестьдесят пятом году, зимой, я впервые прочел «Четвертую прозу» Мандельштама, пленился ею и собственноручно переписал на машинке. (Как можно было догадаться, одной из причин появления этого шедевра было судебное дело, иск переводчика Горнфельда, который обвинял Мандельштама в плагиате.)

В Коктебеле я показал свой экземпляр «Четвертой прозы» Габричевскому. Она привела его в восторг. При этом я услышал такое:

— Я был свидетелем на суде Мандельштама и Горнфельда. В перерыве между заседаниями Осип Эмильевич повел меня как свидетеля со своей стороны в ближайшее кафе... Пока мы с ним сидели за столиком, он говорил мне почти все то,

что здесь написано... Но — поразительное дело — тогда это не произвело на меня ни малейшего впечатления...

Я спросил его:

— А кто там, в этом деле, был прав?

— Горнфельд, конечно, — отвечал Габричевский, — Мандельштам у него все списал...

— Тогда почему же вы выступали со стороны Мандельштама?

— Ну... — Александр Георгиевич замялся. — Мандельштам все-таки поэт, а Горнфельд вообще неизвестно что такое...

Мы гуляем по Тепсеню. Я говорю:

— Я люблю стихи с отроческих лет. И вот для самого себя сформулировал, каким образом можно отличить хорошие стихи от плохих. Ну, разумеется, речь идет только о таких образцах, где полноценная рифма, абсолютное владение размером и т. д. В настоящих стихах всегда наличествует напряжение, струна, тетива. Если этого нет, то никакие формальные выкрутасы на помогут... Есть важное свидетельство об этом, которое оставил Мандельштам, его восьмистишие:

Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то — четырех задыханий
Придет выпрямительный вдох.

И так хорошо мне и тяжело,
Когда приближается миг,

И вдруг дуговая растяжка
Звучит в бормотаньях моих.

Александр Георгиевич выслушал все и сказал:
— Это же самое и почти такими же словами мне говорил Фальк. Он этого добивался в живописи.

С Робертом Рафаиловичем Фальком Габричевский был дружен и его картины ценил очень высоко.

Помню также его отзыв об Александре Тышлере, который на моей памяти один раз появился в Коктебеле.

— Пожалуй, сейчас это лучший художник, — сказал А.Г., а потом добавил: — На этой территории...

Габричевский поделился со мной таким существенным наблюдением. Старая, классическая живопись всегда притягивает зрителя к себе, манит тебя внутрь рамы... А искусство XX века, модерн, наоборот — выпирает, вылезает из рамы, наступает на зрителя.

Будучи человеком воспитанным и учтивым, об искусстве Габричевский высказывался весьма откровенно. Тут истина была для него дороже самых близких отношений.

Старый приятель его Н.Ч. как-то преподнес ему свой роман, а потом спросил о впечатлении. Александр Георгиевич стал говорить нелюбезно... В конце концов автор не выдержал и вскричал:

— Ну что ты от меня хочешь?.. Я же не Хемингуэй!

Я на всю жизнь запомнил наш с ним разговор о Михаиле Булгакове. Было это в 1966 году, только что вышел номер журнала «Москва» с первой частью «Мастера и Маргариты». Поначалу я был от романа в восторге. Александр Георгиевич охладил мой пыл, сказав:

— Он плохо пишет.

— А кто же пишет лучше? — вскричал я.

— Гоголь, — отвечал Габричевский.

Притом к самому Булгакову он относился с большой симпатией. Габричевский вспоминал, как в мастерской у Макса Волошина Леонид Леонов читал какой-то свой роман, а Булгаков при этом сидел на антресолях и дремал. Но как только чтение прерывалось, Михаил Афанасьевич демонстративно перевешивался через перила и бурно аплодировал Леонову.

XXVII

Воспитанный Ахматовой, я воспринял от нее отрицательное отношение к коктебельскому культу Волошина. Но поскольку я подружился с Габричевскими, жил у них месяцами, я волей-неволей бывал в «доме поэта».

Раза два мне пришлось сопровождать тогда Александра Георгиевича в Духов день. День рождения Макса — 16 мая 1877 года — был на второй день праздника Пятидесятницы. Это дало ему повод всякий год устраивать семейный праздник именно в День Святого Духа, что само по себе весьма кощунственно, а уж коли речь идет об антропософе, да и язычнике, то ни в какие ворота не лезет.

В шестидесятых годах у Марии Степановны Волошиной в Духов день собиралось немногочисленное общество, состоявшее из интеллигентов второго, а то и третьего разбора. Какие-то отставные певички, немолодые, но восторженные девицы... Мы с Габричевским бывали чуть ли не единственными мужчинами. Угощение обыкновенно состояло из самодельных тортов с большим количеством питьевой соды, а также коробок с шоколадными конфетами, которые были решительно несъедобны. Марии Степановне дарили шоколад в большом ко-

личестве, и коробки эти месяцами или даже годами лежали в кладовке, дожидаясь своей очереди попасть на стол.

Вдова поэта привыкла к поклонению певичек и девиц, а потому изъяснялась всегда тоном капризным и безапелляционным.

— У нас в Коктебеле, — говорила она, — все раскопали этими гольденвейзерами...

— Бульдозерами, Мария Степановна, — почтительно поправляла какая-нибудь обожательница поэзии Макса.

— Какая мне разница? — отвечает вдова. — Все равно гадость!

А вслед за этим произносится такое:

— У нас в Коктебеле совершенно невозможно достать ни человеческого мяса, ни человеческого молока...

(Разумеется, тут нет и тени антропофагии, речь идет о качестве съестных припасов.)

В особо торжественных случаях сама Мария Степановна появлялась у Габричевских. Помнится, я был свидетелем забавной сценки. Некий местный коктебельский житель стал вспоминать двадцатые годы, когда Коктебель был малолюдным, а залив — полным рыбы. При сем присутствовавшая вдова Волошина необычайно оживилась и, по-рыбачки отмерив ладонью расстояние на левой руке, показала:

— Вот такие были лобань!..

Тут старожил стал говорить о ядовитых рыбах, прикосновение к которым вызывало воспаление и

отеки на руках. Мария Степановна с тем же воодушевлением и тем же жестом подтвердила:

— Вот такие бывали опухоли!..

Стоит жаркий летний день. Я поднимаюсь на балкон, место занятий Габричевского, и застаю его в некотором смущении. Он говорит:

— Сейчас ко мне придет Мариэтта Шагинян и будет спрашивать о своей книге. А я не знаю, что ей сказать...

Незадолго до этого Шагинян преподнесла ему свое сочинение о чешском композиторе Мысливечке, и, разумеется, опус этот был ниже всякой критики.

— Я убедился, — продолжает Габричевский, — что она не знает слова «шпалы». Описывая свое железнодорожное путешествие, она замечает, что «рельсы лежали на бревнах»...

Тут я поспешно ретируюсь, ибо вижу, что Шагинян уже поднимается по лестнице.

Через час, когда она ушла, я опять поднялся на балкон.

— Ну и что вы ей сказали по поводу книги? — спрашиваю я Габричевского.

Он невозмутимо говорит:

— Я ей сказал, что бревна, на которые кладут рельсы, называются шпалами...

Вообще я полагаю, что феномен Мариэтты Шагинян еще ждет своего исследователя. Литературная одаренность, бурный, неукротимый темперамент, необычайная плодовитость, полное, мягко выража-

ясь, отсутствие умственных способностей — и все это в сочетании с искреннейшей преданностью делу партии Ленина — Сталина...

Шагинян сама рассказывала у Габричевских о своем замечательном лондонском приключении. Она попала в Англию в октябре 1956 года, когда советские люди еще за границу не ездили. И вдруг она увидела на улице демонстрацию. Разумеется, Шагинян решила, что свой социальный протест выражают эксплуатируемые капиталистами рабочие. И немедленно присоединилась к процессии, пошла в первых рядах, размахивала клюкой и что-то выкрикивала... А демонстрация тем временем достигла своей цели, каковой оказалось советское посольство. Это был протест против зверского подавления нашими танками венгерской революции... И тут Шагинян поспешно ретировалась.

Одна моя знакомая дама в шестидесятых годах жила в том же литфондовском доме, что и Шагинян. За табльдотом та то и дело повторяла:

— Я сталинка...

Ей возражали:

— Но позвольте, ведь Сталин — убийца миллионов...

— Ну и что? — говорила старуха. — Они все были предатели...

— Как? Двадцать миллионов предателей?..

— Да! Да! Да! — отвечала Шагинян. — Вот сейчас все твердят о Бухарине. А у меня с Бухариным был роман. У меня есть его любовные письма!.. Там каждая строчка дышит предательством!..

Среди тех, кого я видел в доме Габричевских, был лишь один человек, который мог считаться другом Александра Георгиевича, был ему ровней. Это Генрих Густавович Нейгауз, Гарри, как его звали близкие люди. Насколько я могу судить, Габричевский и Нейгауз сошлись и подружились во время войны в страшном городе Свердловске, куда оба были высланы. Их связывала не только общая любовь к музыке в частности и к искусству вообще — оба они были люди пьющие, а это, как известно, особенно сближает. В конце жизни Габричевский уже совершенно не пил, ну а о Нейгаузе этого нельзя сказать.

Мы с Габричевским идем по Тепсеню. Я говорю:

— Вы помните строчки Мандельштама о Нейгаузе?

— Нет, — отвечает А.Г., — я вообще первый раз об этом слышу...

Я читаю ему:

Разве руки мои — кувалды?
Десять пальцев — мой табунок!
И вскочил, отряхая фалды,
Мастер Генрих, конек-горбунок.

— Замечательно, — говорит Габричевский.

Удачность мандельштамовской метафоры подтвердилась для нас впоследствии неожиданным образом. Уже после смерти Генриха Густавовича его вдова Сильвия Федоровна просила Габричевского перевести с немецкого на русский юношеские письма Нейгауза. Писаны они были в Вене, где он учил-

ся, и адресованы в Россию его родителям. Отец рекомендовал сыну играть не Брамса, а Шопена. В ответ на это Нейгауз-младший писал, что Шопена может исполнять «любой фортепианный жеребец»...

У Нейгауза был удивительный облик. Он был тонок, изящен, элегантен, лицо излучало ум, доброту, живость... Шутки его бывали блистательны. Рассказывали, например, как ему довелось в консерватории слушать игру на фортепиано какой-то очень красивой студентки. Отзыв его был такой:

— Венера... Только бы еще руки обломать...

Я помню, с какой любовью, с какой-то особенной улыбкой он говорил о своем лучшем ученике — Рихтере. Такой, например, рассказ. Святослав Теофилович сдавал экзамен то ли по истории музыки, то ли по так называемой музыкальной литературе. Какое бы произведение ни называли экзаменаторы, Рихтер, не говоря ни слова, подсаживался к роялю и играл...

Наталья Алексеевна однажды спросила:

— Гарри, что такое пошлость?

Нейгауз отвечал:

— Это нечто вроде религии. Только гораздо сильнее.

Когда Генриху Густавовичу исполнилось семьдесят пять лет, Габричевские жили на даче в Переделкине у своего зятя Олега Стукалова. Чуть ли не в самый день рождения туда пришел Нейгауз с женою. Наталья Алексеевна накрыла стол и огласила шуточные поздравительные телеграммы, которые

сама сочинила к этому дню. Генрих Густавович очень смеялся, с удовольствием принял их и при этом сказал:

— Вот это я понимаю телеграммы... А то мне все желают долгих лет жизни... И это в мои семьдесят пять...

В тот вечер состоялся и мой с ним существенный разговор, один-единственный, ибо, когда он говорил с Габричевским, я, разумеется, помалкивал. А тут мы с Нейгаузом заговорили о русской поэзии XX века. Он знал ее великолепно и, к радости моей, оказался поклонником Иннокентия Анненского. Причем он помнил наизусть не только самые известные стихи, например, «Смычок и скрипка», но даже и шуточные, такие, как сонет-акростих «Петру Потемкину на память книга эта».

И еще воспоминания того вечера. Сильвия Федоровна, швейцарка и вообще дама сдержанная, следила за тем, чтобы Нейгауз не злоупотреблял спиртным. А Наталья Алексеевна как хозяйка его угощала. И вот Генрих Густавович в сердцах заявил, что разница между ними — как между «православием и кальвинизмом».

В шестидесятые годы на коктебельской почте почему-то невероятно перевирались присылаемые туда телеграммы. Как-то летом у Габричевских ждали Нейгауза. Он должен был приехать из Ялты. Наконец приносят телеграмму. Но в ней все искажено так, что невозможно понять, которого числа и каким видом транспорта прибудет Генрих Густавович. И всю эту телеграфную абракадабру венчала подпись: «Пейгауз».

В доме Габричевских я близко познакомился с одной из колоритнейших фигур тогдашней Москвы — Ниной Константиновной, вдовою художника Льва Бруни и дочерью поэта Бальмонта. Она иногда заходила и на Ордынку к Ахматовой.

Царствие Небесное Нине Константиновне, человек она была доброжелательнейший, необычайно общительный и совершенно возвышающийся над бытом. В начале шестидесятых она еще где-то состояла на службе, а потому бывала в своем крымском доме лишь наездами.

Появляясь у Габричевских в Коктебеле, она нам говорила:

— Я решила поехать в Судак в мае, но Николай Иванович не хотел меня отпускать. Тогда Софья Федоровна посоветовала мне обратиться к Ивану Петровичу, а тот позвонил Андрею Сергеевичу, чтобы он через Анну Семеновну воздействовал на Николая Ивановича.. И еще я просила об этом Клавдию Карповну, и в конце концов Николай Иванович разрешил мне уехать на три недели..

Тут следует заметить, что ни один из нас, слушавших этот монолог, не только не знал никого из упоминаемых людей, но и представления не имел даже, где именно Нина Константиновна служит.

В этом роде были почти все ее рассказы. Там мелькали какие-то Леночки, Зинули, Сереженьки и т. д. и т. п. Изредка, правда, появлялась в этом водовороте имен спасительная соломинка — Корней Иванович, но она сейчас же исчезала среди Петр Петровицей, Иван Казимировицей и Станислав Сергеичей..

Как-то раз Нина Константиновна рассказала нам, что ехала в поезде от Москвы до Феодосии в одном купе с детской писательницей Валентиной Осеевой. Разумеется, как и все прочие бесфамильные Семены Степаньчи и Софьи Капитоновны, попутчица оказалась милейшим человеком и всю дорогу угощала нашу Н.К. превосходнейшим таллинским шоколадом.

— Я съела так много шоколада только еще один раз в жизни, — призналась рассказчица. — Это было на юбилее Корнея Ивановича.

Когда умерла Ахматова, Нина Константиновна приехала в Ленинград на похороны. Как и многие из нас, в Союз писателей на «гражданскую панихиду» она не пошла, и мы долго ждали на комаровском кладбище, пока привезут гроб...

Было очень холодно. В какой-то момент Нина Константиновна отозвала меня в сторону. Она открыла свою поместительную сумочку, извлекла оттуда фляжечку с коньяком и стопочку, мы с ней выпили, чтобы немного согреться...

После похорон мы отправились в ахматовский домик, в Будку. Там была панихида. Служили священник и диакон. Как только они облачились, Нина Константиновна извлекла из той же своей сумки тоненькую церковную свечку и зажгла ее.

Тут я понял, что она — великий человек.

XXVIII

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОРДЫНКУ

В начале лета 1997 года со мною произошло чудо. Я получил толстую книгу в белой бумажной обложке, на которой значится: «Записные книжки Анны Ахматовой (1958—1966)» (Москва — Torino, 1966).

Как только я взял в руки этот объемистый том, в памяти с необычайной ясностью всплыла такая сценка. Ахматова сидит в нашей столовой на Ордынке, перед нею книга. На переплете надпись — «Тысяча и одна ночь», но типографского текста там нет. Анна Андреевна записывает имена людей, которые придут к ней сегодня. А над этим списком — стихотворные строки и еще какие-то записи. Я говорю:

— До чего же сложную работу вы даете будущим исследователям. У вас тут стихи, телефонные номера, даты, имена, адреса... Кто же сможет в этом разобраться?..

Ахматова поднимает голову, смотрит на меня серьезно и внимательно, а затем произносит:

— Это будет называться «Труды и дни».

С того памятного мне разговора протекло тридцать с лишним лет. И вот теперь все, что содержится в объемистой тетради «Тысяча и одна ночь» и во

всех прочих записных книжках Ахматовой, вышло из печати.

В одной из них я обнаружил такое суждение:

«Что же касается мемуаров вообще, я предупреждаю читателя: 20% мемуаров так или иначе фальшивки. Самовольное введение прямой речи следует признать деянием уголовно наказуемым, потому что оно из мемуаров с легкостью переключивается в [серiousные] почтенные литературоведческие работы и биографии. Непрерывность тоже обман. Человеческая память устроена так, что она, как прожектор, освещает отдельные моменты, оставляя вокруг неодолимый мрак. При великолепной памяти можно и должно что-то забывать» (стр. 555).

Пока я читал записные книжки Ахматовой, память то и дело вырывала из мрака фразы, слова, целые сценки, истории... Вспышки того самого «прожектора» следовали одна за другой, ибо записи делались в конце пятидесятых и в шестидесятые годы. А я тогда был уже взрослым, почти сложившимся человеком и, разумеется, вполне понимал, кто такая Анна Ахматова и что такое ее стихи...

Нечто подобное в свое время испытала и сама Анна Андреевна, это было осенью 1965 года:

«Записная книжка Блока дарит мелкие подарки, извлекая из бездны забвения и возвращая даты полузабытым событиям: и снова деревянный Исаакиевский мост, пылая, плывет к устью Невы. А я с Н.В. Недоброво с ужасом глядим на это невиданное зрелище, и у этого дня даже есть дата...» (стр. 672).

То, что я ощутил при чтении записных книжек Ахматовой, не могу назвать «подарками мелкими», ибо через тридцать с лишним лет я вдруг мысленно вернулся домой, на нашу «Легендарную Ордынку», в круг когда-то близких и все еще дорогих мне людей.

«Анненский об Инне и обо мне» (стр. 14).

Это — история уже известная. Брат снохи Иннокентия Федоровича С.В. Штейн женился на старшей сестре Ахматовой — Инне. Узнав об этом браке, поэт сказал:

— Я бы женился на младшей.

Анна Андреевна не имела обыкновения передавать чьи-нибудь комплименты, сказанные ей. Но этот рассказ я слышал от нее неоднократно.

«Виташевская — Б9-20-69» (стр. 25).

В пятидесятых годах Ахматова непрерывно занималась переводами. Это был ежедневный изнурительный труд. После завтрака она удалялась в свою маленькую комнату и не выходила оттуда до трех часов дня...

Переводы ей давали главным образом в Гослитиздате, где дама по фамилии Виташевская заведовала одной из редакций. Я хорошо помню ее, была она довольно полная, уже седая, у нее был муж, лет на пятнадцать ее моложе.

Иногда Анне Андреевне приходилось приглашать эту даму в гости. И я вспоминаю, как Ахматова произносит такую фразу:

— Сегодня вечером придет Виташевская с молодым мужем и будет мне рассказывать, как она — НЕ берет взятки...

«Т.С. Айзенман Гб-16-99

<...>

Алигер ДЗ-22-13» (стр. 26).

Татьяна Семеновна Айзенман была довольно близкой приятельницей Ахматовой. Ее фамилия в сочетании с именем Алигер напомнила мне такую сценку.

Как-то вечером в гостях у Ахматовой были обе эти дамы. Некоторое время все трое сидели в маленькой комнате... Но вот дверь открылась, и из нее вышла Татьяна Семеновна. Она уселась на диван и нервно закурила.

— Нет, — произнесла она, — я не могу это слушать...

— А что произошло? — спросила моя мать.

— Вы понимаете, — объяснила Айзенман, — разговор все время такой. Анна Андреевна говорит: «Я вчера написала стихи». Маргарита Осиповна сейчас же произносит: «И я вчера написала стихи». Анна Андреевна продолжает: «Мне позвонили из журнала». Алигер опять вторит ей: «И мне позвонили из журнала...» Ну и так далее...

«...в Ташкенте в 1943 г. вышла маленькая книжка «Избранное» под редакцией К. Зелинского (10 000 экз.). Рецензий о ней не было, и ее было запрещено рассылать по стране. Продавалась она в каких-то

полузакрытых распределителях. На книге не обозначено место издания. (Запрещали ее, по словам А.Н. Тихонова, 8 раз.)» (стр. 29).

Я эту книжку ни разу в жизни не видел, но кое-что о ней на Ордынке рассказывалось. Когда встал вопрос об оформлении, Анна Андреевна будто бы сказала:

— Отдайте ее Сашеньке Тышлеру, и пусть он нарисует все, что угодно.

Но «Сашеньке Тышлеру» ее, разумеется, не отдали, и книжка вышла с обыкновенным в те годы оформлением. На последней странице обложки был помещен рисунок, изображающий юношу и девушку, которые, обнявшись, сидят на садовой скамейке и вдвоем читают раскрытую книгу. Лидия Корнеевна Чуковская вспоминала, что Ахматова, указавши ей на это изображение, произнесла:

— А вот это — я с парнем...

«Алим Пшемахович Кешоков» (стр. 36).

Этого кабардинского поэта привел на Ордынку С.И. Липкин. В те годы Кешоков был большим начальником — занимал пост одного из секретарей обкома партии. Анна Андреевна сказала ему:

— Вы, наверное, очень заняты. Когда же вы пишете стихи?

— По утрам, — отвечал гость с легким акцентом.

«15 февраля 60 г.

Из «Листки из дневника».

Чудак? Конечно, чудак.

... При Осипе нельзя было никого хвалить, он сердился, спорил, был невероятно несправедлив, заносчив, резок. Но если бы вы вздумали этого же человека порицать при нем — произошло бы то же самое, он бы защищал его изо всех сил» (стр. 41).

Однажды я прочел Ахматовой известные строки Мандельштама:

А еще над нами волен
Лермонтов, мучитель наш,
И всегда одышкой болен
Фета жирный карандаш.

А потом я спросил у нее:

— Почему Осип Эмильевич так нехорошо пишет о Фете?

Анна Андреевна улыбнулась и отвечала:

— Просто в ту минуту ему так показалось.

«А.А. Холодович в пятницу 8 1/2 ч.» (стр. 42).

Александр Алексеевич Холодович был лингвист-востоковед и так называемый «внешний редактор» корейских переводов Ахматовой. Я помню такой рассказ Анны Андреевны:

— Редактор в издательстве сделал в переводе поправку. У меня было: «девушки поют в лад», — а он заменил слово «лад» на слово «такт». В этом месте Холодович написал такое замечание: «“Такт” по-русски и будет “лад”».

«3 января 1957.

...вечером я у Маршака» (стр. 42).

В те годы Анна Андреевна поддерживала с Самуилом Яковлевичем дружеские отношения. Как-то она была у него в гостях и попросила меня заехать за нею.

Когда я вошел в кабинет Маршака, тот что-то рассказывал своей гостье. Я услышал его слова:

— Он воевал во французских войсках в первую мировую войну и очень отличился. Получил дворянство и стал генералом...

(Как я впоследствии понял, речь шла о Зиновии Моисеевиче Пешкове — родном брате Я.М. Свердлова и крестнике М. Горького.)

Увидев меня, Ахматова поднялась, и Маршак проводил нас до прихожей.

Когда мы вышли на лестницу, Анна Андреевна сказала мне:

— Совершенно выжил из ума. Как можно получить дворянство в республике?..

«1 апреля 1960 (Москва)

Позвонить: Булгаковой, Алигер, Марусе, Комае, Томашевскому» (стр. 69).

И опять в памяти целая сценка — звонок В.В. Иванову.

На Ордынке утро. Анна Андреевна садится поближе к телефонному аппарату и говорит мне:

— Ребенок, набери мне Кому... Давно я, грешница, с Комой не разговаривала...

Я снимаю трубку, а она диктует мне номер:

— В1-43-72.

И подсказывает, как спросить «Кому»:
— Вячеслава Всеволодовича...

«*Песня последней встречи*» — мое двухсотое стихотворение» (стр. 79).

Помнится, осенью шестьдесят пятого года Ахматовой доставили только что опубликованный французский перевод нескольких ее стихотворений. В их числе была и «Песня последней встречи». Но там эти стихи именовались так: «*La chanson de la dernière fois*» («Песня последнего раза»). Анна Андреевна с полушутливым возмущением повторяла:

— Я им покажу — «Песню последнего раза»!..

Некое недоразумение произошло и при переводе ее стихов «Ночное посещение»:

Не на листопадном асфальте
Будешь долго ждать.
Мы с тобой в Адажио Вивальди
Встретимся опять.
Снова свечи станут тускло-желты
И закланы сном,
Но смычок не спросит, как вошел ты
В мой полночный дом.

Так вот, переводчик решил, что «смычок» — это кличка собаки, которая не залаяла при появлении ночного гостя, и соответствующим образом интерпретировал стихотворение.

И последняя история в этом роде, она бытовала на Ордынке и была известна Ахматовой. В поэме А. Твардовского «Василий Теркин» существуют такие строчки:

На околице войны —
 В глубине Германии —
 Баня! Что там Сандуны
 С остальными банями!

В румынском переводе поэмы будто бы есть такая сноска:

«“Сандуны” — санитарный отдел Красной Армии».

*«Я давно не верю в телефоны,
 В радио не верю, в телеграф»* (стр. 93).

Летом 1964 года я купил свой первый транзистор — рижскую «Спидолу». Приемник работал на батарейках и мог в любой точке пространства извлекать из эфира голос и музыку. Для Ахматовой это стало наглядным доказательством того, что весь мир пронизан радиоволнами и беззвучия как такового не существует. Я помню, как Анна Андреевна произнесла:

— Я больше ни одного слова не напишу о тишине..

«В наше время кино так же вытеснило и трагедию, и комедию, как в Риме пантомима» (стр. 109).

Надобно заметить, что к театру Ахматова никакого интереса не проявляла, а за новинками кине-

матографа старалась следить. Пока у нее были силы, она посещала наши замоскворецкие кинотеатры. Я помню, ей очень понравился французский фильм «Тереза Ракен» с Симоной Синьоре в главной роли. Столь же благосклонно она отнеслась к английской ленте «Мост Ватерлоо».

В этом фильме она обратила внимание на тот эпизод, где английский офицер просит у своего генерала разрешения на брак. И просьба и согласие — устные.

— Мы к этому не привыкли, — говорила Ахматова. — Нам кажется, что генерал сейчас начнет дышать на печать, потом прикладывать ее...

Вспоминаю, с каким отвращением Анна Андреевна отзывалась о весьма популярном в те годы аргентинском фильме «Возраст любви»:

— Эти смрадные адвокаты...

Вообще же слово «смрадный» было в ее устах наихудшим ругательством по отношению к произведениям искусства. В памяти всплывают ее слова:

— Смрадные Форсайты...

«Н.Н. Пунин часто говорил обо мне: “Я боролся с ней и всегда оставался хром, как Иаков”» (стр. 152).

Я полагаю, отнюдь не каждый читатель поймет, что здесь ссылка не на саму Библию, а на Пушкина. В его Table-talk читаем:

«Гёте имел большое влияние на Байрона. Фауст тревожил воображение творца Чильд-Гарольда. Два раза Байрон пытался бороться с великаном романтической поэзии — и остался хром, как Иаков».

Надобно заметить, что Ахматова знала всего Пушкина наизусть. Я однажды сказал ей:

— А ведь Пушкин скорее москвич, нежели петербуржец. Смотрите, как он рифмует:

Но, говорят, вы нелюдим;
В глуши, в деревне все вам скучно,
А мы... ничем мы не блестим,
Хоть вам и рады простодушно.

— Да, — сказала Ахматова, — но...

И она тут же привела мне пример «петербургской» рифмы, но — увы! — я его не запомнил.

Это, пожалуй, требует некоторых разъяснений. Москвичи произносят — «скуШно», «конеШно» и т. д., а петербуржцы говорят так, как эти слова пишутся. По этой причине поэт из Петербурга станет рифмовать — «скуЧно» и, например, «собственно-руЧно», но уж никак не «простодуШно».

«... «Жасминный куст»... Стихи Н. Клюева. (Лучшее, что сказано о моих стихах)» (стр. 176).

Зимой 1966 года я пришел в Боткинскую больницу, чтобы навестить Ахматову. Между прочим, я ей сказал:

— Вот прекрасная тема для статьи — «Эпиграфы Ахматовой». Подарите это кому-нибудь из ахматоведов.

Она мне ответила:

— Никому не говори. Напиши сам. Я тебе кое-что для этого подброшу.

Анна Андреевна мне так ничего и не «подбросила», ей оставалось жить всего месяца два. А мне эта тема была, да и остается не по плечу. К тому же литературоведение такого рода, как тут потребно, меня никогда не привлекало. И все-таки я хочу написать об одном из эпитафий «Поэмы без героя».

«Поэму...» я знал с детства, она переписывалась и переделывалась практически на моих глазах. Мне сразу же запомнился и очень нравился эпитаф из совершенно неизвестного мне в те годы поэта Николая Клюева:

...жасминный куст,
Где Данте шел, и воздух пуст.

Когда же после смерти Анны Андреевны я первый раз прочел клюевское стихотворение «Клеветникам искусства», то с удивлением обнаружил, что она цитирует его неточно. В подлиннике это звучит так:

Ахматова — жасминный куст,
Обожженный асфальтом серым,
Тропу утратила ль к пещерам,
Где Данте шел и воздух густ...

Итак, Ахматова не просто берет эти строчки, она их переиначивает, кардинально меняет. Клюев в своих стихах отсылает ее в преисподнюю, в смрадные круги Ада, где, конечно же, «воздух густ». Ахматовой в данном случае инфернальность ни к чему, она все это выбрасывает — асфальт, пещеры, гус-

тоту. В результате тут присутствует аромат жасмина и некий вакуум, оставшийся после прохождения Данте и заполняемый ею самою.

О поэме: «Отзывы Б. Пастернака и В.М. Жирмунского (Старостина, Штока, Добина, Чуковской и т. д.)» (стр. 183).

Старостин, Шток...

Драматург Исидор Владимирович Шток познакомился с Ахматовой в Ташкенте, а знаменитый футболист Андрей Петрович Старостин приходился ему свояком, они были женаты на сестрах.

В пятидесятых годах на Ордынку часто заходил наш с братом Борисом приятель, сын писателя Евгения Петрова — Илья. Он — музыкант, литература и поэзия его вовсе не интересовали, но зато он был страстным футбольным болельщиком.

И вот однажды Анна Андреевна со смехом сказала нам такое:

— Сегодня здесь был Илюша Петров. Я сидела на диване, а он в этом кресле. Ко мне он вообще никак не относится... Ну, сидит себе какая-то старуха и сидит... И вдруг я при нем сказала кому-то, что вчера у меня в гостях был Шток с Андреем Старостиным... Тут он переменялся в лице, взглянул на меня с изумлением и сказал: «Вы — знакомы со Старостиным?!!»

Уж коль скоро здесь появилось имя Евгения Петрова, я решаюсь упомянуть и Илью Ильфа. Он, как свидетельствуют его «Записные книжки», познако-

мился с Ахматовой в доме моих родителей. Существует такая запись:

«Я подумал: “Какая у Виктора строгая теща”. Оказалось, что это была Ахматова”».

«Зощенко и Ахматова были исключены из Союза писателей и обречены на голод. Число ругательных статей — четырехзначно на всех языках. Зощенко и Ахматова — античные маски (комическая и трагическая)» (стр. 204).

Я, помнится, говорил Ахматовой о том, что общность ее судьбы с судьбою Зощенко отчасти была предсказана Гоголем в его знаменитом отрывке о двух писателях («Мертвые души»):

«...высокий восторженный смех достоин стать рядом с высоким лирическим движением...»

Но Гоголю не дано было предугадать, что они «станут рядом» не где-нибудь, а у позорного столба.

«И “вылеп головы кобыльей”, который я видела в последний раз в день смерти Маяковского. Стену бывшей конюшни ломали. Серый двухэтажный особняк надстраивали» (стр. 224).

Ахматова, так любившая и ценившая архитектуру, научила меня замечать изуродованные надстройками старые дома — и в Петербурге, и в Москве. Я запомнил ее фразу:

— Всем домам — надо, не надо — стали надстраивать верхние этажи.

«Описать же для Вашего издания мое путешествие по Италии (1912 г.), к моему великому сожалению, не позволяет мне состояние моего здоровья» (стр. 227).

Как-то я прочел вслух понравившиеся мне строки из стихотворения Н. Гумилева «Падуанский собор»:

В глухой таверне старого квартала
Сесть на террасе и спросить вина,
Там от воды приморского канала
Совсем зеленой кажется стена.

— Это я ему показала, — проговорила Ахматова, вспомнив их совместную итальянскую поездку.

«Уладить книгу Шверубовичу

<...>

Звонила Виленкину о Вадиме» (стр. 258).

Шверубович — настоящая фамилия актера Василия Ивановича Качалова, ее и носил сын артиста Вадим. А Виталий Яковлевич Виленкин — один из «ученых евреев» при Художественном театре — был с этим семейством особенно близок.

В этой связи мне вспоминается, как Ахматова, обучая нас с младшим братом вести себя прилично за столом, рассказывала такую историю. На званом обеде вместе с нею были В.И. Качалов и молодой еще В.Я. Виленкин, который машинально крутил в руках свою вилку. Качалов сказал:

— Виталий Яковлевич, сколько раз я говорил вам, что вилка — не трезубец Нептуна.

Поразительное описание знакомства с Мариной Цветаевой (июнь 1941 года): первый день — встреча на Ордынке, второй — у Н.И. Харджиева. И там — такое:

«Все идет к концу. Марина, стоя, рассказывает, как Пастернак искал шубу для Зины и не знал ее размеры, и спросил у Марины, и сказал: “У тебя нет ее прекрасной груди”» (стр. 278).

В этих строчках содержится изумительная новелла под названием «Три великих поэта и бюст Зинаиды Николаевны». Один — сказал, другая — запомнила, а третья — записала.

И вот жуткий финал этого отрывка:

«Мы вышли вместе <...>. Светлый летний вечер. Человек, стоявший против двери (но, как всегда спиной), медленно пошел за нами. Я подумала: “За мной или за ней?”»

Я вспоминаю, как еще в пятидесятых годах Ахматова чувствовала постоянную слезку. Иногда, если мы шли по улице, она указывала на шпики, которые ее сопровождали...

Именно этим объясняется то обстоятельство, что записные книжки появились у нее лишь в самом конце пятидесятых, во время хрущевской «оттепели». Я помню, она говорила нам:

— Вы себе не представляете, как мы жили. Мы не могли завести книжку с номерами телефонов... Мы дарили друг другу книги без надписей...

«Меж тем, как Бальмонт и Брюсов сами завершили ими же начатое (хотя еще долго смущали провинциальных графоманов), дело Анненского ожило со страшной силой в следующем поколении. И, если бы он так рано не умер, мог бы видеть свои ливни, хлещущие на страницах книг Б. Пастернака, свое полузаумное «Деду Лиду ладили..» у Хлебникова, своего раешника (шарики) у Маяковского и т. д.» (стр. 282).

Я не мог знать этой записи в шестидесятых годах, но однажды поделился с Ахматовой своим впечатлением о стихах Анненского «Прерывистые строки»:

Зал...

Я нежное что-то сказал,

Стали прощаться,

Возле часов у стенки...

Губы не смели разжаться,

Склеены...

Я выразил мнение, что это предвосхищает мазохистские поэмы Маяковского. Анна Андреевна отозвалась об Иннокентии Федоровиче:

— Он всех нас содержал в себе. Я первая это заметила.

Попутно вспоминаю то, что Ахматова говорила об известном пассаже из поэмы Маяковского «Во весь голос»:

Мне

и рубля

не накопили строчки,
краснодеревщики
не слали мебель на дом.
И кроме
свежевымытой сорочки,
скажу по совести,
мне ничего не надо.

Вот ее слова:

Он даже не знал, какая это в наше время роскошь — иметь каждый день чистую рубашку.

«Про “Оду” — совершенно неверное суждение о ее близости к “Вакханалии”. Здесь (т. е. в “Оде”) — дерзкое свержение “царскосельских” традиций от Ломоносова до Анненского и первый пласт полувоспоминаний, там (у Пастернака) описание собственного “богатого” быта» (стр. 297).

Пастернаковскую «Вакханалию» Ахматова активно не любила, а потому так протестует против сравнения этих стихов с ее собственной «Царскосельской одой». Анна Андреевна даже придумала нечто вроде пародии на Пастернака:

Поросята в столовой,
Гости, горы икры...

(В «Вакханалии»:

По соседству в столовой
Зелень, горы икры,
В сервировке лиловой
Семга, сельди, сыры.)

«Владислав Ходасевич (отзыв и из мемуаров. — Селедки)» (стр. 359).

Осенью шестьдесят второго года я впервые прочел книгу Ходасевича «Белый коридор». В частности, он там описывает, как ему пришлось в голодном Петрограде торговать селедкой. (Каждому писателю тогда выдали полмешка селедки, и В.Ф. пошел ее продавать, чтобы купить себе масла.) Приступая к торговле, Ходасевич вдруг увидел, что неподалеку от него из такого же точно вонючего мешка селедку продает Ахматова. При первой же встрече я пересказал это Анне Андреевне, она выслушала и произнесла:

— Вполне могло быть.

О Н.С. Гумилеве: «...от бедной милой Ольги Николаевны Высотской даже родил сына Ореста (13 г.)» (стр. 361).

Году эдак в шестьдесят пятом я пришел домой к Льву Николаевичу, у него сидел гость. Хозяин нас познакомил. Это был Орест Николаевич Высотский, Орик, как его называли люди близкие, и Ахматова в том числе.

А затем произошла некоторая неловкость. Я вспомнил и рассказал, как в 1956 году в Москве старая поэтесса Грушко (имени ее теперь никто не знает, но многие помнят одно из ее стихотворений, которое положил на музыку и пел Александр Вертинский, — «Я маленькая балерина») с изумлением и любопытством разглядывала Льва Николаевича. А Ахматова, узнав об этом, сказала:

— Ничего удивительного. У нее был роман с Николаем Степановичем, а Лева так похож на отца.

Не успел я это произнести, как Орик с горячностью стал возражать:

— Это я похож на отца! Лева совсем на него не похож!.. Почему Анна Андреевна так сказала?.. Все говорят, что я на него похож!..

А Лев Николаевич дипломатично молчал.

«Вчера была Маруся. Как всегда чудная, умная и добрая. Я никогда не устану любить ее, как она сохранила себя — откуда эта сила в таком хрупком теле». (стр. 368).

Тут надобно заметить, что покойная Мария Сергеевна Петровых была родною племянницей (дочерью брата) самого стойкого и непримиримого к большевикам новомученика — Иосифа, митрополита Петроградского. Однако же об этом родстве она никогда при мне не говорила. Помню, только один раз она посетовала, что Корней Чуковский позволил себе какие-то антиклерикальные выпады.

— В двадцатом веке, — сказала мне Мария Сергеевна, — после того, что сделали в нашей стране с духовенством, это вовсе неуместно.

И еще один разговор с М. Петровых я запомнил. Мы обсуждали только что вышедшие из печати воспоминания об Ахматовой, которые написала М.И.Алигер. Там есть некая пространная казенно-патриотическая речь, которую будто бы произнесла Анна Андреевна в присутствии мемуаристки.

— Миша, — сказала мне Мария Сергеевна, — мы с вами оба знали Ахматову. Она не имела обыкновения изъясняться монологами.

«Среда: Миша, Наташа с дочкой, Люба, Толя. У Виноградовых. 7 1/2 (Машинистка)» (стр. 370).

В пятидесятых годах мой отец и Ахматова пользовались услугами машинистки, которая жила в одной из соседних квартир тут же, на Ордынке. Звали ее, помнится, Мария Исаевна. Работу свою она делала вполне пристойно, но был у нее известный недуг — она крепко выпивала.

И вот я вспоминаю такую историю. Ахматова отдала ей перепечатывать свой печально известный цикл «Слава миру». Там есть такие строчки:

Как будто заблудившись в нежном лете,
Бродила я вдоль липовых аллей
И увидала, как плясали дети
Под легкой сеткой молодых ветвей.
Среди деревьев этот резвый танец...

Так вот, Мария Исаевна вместо «резвый танец» напечатала «трезвый танец». С учетом ее недуга и применительно к детям это было весьма забавно.

«ЧЕТКИ (продолжение)

Книга вышла 15 марта 1914 г. <...>

И потом еще много раз она выплывала из моря крови, и из полярного оледенения, и побывав на плахе, и украшая собой списки запрещенных изданий <...>, и представляя собою краденое добро (изда-

ние Ефрона, Берлин и Одесская контрфакция при белых (1919)...» (стр. 376).

Помнится, я раздобыл старую книжку — «Четки» (Книгоиздательство С. Эфрон. Берлин) и попросил Анну Андреевну сделать на ней надпись, она взяла ручку и начертала на титульном листе:

«Милому Мише Ардову мое начало.

Анна Ахматова

30 ноября

1964

Москва».

Отдавая мне книжицу, Ахматова произнесла:

— Гонорар за это издание я не получила.

«...статья К. Чуковского — “Две России (Ахматова и Маяковский)” ...» (стр. 379).

Как мне помнится, в этой статье автор писал, что Маяковский олицетворяет Россию новую, Ахматова — старую. Анна Андреевна иногда шутила по этому поводу и говорила:

— Корней сделал меня ответственной за всю русскую историю.

Ардов на это отзывался так:

— Ну, Бирона и Распутина я вам никогда не прощу.

«Пусть я и не сон, не отрада

И меньше всего благодать...» (стр. 281).

Наш приятель Михаил Мейлах замечательно расшифровал эти строки: самое имя «Анна» на древнееврейском языке означает «благодать».

«НАДПИСЬ НА ПОЭМЕ

*И ты ко мне вернулась знаменитой,
Темно-зеленой веточкой повитой...»* (стр. 385).

Как известно, «Поэма без героя» при жизни Ахматовой так и не была полностью опубликована. Однако в списках она распространялась довольно широко. Я запомнил такой рассказ Анны Андреевны:

— Мне позвонила чтица по имени Вера Балмонт. Она сказала: «У вас есть поэма без чего-то, я хочу читать это с эстрады».

«Полночные стихи Базилевскому и М.С. Михайлову» (стр. 416).

Натан Григорьевич Базилевский был весьма вальяжный господин и преуспевающий драматург. Его перу принадлежала пьеса под названием «Закон Ликурга», которая шла по всей стране и приносила ему огромный доход. Это была как бы инсценировка романа Т. Драйзера «Американская трагедия», но там более сурово осуждались буржуазные порядки, и с этой целью был соответствующим образом изменен сюжет.

Мне вспоминается, как однажды Базилевский принялся расхваливать стихи Гумилева, и все бы хорошо, но он упорно называл его Николаем Семеновичем. Мы все пришли в смущение, Ахматова и бровью не повела.

В тот раз или по другому случаю Анна Андреевна рассказывала, как в Ташкенте у кого-то в гостях познакомилась с режиссером Плучеком. Он то и дело падал перед нею на колени и повторял:

— Я люблю вас, Анна Абрамовна.

«секлета Анне Гу» (стр. 430).

Надо признаться, что Ахматова иногда, очевидно по рассеянности, делала орфографические ошибки. Я хорошо помню, как поморщился старый приятель Анны Андреевны В.М. Жирмунский, когда обнаружил в одном из ее блокнотов свою фамилию, написанную с буквой «д», — ЖирмунДский...

Ахматова рассказывала, что в те годы, когда она училась в Киеве на юридических курсах, у нее было намерение получить место секретаря у какого-нибудь нотариуса. А ее второй муж, В.К. Шилейко, по этому поводу шутил:

— Хороший это был бы секретарь. Подпись была бы такая:

«секлета Анне Гу».

(В те годы Анна Андреевна официально носила фамилию первого мужа — Гумилева.)

И еще одна шутка Владимира Казимировича в ее пересказе:

— Шилейко мне говорил: «От вас пахнет пивом». Я отвечала: «Я пила только шампанское». — «Тогда пейте пиво, и от вас будет пахнуть шампанским...»

«Первым на корню и навсегда уничтожившим стихи Ахматовой был Буренин в «Новом времени» весной 1911 г. (потом четыре издания его пародий)...» (стр. 453).

Этой пародии на Ахматову я не помню, зато вспоминаю, как Анна Андреевна читала известную эпиграмму Минаева:

По Невскому бежит собака,
за ней Буренин, тих и мил...
Городовой, смотри, однако,
чтоб он ее не укусил.

Вообще же Ахматова всегда говорила, что нельзя обижаться на пародии и эпиграммы, так как это — часть славы.

«Без десяти три звоню Суркову» (стр. 460).

Как известно, А.А. Сурков в определенном смысле был покровителем Ахматовой, а потому звонки к нему и от него происходили то и дело. Иногда Сурков сам появлялся на Ордынке, а еще реже Ахматова ездила к нему на прием в Союз писателей, на улицу Воровского.

Я помню, как сопровождал ее во время такой поездки. Когда мы поднялись на второй этаж и подошли к кабинету Суркова, секретарша сказала нам, что Алексей Александрович занят, но очень скоро освободится. Из-за двери кабинета доносились взрывы хохота и звучал чей-то мощный голос.

Мы с Анной Андреевной вышли из приемной и уселись на диванчик под лестницей в темной части

коридора, так, что нам была видна дверь сурковско-го кабинета.

Вот дверь открылась, и оттуда, пятясь, вышел возбужденный Иракий Андроников. Он обворожи-тельно улыбнулся секретарше, кивнул ей и шагнул в темноту коридора. Тут лицо его изменилось: улыбка, оживление — пропали, вместо них появились злость и усталость... Но это длилось лишь несколько мгнове-ний — его глаза быстро привыкли к темноте и разгля-дели сидящую на диванчике Ахматову. Лицо снова озарилось, и Иракий рассыпался в приветствиях...

Когда он удалился, Ахматова сказала мне:

— Запомни. Мы с тобой сегодня видели настоя-щее лицо Андроникова.

«Надя, наконец, прописана в Москве. Пусть отдох-нет» (стр. 473).

Ахматова очень желала, чтобы Н.Я. Мандельш-там вернулась в Москву на постоянное жительство. Я вспоминаю многолетние хлопоты по этому делу. Помнится, А.А. Сурков предлагал даже такой про-ект — поселить Надежду Яковлевну и Ахматову вместе в двухкомнатной квартире.

Потом было и еще одно предложение — предос-тавить самой Ахматовой однокомнатную кварти-ру... Все это нами обсуждалось, и мне запомнилась замечательная шутка, сказанная очень бойким две-надцатилетним мальчиком Саней, сыном литерату-роведа И.Л. Фейнберга. Он заявил:

— Ахматову нельзя поселить в однокомнатной квартире, у нее должно быть по меньшей мере две

комнаты: в одной — будуар, в другой — моленная. Чтобы было между чем и чем — метаться.

(Как известно, А.А. Жданов в своем печально знаменитом докладе объявил, что творчество Ахматовой — «поэзия взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и моленной».)

Мы эту шутку пересказали Ахматовой, и она ее оценила.

«В статью

(Я никогда не была с Моды в кафе или ресторане, но он несколько раз завтракал у мне на rue de Fleurus.) Как непохоже на Хема. Они только и делают, что говорят об еде, вспоминают вкусную еду, и это как-то разоблачает его беллетристику, где все время едят и пьют ("Мемуары повара", — сказал Миша Ардов) (стр. 479).

Я очень хорошо помню, что это было. Журнал «Иностранная литература» напечатал тогда «Праздник, который всегда с тобой» Хемингуэя. Ахматова была удивлена изменностью этой вещи, тем обстоятельством, что столь одаренный и знаменитый писатель под старость не может вспомнить о Париже времен своей молодости ничего, кроме меню — что и как он ел и пил.

— Неужели, — спрашивала она; — и мои воспоминания о Модильяни производят такое же впечатление?

Мы все, разумеется, ее разуверяли...

Я помню, как шутил по поводу хемингуэевского «Праздника» Анатолий Найман. Он говорил:

— Там как бы целый ряд отдельных новелл. Но все они построены по одному и тому же принципу. Вот Хемингуэй и его жена сидят дома страшно голодные. И нет у них ни копейки, чтобы купить себе еду... И тут к ним приходит приятель, который просто падает от голода... И тут они все втроем как нажрутсЯ!.. А через несколько страниц — опять такая же история.

А наш друг Александр Нилин произнес тогда такую шутку:

— «Праздник, который всегда с тобой» — это просто-напросто деньги.

«...Снова осень — зеленая трава, даже цветы. Была Лида. Говорили об Ивинской» (стр. 501).

На Ордынке об Ивинской никогда не говорили. Иногда упоминалось имя Зинаиды Николаевны...

Но вот я вспоминаю, как еще при жизни Пастернака, в пятидесятых годах, я был на концерте в Малом зале консерватории. Кажется, исполняли прощальную симфонию Гайдна, дирижировал Натан Рахлин...

В антракте я вышел на лестницу и увидел стоящую на площадке даму, несколько тяжеловатую, с длинными и, как мне показалось, крашеными светлыми волосами... Около нее толпилось человек пять, и она была окружена их подобострастным вниманием.

Мне тут же объяснили, что ее зовут Ольга Всеволодовна и что она — возлюбленная Пастернака. Я был этими сведениями несколько озадачен и, вернувшись после концерта домой, на Ордынку, поделился своими впечатлениями с Ахматовой.

Выслушав меня, Анна Андреевна произнесла:
 — Я — не поклонница этой дамы.
 На том разговор и кончился.

«Понедельник: Просят из Оксфорда мерку» (стр. 503).

Я хорошо помню, как зимою шестьдесят пятого года зашел к Ахматовой. Она тогда была в Ленинграде. Анна Андреевна показала мне письмо из Оксфордского университета, в котором ее просили сообщить размер платья и головы, чтобы сшить докторскую мантию и шапочку. Я спросил Ахматову, послан ли ответ. Она улыбнулась и сказала:

— Я хочу еще немного похудеть...

«Михаилу Ардову —

стихи, которые около четверти века лежали на дне моей памяти, — чтобы для него вновь возник день, когда они стали общим достоянием.

Анна Ахматова» (стр. 559).

Эта надпись существует не только в записной книжке Ахматовой, она есть и на том экземпляре «Реквиема», который она мне подарила 19 августа 1964 года. Тут намек на нижеследующие обстоятельства.

Анна Андреевна решилась записать «Реквием» лишь в 1962 году. Но переписывать его она никому не давала, а только разрешала читать свой собственный экземпляр. И все же я эти стихи для себя скопировал — без ее ведома.

Затем «Реквием» переписал у меня мой учитель и почитатель Ахматовой — профессор А.В. Западков.

А через несколько дней к Анне Андреевне пришел ее редактор В. Фогельсон. Когда Ахматова показала ему стихи, он объявил, что знает их — видел у Западова.

После ухода Фогельсона у нас с Ахматовой было объяснение, но сравнительно легкое и непродолжительное, так как она уже сама склонялась к тому, чтобы послать эти стихи в какой-нибудь журнал. «Реквием» был тотчас же отправлен в «Новый мир». Там его печатать не решились, но зато почти все сотрудники переписали для себя.

Как и следовало ожидать, вскоре после этого «Реквием» вышел в нескольких городах Западной Европы. Анне Андреевне доставили экземпляр мюнхенского издания. И всякий раз, взяв в руки эту книгу в моем присутствии, Ахматова произносила бытующую на Ордынке цитату из Зоценко:

— Минькина работа.

«Отъезд

23 ноября из Ленинграда с Аней. <...> Провожаящие. «Перекрестите и меня»» (стр. 581).

С детства помню, если мне приходилось надолго расставаться с Анной Андреевной, она, перекрестив меня, говорила на прощанье:

— Господь с тобою...

«(Городецкий хуже, чем мертв)» (стр. 612).

Ахматова была делегатом Второго съезда советских писателей. Именно в те дни я слышал, как она рассказывала такую историю:

— Во время обеда я сидела за одним столом с Евгением Шварцем. К нам подошел Городецкий, поздоровался и сказал мне: «Я хочу представить вам своего зятя». После этого он отошел к другому столику, потом вернулся и говорит: «Мой зять отказывается. Он сказал: “Я не хочу знакомиться с антисоветской поэтессой”». Я безмятежно улыбнулась и говорю: «Не расстраивайтесь, Сергей Митрофанович. Зятя — они все такие». А потом я рассказала это Эренбургу, он спрашивает: «Ну и что же Шварц?» Я говорю: «Он промолчал». — «Жаль, — говорит Эренбург, — я бы такое сказал Городецкому, что он бы костей не собрал...» А я ему говорю: «Это слишком большая роскошь: всякий раз иметь при себе Эренбурга для подобных okazji».

И еще Ахматова говорила про съезд писателей:

— Я там встретила Рину Зеленую, она мне говорит: «Маска, я тебя знаю».

«В “Известиях” о плагиате Журавлева» (стр. 618).

Это была очень смешная история. В журнале «Октябрь» (1965, № 4) поэт Василий Журавлев опубликовал под своим именем стихотворение Ахматовой из сборника «Белая стая» — «Перед весной бывают дни такие...».

Впрочем, одну поправку плагиатор сделал: вместо строчки «И дома своего не узнаёшь» он написал: «Идёшь и сам себя не узнаёшь».

Скандал произошел довольно громкий, об этом факте сообщила правительственная газета «Изве-

ствия». Журавлев пытался оправдываться: дескать, он когда-то переписал эти стихи в свою записную книжку, много лет спустя обнаружил их там и принял за свои собственные...

Но на Ордынке рассказывали и более правдоподобную версию. Якобы этот Журавлев вел поэтический семинар в Литературном институте, там он покупал у студентов стихи и потом публиковал их под своим именем. А поскольку он платил молодым поэтам очень мало, то один из них решился отомстить ему — продал ахматовское стихотворение как свое собственное. И Журавлев ничтоже сумняшеся его напечатал.

Помнится, кто-то позвонил незадачливому плагиатору домой и спросил:

— А гонорар Ахматовой вы уже отправили?

«...на каком-то литературном вечере Блок, послушав Северянина, вернулся ко мне и сказал: “У него жирный адвокатский голос”» (стр. 622).

А еще Ахматова рассказывала со слов Пастернака такое. Борис Леонидович и Северянин сидели в берлинской пивной. Игорь Васильевич держал в левой руке кружку, а в правой — вилку, на которую была нанизана огромная немецкая сосиска. И он сказал Пастернаку:

— У меня есть сын, его зовут Принц Солнца.

«...Юлиан Григорьевич исключен из союза и теряет зренье...» (стр. 623).

В те дни Ахматова очень сострадала Ю.Г. Оксману. У него на квартире был обыск, там было обна-

ружено и конфисковано множество книг, изданных за границей. Однако же старого профессора не арестовали, а устроили ему классическую советскую проработку, в частности изгнали из Союза писателей.

Я помню, как Анна Андреевна передавала фразу Юлиана Григорьевича, он это произнес на собрании, где его, как водится, дружно осуждали «собратья по перу»:

— Я не могу жить таким образом, чтобы круг моего чтения определял околоточный надзиратель.

«24 июля.

Сегодня Исайя завтракает у Саломеи, о чем я узнаю только в августа из милого письма самой Соломки. Как странно, что теперь я могу до мелочей представить себе этот завтрак в Chelsea, большую кухню-столовую, беседу обо мне и розы в садике» (стр. 642).

Во время поездки в Англию Ахматова побывала в гостях у своей старинной приятельницы Саломеи Николаевны Андрониковой. Присутствующая при их встрече Аманда Хейт рассказывала, что Анна Андреевна была поражена тем, сколь изысканно угощала их Саломея.

— Как же вы научились готовить такую вкусную еду? — спросила гостя.

— Когда я поняла, что уже не представляю интереса для мужчин как женщина, я стала привлекать их с помощью кулинарного искусства, — отвечала хозяйка.

«...Как легко и свободно я сказала трем парням из "Лижей", которые приехали ко мне за стихами: "Все равно не напечатаете..."» (стр. 643).

«Лижи!» — это было шутовское наименование издававшейся тогда газеты «Литература и жизнь». По тем временам это издание считалось «консервативным» в отличие от более прогрессивной «Литературной газеты».

Я припоминаю, как Ахматова говорила:

— Некто упрекнул меня в том, что я печатаюсь в ретроградной «Лижи», а не в либеральной «Литературке». А я на это сказала: когда обо мне было постановление ЦК, я не видела разницы между газетами и журналами — все ругали меня одинаковыми словами.

«Еще три дня июля, а потом траурный гость — август ("столько праздников и смертей"), как траурный марш, который длится 30 дней. Все ушли под этот марш: Гумилев, Пунин, Томашевский, мой отец, Цветаева... Назначил себя и Пастернак, но этого любимца богов увел с собою, уходя, неповторимый май 60 года, когда под больничным окном цвела сумасшедшая липа. И с тех пор минуло уже пять лет. Куда оно девается, ушедшее время? Где его обитель...» (стр. 644).

В пятилетнюю годовщину смерти Пастернака я был в Переделкине. Близкая подруга Зинаиды Николаевны, вернувшись от нее, рассказала, что у Пастернаков весь вечер играли в карты. Это меня так поразило, что на другой день на Ордынке я пе-

редал это Ахматовой. У нее в это время была Н.Я. Мандельштам. Надежда Яковлевна смолчала, Анна Андреевна гневно произнесла:

— Умеют великие поэты выбирать себе подруг жизни.

«Есть переводы

<...>

Еврейские: Галкин, Баумволь, Перец Маркиш»
(стр. 653).

Я помню историю с одним из таких переводов. К Ахматовой обратилась сестра какого-то уже умершего еврейского поэта, фамилию которого я не запомнил. Она просила, чтобы Анна Андреевна перевела его стихи. Кажется, он был из репрессированных...

Ахматова пожалела просительницу и действительно перевела какие-то предложенные ей строки. После этого она получила благодарственное письмо от сестры поэта. Оно начиналось такими словами:

«Хотя Вы и перевели всего только одно стихотворение моего покойного брата...»

«Киев. Предславинская улица. (На юридических курсах)» (стр. 662).

Всякий раз, когда увеличивались наказания за те или иные преступления, Ахматова неизменно говорила:

— Нам на курсах преподавали закон, известный еще со времен римского права: никакая тяжесть

наказания не уменьшала числа преступлений. При Анне Иоанновне фальшивомонетчикам заливали свинцом глотки, и все-таки фальшивой монеты ходило ровно столько, сколько всегда.

А когда заходила речь о всеобщем воровстве, нас окружавшем, Анна Андреевна произносила такую фразу:

— Нас на курсах учили, что у славян вообще ослабленное чувство собственности.

«В Кисловодске. На Крестовой Горе. Цекубу. Июль 1927. ("Здесь Пушкина...") (Качалов, Рубен Орбели, Маршак)» (стр. 664).

Надобно заметить, что Ахматова никогда не была в Художественном театре. О своих беседах с Качаловым в Кисловодске рассказывала:

— Он все время ссылался на эпизоды знаменитых мхатовских спектаклей. Ему и в голову не могло прийти, что я ничего этого не видела...

«(Перенесла четыре клинических голода: I — 1918—1921, II — 1928-1932 (карточки, недоедание), III — война, в Ташкенте, IV — после постановления ЦК 1946 г.)» (стр. 665).

Неудивительно, что Ахматова запомнила и полюбила шутку Н.П. Смирного-Сокольского, которую он произнес на Ордынке:

— Это случилось не в тот голод и не в этот. Это было два голода тому назад.

«*Самоубийство Фадеева*» (стр. 666).

Я хорошо помню, как это обсуждалось на Ордынке. Говорили о том, что старый друг Фадеева, Юра Либединский, видел его за несколько часов до рокового выстрела. Фадеев сказал ему такую фразу:

— Я всегда думал, что охраняю храм, а это оказался нужник.

«...*приехала Ирина Федоровна Огородникова с новостями*» (стр. 668).

Эта дама была сотрудницей иностранной комиссии Союза писателей и, в частности, занималась тем, что оформляла документы для поездок Ахматовой в Англию и в Италию.

В 1990 году, когда в альманахе «Чистые пруды» были напечатаны мои воспоминания об Ахматовой, Огородникова позвонила мне по телефону, и мы довольно долго с ней говорили. В частности, она рассказала мне об одном эпизоде, который произошел в день похорон Анны Андреевны. Как известно, мы до самого последнего момента никак не могли получить разрешение на то, чтобы выкопать могилу на облюбованном Бродским и мною месте комаровского кладбища. Я, помнится, поехал в Никольский собор на отпевание, а Иосиф остался в квартире Ахматовой, чтобы продолжать хлопоты по телефону.

В это самое время И.Н. Пунина позвонила в Москву Огородниковой, рассказала ей о нашем затруднении и попросила помощи. Ирина Федоровна говорила мне:

— Я стала судорожно соображать, что можно сделать в такой ситуации... И вдруг увидела, что по двору Союза писателей идет А.А. Сурков. Я, как была — без пальто, — выбежала к нему и говорю: «Алексей Александрович, надо что-то делать... Ахматову уже отпевают в церкви, а разрешения на рытье могилы еще нет...» Сурков взглянул на меня сверху вниз и отрубил: «Я вам — не Арий Давыдович!»

(Для несведующих пояснение: сотрудник Литфонда А.Д. Ротницкий в течение десятков лет занимался похоронами писателей.)

«Вспомнила маленького соседа в 1951: “Бибика, Длевна!” — и рёв.

Андревна — так по-замоскворецки звали меня соседи Ардовых (Татьяна Ивановна)» (стр. 685).

Это — воспоминание о первом инфаркте.

Татьяна Ивановна Яковлева жила с нами на одной площадке. Она была портниха и, в частности, шила платья для Анны Андреевны. У нее был маленький внук, который и называл Ахматову — «Длевна». Однажды он увидел в окно, как ее выносят из дома на носилках и грузят в автомобиль «скорой помощи». Мальчик залился слезами и все время повторял:

— Бибика, Длевна!..

«2 декабря 1965. Больница (Москва)

<...>

Вечером Миша после Лавры и еще озаренный ею» (стр. 688).

Я прекрасно помню тот день — и поездку к Преподобному Сергию, и наш с Ахматовой по этому поводу разговор. После моего рассказа о монастыре она произнесла:

— Это — лучшее место на земле.

Июль—август 1997

ПОРТРЕТЫ

МОЙ РОДИТЕЛЬ

Мой отец Виктор Ефимович Ардов родился в Воронеже 8/21 октября 1900 года. Дед мой был инженером, но сведений о нем у меня почти нет. Отец крайне неохотно вспоминал о своем родителе. В зрелом возрасте, уже после смерти Сталина, я узнал, что во время гражданской войны мой дед был расстрелян по прямому приказу Троцкого. Отец данный факт почти всю свою жизнь вынужден был скрывать, и именно этим объясняется его нарочитое молчание.

Вот то небольшое, что я знаю о своем деде с отцовской стороны: он окончил Харьковский технологический институт, затем служил на железной дороге, а перед революцией перешел в какую-то частную фирму. Отец иногда цитировал такие его слова:

— Если долго проживешь с женой, не праздную серебряную свадьбу — отмечаешь тридцатилетнюю войну.

Гораздо охотнее и чаще мой отец вспоминал семейство моего прадеда — его деда со стороны матери. Фамилия его была Вольпян, он жил в Воронеже и владел там аптекарским магазином. Надобно заметить, что у моего отца был врожденный порок сер-

дца и он рос весьма болезненным ребенком. Родители его очень берегли и держали в строгости, а дедушка с бабушкой, наоборот, баловали. Ардов вспоминал такой эпизод. В возрасте семи лет он пришел в гости к деду, и там его угостили арбузом. Он ел, ел, ел, и никто его не останавливал. В результате он съел столько, что, когда шел домой, мелкие кусочки арбуза выходили у него через нос...

В те годы болезнь сердца угрожала самой жизни моего отца. Это подтверждается таким семейным преданием: однажды его мать встретила врача, который когда-то лечил ее детей (у отца был младший брат Марк). Так вот этот доктор стал расспрашивать ее о младшем сыне.

— Почему вы говорите о Марке? — спросила она. — Ведь вы гораздо больше занимались здоровьем Виктора.

— Как? — удивился врач. — А разве ваш Виктор жив?

И еще воронежские воспоминания отца, они относятся к четырнадцатому году. Как известно, с началом войны царское правительство запретило производство и продажу водки. Но парфюмерные фабрики немедленно стали выпускать одеколоны, вполне пригодные для питья, и назывались они «Апельсинный», «Лимонный» и проч. Аптекарский магазин моего прадеда стоял возле самого базара, а потому там происходили такие сценки: к прилавку подходит деревенский мужик, покупает флакон одеколона, тут же у окна открывает пузырек и выпивает содержимое прямо из горлышка.

С началом войны семейство моего прадеда переехало в Москву. Тут они наняли квартиру в Филипповском переулке, в доме, который принадлежал Иерусалимскому подворью. (Это здание и сейчас благополучно стоит на своем месте.) Ардов вспоминал тучных и важных греческих монахов — ближайших соседей.

Осенью четырнадцатого года мой отец поступил в расположенную неподалеку московскую Первую мужскую гимназию, которая только что отпраздновала свой 125-летний юбилей. В те годы у Ардова уже вполне проявилась любовь к юмору, он был усердным читателем аверченковского «Нового Сатирикона». Мало того, он сам рисовал карикатуры и даже издавал рукописный журнал.

Ко времени революции, в свои семнадцать лет, Ардов был уже сложившимся человеком и вполне сознательно разделял программу кадетской партии. Мне вспоминается забавный эпизод, происходивший в начале шестидесятых годов. Некий художник, которого отец каким-то образом облагодетельствовал, пришел на Ордынку и выражал свою признательность такими словами:

— Спасибо тебе, Виктор, за то, что выручил меня... Ты — настоящий большевик-ленинец...

— Дурак ты! — отвечал ему Ардов. — Какой я тебе ленинец? Я всю жизнь был либералом! Я — сторонник буржуазной демократии...

Но возвращаясь к ранним годам отца. Весной 1918 года он перешел в восьмой — последний класс гимназии. Было известно, что большевики уже воз-

намерились кардинально изменить программу средней школы... И тогда группа учителей предложила ученикам в течение лета пройти предметы, которые преподавались в восьмом классе. Среди тех, кто таким образом завершил гимназический курс, был и мой отец.

В девятнадцатом и двадцатом годах ему довелось служить в каких-то советских учреждениях, но у него возникло желание учиться в институте. Однако же было препятствие для поступления в советский вуз, а именно происхождение — «из служащих» или даже «из мещан». В то время уже существовал рабфак, а в институты набирали главным образом «пролетариев» и «крестьян».

Но тут Ардову помогла протекция: на одной из его теток был женат историк-марксист, впоследствии академик В.П. Волгин. Он-то и помог отцу поступить в Экономический институт, тот самый, который теперь носит имя Плеханова. Об этом заведении отец рассказывал немного, но я с его слов кое-что запомнил.

Шел экзамен по какой-то дисциплине, кажется, по юриспруденции. Советские студенты, почти поголовно «рабфаковцы», отвечали старому, благообразному профессору... От их косноязычия и безграмотности у экзаменатора разболелась голова, и он слушал молодых людей с закрытыми глазами. Настала очередь Ардова, который в самом начале своего ответа произнес латинскую цитату. На лице профессора появилась блаженная улыбка, он приоткрыл глаза, взглянул на моего отца и спросил:

— Вы — гимназист?

— Да, — отвечал Ардов.

— «Отлично», — сказал экзаменатор, — идите, идите... — И снова опустил веки, чтобы слушать очередного «рабфаковца».

Ардов со своим гимназическим образованием и «буржуазным происхождением» был в институте белой вороной, и перед самым окончанием у него произошел конфликт с тамошними комсомольцами. Хотя мой отец не состоял членом их организации, его вызвали для разговора. Надобно заметить, что к этому времени Ардов был уже вполне сложившимся литератором, автором многочисленных театральных рецензий и газетных фельетонов.

В комитете комсомола ему заявили:

— Вы, как состоятельный студент, должны внести нам определенную сумму денег на общественные нужды.

Возмущенный этим вымогательством, отец отвечал:

— Ничего я вам не должен и ничего я вам не внесу.

— В таком случае вы не получите на руки диплом об окончании!

— Можете подтереться моим дипломом! — сказал им Ардов и навсегда покинул здание института.

В те годы интерес к театру в интеллигентской среде был, как известно, всеобъемлющим, и Ардов в юности отдал дань этой моде. В девятнадцатом году

он был членом драматического кружка при Студенческом клубе, который помещался в Охотном ряду. Именно там он познакомился с будущими театральными знаменитостями — О. Абдуловым, М. Астанговым, Р. Симоновым, И. Ильинским...

С течением лет его увлеченность театром уменьшалась. В пятидесятых и шестидесятых годах, уже на моей памяти, он посещал спектакли крайне редко.

Но так или иначе свою литературную карьеру мой отец начал в качестве театрального рецензента. Однако же природная склонность к юмору, умение шутить и смешить людей взяли свое, и Ардов принялся за написание газетных фельетонов и юмористических рассказов...

Существенную роль в его судьбе сыграли знакомство и дружба с Львом Никулиным, который был старше на девять лет и в начале двадцатых годов уже являлся довольно известным писателем. Ардов привлек его своей живостью и остроумием, они стали соавторами и вместе сочинили несколько комедий. Я помню только два названия — «Статья 114» и «Таракановщина».

Еще мне запомнился краткий диалог, который звучал за сценой в какой-то из этих пьес?

« — Извозчик! На улицу Проклятия убийцам Розы Люксембург и Карла Либкнехта!

— А! На Проклятую?.. Полтинничек положим, барин».

Комедии эти имели успех, и тому свидетельством юмористическое стихотворение, которое написал в свое время Михаил Пустынин:

Кто, рьяно вдвоем собирая монету,
Четой мейстерзингеров бродят по свету?
Иль — в роли советских лирических бардов?
— Никулин и Ардов! Никулин и Ардов!

Кто, зная новейшим художествам цену,
Агиткам на смену выводят на сцену
Родных Тартаренов, советских Личардов?
— Никулин и Ардов! Никулин и Ардов!

Кто устали в деле авансов не знали,
Кто жадно в театре, кино и журнале
Аванс вырывает рывком леопардов?
— Никулин и Ардов! Никулин и Ардов!

Осенью 1927 года мой отец на несколько месяцев переехал в Ленинград — принял приглашение стать заведующим литературной частью тамошнего Театра сатиры. Жил он на углу Симеоновской улицы и Литейного проспекта. В этой же квартире снимали комнаты главный режиссер театра Давид Гутман и эстрадный актер Николай Смирнов-Сокольский. Там они все вместе принимали некоторых почетных гостей, например, Маяковского и Зощенко. Очень часто бывал на этой квартире и Леонид Утесов.

Почти каждый вечер вся их компания отправлялась ужинать в какой-нибудь из ресторанов. И вот однажды Смирнов-Сокольский запротестовал:

— Ну почему мы каждый день идем или в «Асторию», или в «Европейскую»?.. Мне это уже надоело. Вот, говорят, в здешнем порту открылся рос-

кошный новый ресторан... Не поехать ли нам для разнообразия туда?

Сказано — сделано. Друзья наняли два автомобиля и отправились в порт. Долго ехали по пустынным улицам Васильевского острова и наконец приблизились к какому-то слабо освещенному зданию.

Расплатились с водителями и вошли в вестибюль. Сквозь стеклянные двери они увидели, что в ресторанном зале идет драка, в которой участвуют не менее пятидесяти человек... В этот момент один из дерущихся высоко поднял стул и ударил другого по голове. Тот ухватился рукою за лоб и буквально залился кровью... После этого раненый, расталкивая дерущихся, поспешил к выходу, беспрестанно повторяя короткую фразу:

— В приемный покой!.. В приемный покой!..

Когда он таким образом проследовал через вестибюль, Давид Гутман посмотрел ему вслед и сказал:

— Красавец ресторан!

После этого артистическая компания предпочла вновь погрузиться в автомобили и поехала ужинать в «Асторию».

Карьера театрального драматурга продолжалась у Ардова и в тридцатые годы, но истинным его призванием была все же чистая юмористика. Покойный друг моих родителей, необычайно умный и талантливый М.Д. Вольпин называл отца «автором двадцати рассказов». Михаил Давыдович говорил:

— Среди огромного множества вещей посредственных и не очень хороших, которые написаны

Виктором, у него есть десятка два превосходнейших новелл. И таких смешных, что даже Ильфу и Петрову за ним не угнаться...

Кстати сказать, Ардов был дружен с авторами «Двенадцати стульев» и «Золотого тельника», написал теплые воспоминания о знаменитом литературном дуэте. Мой отец весьма высоко ценил их дарование, но пальму первенства в своем жанре он всегда отдавал Михаилу Зощенко.

Отец свидетельствовал, что Ильф и Петров ревниво относились к необычайной славе и популярности Зощенко.

Как-то раз Ардов был в гостях у Евгения Петрова, там же присутствовали Ильф и Зощенко. Раздался телефонный звонок, и некий администратор предложил юмористам выступить с чтением своих рассказов. Притом приглашение распространялось лишь на троих — Ардова на этот раз не позвали. Тогда Зощенко сказал:

— Давайте поедем все вместе, и вы, Витя, тоже...

Эта реплика явно расстроила Ильфа и Петрова, ибо, по их мнению, Зощенко был им ровней, а Ардов рангом ниже. А тут Михаил Михайлович приравнял их к моему отцу...

Отец иногда рассказывал о таких совместных выступлениях. Он говорил:

— Ильф никогда и ничего с эстрады не читал. Выступал всегда только Петров. Вот он читает, а Ильф сидит в президиуме, волнуется, пьет воду и все время кашляет... Будто не у Петрова, а у него от чтения пересыхает в горле...

Ардов вспоминал, что Зоценко читал свои рассказы мрачно, без тени улыбки... А зал в это время буквально корчился от смеха. Вот речь отца, записанная мною дословно:

— Как-то я спросил Михаила Михайловича, отчего он так мрачно читает. На это он мне сказал: «Когда я сочиняю свои рассказы, я смеюсь так, что валюсь от смеха на диван. Но, раз отсмеявшись над чем-нибудь, я уже больше никогда не смеюсь». Однажды я заметил, что во время чтения какого-то рассказа Зоценко против обыкновения улыбнулся. Когда он окончил, я спросил его: «Почему вы улыбнулись?» Он отвечал: «Просто я забыл это место».

И сам Ардов великолепно читал свои рассказы и даже очень это дело любил. В ответе на анкету журнала «Вопросы литературы» он в свое время писал:

«Только тот, кто испытал хотя бы раз счастье дарить людям смех, сумеет понять, насколько пленительна наша профессия — профессия сатирика. Когда мне удастся рассмешить аудиторию — рассказом, рисунком, публичным исполнением моего произведения, — я испытываю ни с чем не сравнимую радость» (1967, № 10).

Среди поклонников ардовского дарования были люди самые неожиданные. Я, например, узнал от своего друга Максима Шостаковича, что его отец, Дмитрий Дмитриевич, частенько цитировал рассказ Ардова. Если великий композитор слышал какой-нибудь громкий звук, доносившийся из кухни, то всякий раз выкрикивал такое двустишие:

— Граждане! На кухонном фронте
Горящий примус не уроньте!

Это — из ардовского рассказа «Лозунгофикация», он написан в 1926 году. Я знал нескольких людей, которые цитировали забавные двустишия из той же новеллы. Ну, например, такие:

Контрреволюция в том зарыта,
Кто марает чужое корыто!

Прикройте дверь — и она не дует
Под прикрывшего сознательного индивидуя!

Одернут немедленно должен быть всякий,
Кто кусает прохожих посредством собаки!

Вхождению без доклада
Мировая буржуазия только рада!

Мой отец был женат два раза. Первой его женой была умная и обаятельная женщина Ирина Константиновна Иванова. (Один старый москвич рассказывал у нас на Ордынке, что во времена предреволюционные Ира Иванова считалась одной из самых красивых гимназисток во всей Москве.)

В двадцатые годы за ней некоторое время ухаживал Осип Максимович Брик. Ардов передавал такой эпизод: они были в какой-то многолюдной компании, где присутствовали и Брик, и Маяковский. Осип Максимович разговаривал с Ириной Константиновной, и тут к ним подошел Маяковский. Он сказал:

— Ося, я звонил домой. От Лилечки уже ушли. Она говорит, что ей страшно находиться в квартире одной. Кому-нибудь из нас надо ехать...

— Вот ты и поезжай, Володенька, — сказал Брик не без некоторого злорадства.

Брак Ардова с Ириной Ивановой был недолгим, они вскоре разошлись, но до конца жизни сохранили самые добрые отношения. Ирина Константиновна была превосходной машинисткой, и отец постоянно пользовался ее услугами. С этим связаны мои первые самостоятельные поездки в московском метро. В возрасте семи лет я возил рукописи отца в Сокольники, в двухэтажный деревянный дом, где Ирина Константиновна жила с мужем и дочкой Наташей.

Со своей второй женой, моей матерью, Ниной Антоновной Ольшевской, Ардов познакомился при следующих обстоятельствах. Году в тридцатом состоялась гастрольная поездка молодых артистов Художественного театра по провинциальным городам. Мой отец сопровождал эту группу с тем, чтобы писать для них репертуар на злобу дня. Во время путешествия будущие мои родители оказались в одном купе. Ардов в какой-то момент стал есть соленые маслины, а мама, которая их никогда до той поры не видела, поинтересовалась:

— Что это такое?

— Хотите попробовать? — спросил отец и угостил ее.

— Какая гадость! — вскричала мама и выплюнула маслину.

Так состоялось знакомство. Надобно тут добавить, что впоследствии она оценила маслины и ела их с удовольствием.

Когда мои родители поженились, моему старшему единоутробному брату Алексею Баталову было года три. Это был очень занятный курносый мальчик, и Ардов сразу привязался к нему. Их взаимная любовь никогда и ничем не омрачалась в течение всех последующих десятилетий. Уже в старости Ардов рассказывал, что слегка опасался Алешиной устремленности в актерство, которая проявлялась у того с самого детства. Отец говорил:

— Я боялся, что этот милый ребенок вырастет и станет артистом. По вечерам он будет сидеть в ресторане при Доме актера, пить водку и говорить своим собутыльникам: «Выхожу я на сцену — публика: “Ря-а-а-а”...»

Но опасения Ардова оказались совершенно напрасными: Алексей Баталов далек от актерской богемы и притом почти ничего не пьет.

В первое время после женитьбы наши родители ютились в крошечной комнате в коммунальной квартире на улице под названием Садовники. Но в 1934 году Ардову удалось приобрести квартиру в писательском кооперативном доме (Нащокинский переулок, д. 5).

За новое жилище надо было внести довольно большую сумму, и деньги эти достались моим родителям самым неожиданным образом. В те годы среди писательской и актерской братии были весьма распространены карточные игры, и ставки бы-

вали довольно высокие. Так вот, незадолго до того, как надо было вносить пай за квартиру в Нащокинском, моя мать играла в карты, если не ошибаюсь, в покер. Ей очень везло, а тем партнером, который все время проигрывал, был не кто иной, как сам Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Так что та квартира была куплена, так сказать, на деньги Шостаковича.

В Нащокинском переулке мои родители прожили всего года три, потом отцу удалось получить более удобную квартиру — в Лаврушинском переулке. Но о своей жизни возле Пречистенских ворот и мать, и отец часто вспоминали и довольно много рассказывали.

Ардов там подружился с легендарным Мате Залкой, они оба входили в правление кооператива. Отец занятно изображал венгерский акцент своего приятеля и помнил рассказанные им истории. Так, по словам Мате Залки, в первые годы советской власти Ленин помогал Кемалю Ататюрку в войне с Антантой. В Анкару послом был назначен М.В. Фрунзе, который на самом деле командовал турецкой армией, а сам Залка был одним из его главных помощников.

— Виктор, — говорил он отцу, — я никогда так хорошо не жил, как в то время, когда был турецким генералом...

Еще одним соседом, с которым Ардов сблизился в Нащокинском, был М.А. Булгаков. Отец очень высоко ценил дарование Михаила Афанасьевича, но не был поклонником «Мастера и Маргариты».

Гораздо больше ему нравились «Собачье сердце», «Дьяволиада», «Роковые яйца»...

Сатирический и юмористический талант Булгакова приводил моего отца в совершенное восхищение. Он знал и ценил не только большие вещи Мастера, он помнил его юмористические новеллы и фелетоны, которые Булгаков в свое время публиковал в газете «Гудок». Все это писалось с резвостью необыкновенной. Ардов вспоминал, например, такую деталь: в одном из своих газетных опусов Михаил Афанасьевич повествовал о женщине, муж которой был инвалидом — у него не было ни рук, ни ног. Булгаков, между прочим, сообщал читателю, что когда она приводила в порядок кровать, то брала оттуда своего сожителя и «ставила его на подоконник, как бюст».

Я хочу привести здесь небольшой отрывок из воспоминаний отца:

«Когда пьеса “Дни Турбиных” с огромным успехом шла в Художественном театре, целый легион попрошайек, “стрелков” — так назывался этот род аферистов — одолевал Михаила Афанасьевича, считая, что он стал богачом и что ему ничего не стоит выбросить даже сотни рублей на подачки. “Стрелки” и писали Булгакову, и навещали его на квартире, и ловили на улице. А один такой тип позвонил по телефону в пять утра. Именно время поразило Михаила Афанасьевича. Днем-то звонили часто.

“А тут, — рассказывал Булгаков, — во время самого сладкого утреннего сна затрещал телефон.

Я вскочил с постели, босиком добежал до аппарата, взял трубку. Хриплый мужской голос заговорил:

— Товарищ Булгаков, мы с вами не знакомы, но, надеюсь, это не помешает вам оказать услугу... Вообразите: только что, выходя из пивной, я разбил свои очки в золотой оправе! Я буквально ослеп! При моей близорукости... Думаю, для вас не составит большого урона дать мне сто рублей на новые окуляры?..

Я в ярости бросил трубку на рычаг, — продолжал Булгаков, — вернулся в постель, но еще не успел заснуть, как новый звонок. Вторично встаю, беру трубку. Тот же голос вопрошает:

— Ну если не с золотой оправой, то на простые-то очки можете?»

В Нащокинском было еще одно соседство, которое имело для Ардова, да и для всей нашей семьи необычайно важное значение. У моих родителей была квартира на первом этаже, а на пятом, в том же подъезде, поселился Осип Эмильевич Мандельштам со своей женой Надеждой Яковлевной. Между моими родителями и этой четой установилось то, что теперь именуется «добрососедскими отношениями».

Как о том свидетельствуют современники, да и фотографические портреты, моя мать в молодости была очень привлекательной. Эмма Герштейн в своих мемуарах о Мандельштаме пишет:

«Иногда, ведя к себе домой кого-нибудь из встретившихся на улице знакомых, Осип Эмильевич по дороге звонил в квартиру Ардовых. Если дверь открывала Нина Антоновна, он представлял ее свое-

му спутнику такими словами: “Здесь живет хорошенькая девушка”. После чего вежливо раскланивался, говорил, улыбаясь: “До свидания” — и вел своего гостя на пятый этаж».

Как известно, в Нащокинском у Мандельштамов иногда гостила Ахматова.

А вот еще отрывок из воспоминаний моего отца:

«В самом конце тридцать третьего года вместе с матерью приехал в Москву и Лева Гумилев. В квартире Мандельштама ему решительно не было места для ночевки. Мы с женой узнали о том и предложили Леве переночевать у нас... и не только переночевать, но и пожить все его пребывание в столице. Наша квартира была тоже невелика. Но свободное место в семиметровой комнате, которая носила высокое наименование моего кабинета, нашлось. Лева пожил у нас и доложил матери, что Ардовы — симпатичные люди. Анна Андреевна пришла к нам на обед вместе с сыном...

А вскоре, как известно, Осип Эмильевич был выслан из Москвы, и Анна Андреевна стала останавливаться у нас, спала на той же узенькой коечке, на которой доводилось ночевать и ее сыну».

По словам моих родителей, когда Ахматова впервые поселилась у них, они изнемогали от почтительности и смущения. Однако отцу, человеку живому и острому, такая атмосфера в доме явно не подходила. Однажды вечером хозяева куда-то отправлялись, Ахматова сказала, что посидит дома — хочет поработать. Уходя, от самой двери, едва ли не зажмурившись от страха, Ардов сказал:

— Словарь рифм — на полке слева.

Анна Андреевна громко рассмеялась в ответ.

С этой минуты лед отчужденности растаял и неловкость исчезла, с тем чтобы больше никогда не возникнуть.

К тем, «нащокинским», временам относится и еще одна история, которую иногда вспоминали на Ордынке. Брат Алексей рос довольно избалованным ребенком. Однажды нянька кормила его котлетами, а он капризничал, хныкал, отказывался их есть... Свидетельницей этой сцены была Ахматова. В какой-то момент она взглянула на мальчика и весьма вежливо осведомилась:

— Алеша, вы не любите котлеты?

Самый тон и обращение на «вы» произвели на брата такое сильное впечатление, что он тут же принялся есть. И впредь в присутствии Анны Андреевны уже никогда не капризничал.

В тридцатые годы литературные дела Ардова шли превосходно. У него выходили книги, в московском Театре сатиры с успехом шла его пьеса «Мелкие козыри», его скетчи исполнялись на эстраде, его смешные рассказы читали замечательные артисты, такие, как Игорь Ильинский и Владимир Хенкин...

В те времена Ардов был знаком с удивительным человеком, звали его Александр Морисович Данкман — он был создателем и руководителем ГОМЭЦа. (Если не ошибаюсь, это расшифровывалось так: Государственное объединение музыки, эстрады и цирков.)

Данкман никогда не состоял в большевицкой партии, а потому в тридцатых годах он не мог быть номинальным руководителем своего учреждения. Он принужден был довольствоваться должностью заместителя директора, а начальником числился коммунист. Сначала это был какой-то латыш. Делами своей конторы он вовсе не занимался, а поскольку тогда шла сталинская «коллективизация», то его все время отправляли в подмосковные деревни, где надо было организовывать колхозы. После каждой такой командировки он привозил протокол, который выглядел примерно так:

«Мы, нижеподписавшиеся крестьяне деревни Черная Грязь, на общем собрании постановили объединиться в колхоз имени Розы Люксембург и Карла Либкнехта».

По какой-то причине этот латыш проникся доверием и симпатией к своему заместителю и чувства эти выразил весьма своеобразно. Вернувшись из очередной командировки, он привез такой протокол:

«Мы, крестьяне деревни Ивановка, на общем собрании решили объединиться в колхоз имени тов. А.М. Данкмана».

Александр Морисович поблагодарил управляющего за оказанную ему честь, а копию протокола отослал в Московский комитет ВКП(б). На другой день наивного латыша сняли.

Дольше всех в должности управляющего ГОМЭЦа пробыл старый большевик по фамилии Ганецкий. У них с Данкманом была общая секретарша.

Вот появляется посетитель:

— Могу я видеть товарища Ганецкого?

Секретарша спрашивает:

— А вы по какому вопросу?

— Я — по делу.

— Ах, по делу?.. Тогда, пожалуйста, в этот кабинет, к Данкману...

В те годы по инициативе Данкмана в цирке снова стали проводиться «чемпионаты по борьбе». У публики это имело огромный успех. Но вот однажды Ганецкий призвал своего заместителя.

— Александр Морисович, — с возмущением заговорил управляющий, — я только что узнал, что наша цирковая борьба — сплошное жульничество!..

— То есть как — жульничество?

— Да так! Оказывается, это — не настоящие чемпионы. Там заранее известно, кто кого и на какой минуте положит на лопатки... И даже каким именно приемом!.. Это же обман!..

— Простите, — сказал Данкман, — вы когда-нибудь слушали оперу «Евгений Онегин»?

— Да, слушал...

— Так вот, когда вы идете в театр на эту оперу, вы прекрасно знаете, что там будет сцена дуэли и в определенный момент спектакля Онегин застрелит Ленского. И ведь это вас нисколько не возмущает...

Данкман всегда чувствовал себя хозяином ГОМЭЦа, а потому был рачительным даже до скупости. Ардов вспоминал такую сценку. Они с Данкманом гуляли в фойе московского цирка и обсуждали какой-то договор — мой отец должен был написать

либретто. Когда они проходили мимо буфетной стойки, Данкман взял с блюда пирожное и протянул собеседнику:

— Угощайтесь, пожалуйста.

Ардов пирожное не взял и сказал:

— Благодарю вас, не стоит. Я сейчас съем это пирожное, а потом буду вынужден уступить вам несколько сот рублей из моего гонорара...

— Ах, вы этот приемчик знаете, — отозвался Данкман и положил пирожное обратно на блюдо.

До войны Ардов пробовал свои силы и в кинематографе. Однако опыт этот был весьма неудачным: он написал сценарий под названием «Светлый путь», а режиссер Григорий Александров снял на этой основе свой бредовый фильм. Я картину никогда не видел, но родители говорили, что от ардовского сценария там осталась лишь одна шутка — вывеска с надписью «Гостиница Малый Гранд-отель». Мама вспоминала, как они с отцом сидели на первом просмотре этой ленты. Глядя на летающий в небе автомобиль и прочие в том же роде режиссерские находки, Ардов то и дело восклицал:

— Ух ты!.. Ух ты!..

Однако же рассориться с Александровым и убрать свою фамилию из титров мой родитель все же не решился... (А вот у Ильфа и Петрова решительности было достаточно, они в подобном случае пошли на конфликт, и фильм Григория Александрова «Цирк» вышел на экраны без указания имен сценаристов.)

Я родился в 1937 году, а через год после этого мои родители еще раз меняли место жительства. На этот раз наша семья переехала из Лаврушинского переулка на Большую Ордынку, в ту самую квартиру, которая благодаря Ахматовой получила наименование «легендарная».

Со временем квартира была обжита и обставлена не без некоторой роскоши. В кабинете Ардова была мебель карельской березы, в столовой — красного дерева... На кухне жила домашняя работница по имени Оля, в детской комнате — нянька Мария Тимофеевна. А кроме того, у Ардова появилась секретарша — Наталья Николаевна.

Но все это благополучие было весьма зыбким: в стране господствовал террор, во Владимире были арестованы родители моей матери. Ардов рассказывал:

— В тридцать седьмом году я встретил одну из дочерей знаменитого фотографа Наппельбаума. Спрашиваю: «Что подделывает отец?» Она отвечает: «Отец? Он бьет негативы...»

Тут требуется некоторое пояснение. Моисей Наппельбаум в течение многих лет фотографировал знаменитых людей — политиков, писателей, актеров, музыкантов... А в тридцать седьмом этих деятелей арестовывали в первую очередь, и ему всякий день приходилось разбивать стеклянные негативы с изображением очередных жертв террора.

В феврале сорокового года родился мой младший брат Борис.

Когда разразилась война, Ардова на фронт не призвали, у него был так называемый «белый билет» — из-за порока сердца. Отец пошел в армию добровольно уже в сорок втором году. Нас он отправил в эвакуацию вместе с семьями других писателей, а сам остался в Москве.

В те дни в городе практиковались ночные дежурства, во время воздушных тревог люди поднимались на крыши домов, чтобы сбрасывать оттуда зажигательные бомбы... Отцу несколько ночей довелось дежурить в Союзе писателей. Пока тревога не объявлялась, дежурный мог находиться в какой-нибудь комнате, где стояли стулья и огромный стол, покрытый зеленой скатертью. Ардов не долго думая улегся на этот стол, а сукно использовал как одеяло.

Через некоторое время в комнату заглянула уборщица.

— Ой, — удивилась она, — это я в первый раз вижу!

— Неужели никто из дежурных тут не ложился? — спросил ее отец.

— Нет, на столе они все лежали. Но еще никто не догадался накрыться скатертью...

В самом начале войны кто-то из приятелей так отозвался о моем отце:

— Ардов такой нахал, что даже не трус.

В нем не было не только трусости, но и склонности к хвастовству. О войне он рассказывал не часто и не много, хотя получил несколько медалей и даже орден — Красную Звезду.

Мне теперь вспоминается лишь одно военное приключение, о котором Ардов иногда говорил. Это было в Краснодаре, в тот самый момент, когда к городу подошли немцы. Отец ехал в грузовике рядом с шофером. И вот они разглядели, что впереди стоят какие-то танки. Тогда водитель предложил:

— Давайте подъедем поближе, посмотрим — наши они или немецкие...

Ехать долго не пришлось, один из танков выстрелил, снаряд разорвался впереди грузовика, и машина тут же заглохла. Ардов и шофер выбрались из кабины и пустились наутек... Отец вспоминал:

— В этот момент я вовсе забыл про свой порок сердца. Я с легкостью перепрыгивал через полутораметровые плетни. И притом еще, выхватив пистолет, стрелял назад, в сторону предполагаемой погони...

У Ардова было звание майора, и всю войну он служил в армейской печати. В той газете, где ему пришлось пробыть дольше всего, редактором был некий полковник по фамилии Березин. Он Ардова очень не любил и старался изводить мелкими придирками.

Происходило это следующим образом. Отец приносил редактору фельетон, тот смотрел его и говорил:

— Это — г..., а не материал.

Ардов удалялся, и через два часа у него был готов новый фельетон. (Писать для фронтовой газеты было вовсе не трудно.)

Редактор опять браковал:

— И это никуда не годится...

Еще через два часа отец приносил третий фельетон...

За единоборством Ардова с Березиным с интересом и сочувствием к отцу следили прочие сотрудники редакции.

Те же тексты, что редактор браковал, Ардов отсылал в Москву, в «Крокодил», где их частенько публиковали. И то, что отвергнутые им вещи выходят в центральной печати, симпатии к отцу у Березина не прибавляло.

Уже в конце войны моя мать где-то встретила с Александром Фадеевым, который, как известно, был первым секретарем Союза писателей. Между прочим, он ей сказал:

— Березин все время шлет нам в союз доносы на Ардова. Но судя по тому, что он пишет, будто Виктор беспробудно пьет, там и все остальное — вранье...

(Все, кто знал Ардова, были осведомлены о том, что он в рот не берет спиртного.)

А еще я вспоминаю, как Ардов осуждал некоторых военных деятелей за излишнюю жестокость. В частности, он говорил это о Кагановиче, который был членом Военного совета фронта. То же самое относилось и к Жукову. Отец говорил, что, приезжая в какую-нибудь подчиненную ему часть, знаменитый маршал то и дело произносил:

— Расстрелять и оформить через трибунал...

После войны отец довольно скоро демобилизовался. Он сдал свой пистолет «ТТ», но у него еще

оставался маленький браунинг, который хранился в ящичке письменного стола. С этим пистолетом связана памятная мне история.

Мой старший брат Алексей Баталов в ранней юности отличался тем, что когда-то называли любострастием. Когда ему было всего шестнадцать, он всерьез вознамерился жениться на даме двадцати двух лет.

— Алеша, — внушали ему, — в таком возрасте твой брак не станут регистрировать...

А он, как всегда, рассчитывал на покровительство и помощь Ардова и потому с беспечностью говорил:

— Виктор мне это устроит.

Так вот, когда к Алексею в гости приходили знакомые девушки, он доставал браунинг из ардовского стола и со свойственным ему артистизмом разыгрывал перед ними драматические сценки. И это едва не стало причиной трагедии.

Однажды у нас в гостях был какой-то мальчик, наш с младшим братом приятель. Мы втроем зашли в кабинет к отцу и попросили его показать нам пистолет. Ардов достал свой браунинг, шутя навел его на брата Бориса и сказал:

— Сейчас я тебя застрелю...

При этом он был убежден, что патрона в стволе нет. Отец не догадывался, что Алексей при помощи этого оружия развлекает своих приятельниц...

Слава Богу, в последнюю секунду Ардов отвел пистолет в сторону, а вслед за тем прогремел выстрел — пуля вошла в стену... Мы опешили, а отец

побледнел как полотно... Браунинг был удален из дома в тот же день.

Когда брат Алексей стал учиться в школе-студии при Художественном театре, Ардов стал называть его «народный артист нашей квартиры». Шли годы, и вот ему действительно присвоили звание «народного». Узнав об этом, отец покачал головой и сказал:

— Вот тебе и «народный артист нашей квартиры»!..

После войны на Ордынке еще некоторое время продолжалось относительное благоденствие. Был даже приобретен трофейный автомобильчик, самый маленький, назывался он, кажется, «опель-адмирал». Алексей от него буквально не отходил, на этой машине он и научился вождению...

И еще памятная мне история. С раннего детства я терпеть не мог кипяченого молока и манной каши. (Я и теперь испытываю к ним отвращение.) И вот году в сорок пятом отец решился приучить меня к манной каше. С этой целью он повел меня в роскошный ресторан, в гостиницу «Москва». Там Ардова знали, к нашему столику приблизился метрдотель, и отец попросил, чтобы нам приготовили изысканное блюдо — гурьевскую кашу...

Минут через тридцать официант поставил передо мной глубокую тарелку, которая выглядела привлекательно. Сверху был пестрый узор, его составляли цукаты, варенье из различных ягод и сиропы... Но под всем этим великолепием была все та же ненавистная мне манная каша. Я зачерпнул лож-

ку, другую — и категорически отказался это есть. Отец был разочарован...

А еще гостиница «Москва» мне памятна потому, что в ней останавливался Райкин, когда он приезжал из Ленинграда. Мой отец сочинял для него монологи и сценки, работа над репертуаром происходила в номере, где жил Аркадий Исаакович. Однажды я присутствовал при этом и до сих пор помню впечатление от мгновенных метаморфоз — Райкин как никто умел перевоплощаться буквально на глазах зрителя.

«А потом случилось то, что случилось» — таким эвфемизмом Ахматова обыкновенно обозначала смуту 1917 года. А я в данном случае отношу эту формулировку к году сорок шестому, когда вышло постановление ЦК «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» и был опубликован погромный доклад Жданова.

Это страшное событие коснулось нашей семьи двояко. Во-первых, Анна Ахматова на несколько последующих лет стала фигурой одиозной, а сын ее, Л.Н. Гумилев, был арестован и получил длительный лагерный срок; а во-вторых, появился негласный запрет на публикацию произведений Ардова; хотя его имя не фигурировало ни в постановлении, ни в докладе, но то, что там говорилось о творчестве Зоценко, автоматически распространялось на всех сатириков и юмористов.

Отца отказывались печатать даже в «Крокодиле», а ведь Ардов был одним из основателей жур-

нала и до войны некоторое время исполнял там обязанности главного редактора. Впрочем, это юмористическое издание в конце сороковых годов имело устрашающий вид. Мне вспоминаются жуткие картинки, долженствующие играть роль карикатур, — Уинстон Черчилль в обнимку с атомной бомбой, Франко и Тито — оба с окровавленными топорами...

Начиная с сорок шестого года и вплоть до хрущевской «оттепели» Ардову было очень трудно кормить семью. Он был принужден писать репертуар для артистов эстрады и цирка, но и там действовала жесточайшая, бессмысленная цензура. А кроме того, отцу разрешалось выступать с чтением своих рассказов, но лишь в глухой провинции или в маленьких залах на окраинах Москвы...

Тогда, в конце сороковых, был продан рояль, с довоенных времен стоявший в большой комнате, а потом его участь разделили все более или менее ценные книги, в том числе полное собрание сочинений Льва Толстого...

Но вот настал март пятьдесят третьего. Страна погрузилась в траур, газеты и радио сообщали о болезни «великого вождя и учителя». А шестого марта было объявлено о его смерти...

Я хорошо запомнил этот день. У нас в школе по существу никаких занятий не было, — все рыдали — и учителя, и ученики... Мой младший брат Борис вернулся домой из своей школы, где тоже все плакали. Но, войдя в столовую, он вдруг увидел, что наш отец стоит перед зеркалом и, приплясывая, тихонько напевает:

— Наконец-то сдох, наконец-то сдох...

Боря потом говорил нам, что в его душе на какой-то момент пробудились «чувства Павлика Морозова»...

В те времена мой отец и Ахматова имели обычное прогуливаться по вечерам, они шли в сторону Москвы-реки и Красной площади. Там, в самом начале нашей Ордынки, был небольшой скверик, Анна Андреевна и Ардов усаживались на скамейку и беседовали... Оба они были людьми наблюдательными, а потому заметили, что майскими ночами пятьдесят третьего Москва жила какой-то особенно напряженной жизнью — туда-сюда сновали машины, и притом военные... Разгадка не заставила себя ждать: вскоре стало известно, что пал Лаврентий Берия. В память этого события Ахматова и Ардов дали название своему излюбленному месту «скверик имени товарища Берии».

С годами мой отец, что называется, прижился в Замоскворечье, полюбил эту часть Москвы. Первые два квартала Пятницкой улицы всегда были, да и остаются торговым местом — здесь множество разнообразных магазинов. И вот во всех этих лавках и лавчонках Ардов был своим человеком. Он дружил с продавцами, разговаривал с ними, шутил, дарил им свои книжки.

В начале шестидесятых годов на Пятницкой открылась шашлычная, вполне пристойное по тем временам заведение. Мой отец иногда захаживал туда — поесть мяса. И вот однажды, выходя из этой шашлычной, Ардов остановился в дверях, вы-

сыпал на ладонь и пересчитал мелкие монеты. Это заметила проходившая мимо старушонка и сказала ему с ехидством:

— Ну что, дед, пропился? Теперь тебе твоя старуха даст!

Но вернусь к пятьдесят третьему году. Тем летом произошло событие, которое предвещало наступление хрущевской «оттепели». В нашей квартире на Ордынке раздался звонок, мама открыла дверь и увидела перед собою высокую женщину, в темном платье, в платочке и с узелком в руках... Вглядевшись, мама ахнула — это была исхудавшая и измученная тюрьмой Лидия Русланова.

Эта замечательная певица была дружна с моими родителями, а потому, освободившись из заключения, она пришла именно на Ордынку. (Собственная ее квартира в Лаврушинском переулке, разумеется, была занята, туда вселился какой-то важный чин с Лубянки.)

Сама Лидия Андреевна впоследствии рассказывала, что Ардов, верный своему веселому нраву, едва поздоровавшись с нею, произнес:

— Лидка, я тебе сейчас новый анекдот расскажу...

Я хорошо запомнил фразу, которую мой отец любил произносить в конце пятидесятых, в шестидесятые и даже в семидесятые годы:

— С тех пор, как умер товарищ Сталин, мне не на что жаловаться...

И он в большой мере был прав. У него опять стали выходить книги, он много печатался в газетах и журналах, выступал по радио и на телевидении.

Годы унижительного безденежья и насильственной немоты вроде бы миновали...

Но мне представляется, что причины для жалоб у него по-прежнему оставались. Ведь Ардов был необычайно остроумным и одаренным человеком, и если бы он прожил жизнь, не ощущая гнета советской — даже и послесталинской — цензуры, он мог бы стать писателем иного масштаба.

Мой отец был широко образованным человеком, прекрасно знал историю, а русская литература была для него чем-то вроде религии. Когда он произносил имя обожаемого им Льва Толстого, его глаза увлажнялись. Но при том он ценил графа именно как великого писателя, а не как моралиста и «пророка».

Кстати сказать, Ардов очень любил и частенько рассказывал «яснополянские анекдоты». Ну, например, такой. Софья Андреевна из медицинских соображений негласно добавляла в вегетарианскую еду своего мужа мясную пищу. В какое-то из блюд по ее приказу клали вареную курятину, которая предварительно проворачивалась в мясорубке. Тайна эта была не великая, и кухарка громко говорила своим помощникам:

— Графовую курицу пора перемалывать...

Но чаще всего мой отец вспоминал еще один анекдот. Году эдак в 1909-м кто-то из сыновей Льва Толстого прибыл в Ясную Поляну. Обстановка там была жуткая, ссора между родителями в разгаре, а потому молодой граф отправился в гости к своему приятелю-помещику, который жил неподалеку. Вернулся он под самое утро — его привезли в про-

летке к воротам яснополянской усадьбы. По причине сильнейшего опьянения идти граф не мог и двинулся к дому на карачках. В этот момент навстречу ему вышел Лев Николаевич, он по обыкновению собственноручно выносил ведро из своей спальни. Увидевши человека, который приближается к дому на четвереньках, Толстой воскликнул:

— Что это такое?!

Молодой граф поднял голову, взглянул на фигуру отца и отвечал:

— Это — одно из ваших произведений. Быть может, лучшее.

Ардов был отнюдь не только любителем и коллекционером забавных историй. Его авторству принадлежали блистательные шутки, которые иногда имели хождение в качестве анекдотов.

Еще в двадцатых годах Ардов однажды был в Доме искусств. Там он проходил мимо ресторанного столика, за которым сидела опереточная примадонна Татьяна Бах и ее муж — известнейший, а потому и состоятельнейший врач-гомеопат. Этот человек обратился к моему отцу с такими словами:

— Говорят, вы очень остроумный человек. Скажите нам что-нибудь смешное.

Отец взглянул на него и не задумываясь произнес:

— Гомеопат гомеопатую, а деньги загребает аллопатую...

В шестидесятых годах я часто бывал в Коктебеле и там подружился с Марией Сергеевной Благоволиной. Она была адвокатессой, дед ее — извест-

ный московский протоиерей, а отец — еще более знаменитый профессор-гинеколог. Однажды она мне сказала:

— А ты знаешь, как твой отец переименовал нашу фамилию?

— Нет, — говорю, — не знаю.

— В одном своем фельетоне, еще в двадцатых годах, он так написал: «Известный гинеколог профессор Влагаболин...»

Был у Ардова приятель, который почти всю жизнь работал в Московском планетарии. Отец сказал ему:

— Знаешь, почему тебя там так долго держат? Потому что ты звезд с неба не хватаешь...

Близкую приятельницу Ахматовой, Эмму Герштейн, которая долгие годы занималась творчеством М.Ю. Лермонтова, Ардов называл так:

— Лермонтоведка Палестины.

О другой даме он говорил:

— Гетера инкогнито.

На Ордынку пришел некий литератор, который публиковался под псевдонимом Басманов. Отец написал ему свою книжку:

Сунь это в один из карманов — (В.Е. Ардов)

Отверженный Богом Басманов. (А.К. Толстой)

Отец совсем неплохо писал шуточные стихи и эпиграммы:

Скажу про басни Михалкова,
Что он их пишет bestолково.

Ему досталась от Эзопа,
Как видно, не язык...

Я хочу привести тут еще одну эпиграмму, но ее нужно снабдить предисловием. В начале шестидесятых годов в ЦК партии было решено добиться, чтобы советский классик Михаил Шолохов был удостоен Нобелевской премии. С этой целью его несколько раз посылали в Швецию, где он читал лекции и всячески себя рекламировал. В этот самый период Ардов сочинил эпиграмму, но — увы! — содержащееся в ней пророчество не сбылось.

Зря Шолохов к шведам в столицу
Все ездит за премией Нобеля —
Немыслимо красному кобелю
Под цвет либеральный отмыться.
В Стокгольме и малую толику
Донскому не взять алкоголику.

И еще о советской литературе мне вспоминаются такие слова отца:

— В полном собрании сочинений любого нашего классика последний том должен иметь такой подзаголовок: «Письма, заявления и доносы».

Ардов говорил:

— Политика кнута и пряника известна еще со времен Древнего Рима. Но большевики тут ввели некоторое новшество: они первыми догадались выдавать кнут за пряник...

Отец учил нас с братом:

— Огорчаться и расстраиваться от повсеместного хамства и идиотизма жизни в нашей стране — совершенно бессмысленно... Представь себе: ты бежал по лесу и ударился лбом о сук березы — ну вот и обижайся на этот лес, на эту березу...

Помнится, когда мне надоедала мелкая литературная поденщина, которая кормила меня в шестидесятые и семидесятые годы, я поделился с отцом своими планами — бросить это унижительное дело. Тут он мне сказал лишь одну фразу: «Куском хлеба в футбол не играют...»

Я хорошо запомнил и еще одно его суждение:

— Пожилых мужчин подстерегает страшная опасность. Некоторые из них лет в шестьдесят расстаются со старыми женами и уходят к молодым возлюбленным. Это — смертники...

Слава Тебе, Господи, самого Ардова сия чаша миновала, хотя он был, что называется, «ходоком по этой части». И не просто любителем «клубнички», а даже и теоретиком в данном вопросе. Но умолкаю, ибо писать об этом мне крайне неприятно...

О некоторых своих знакомых Ардов говорил так:

— Это — ужаснувшийся.

Такой термин применялся к людям, которые смогли пережить кровавый сталинский террор, но у них появился патологический страх перед самой советской системой — реальное ощущение того, что в этой стране любой человек в любую минуту может быть раздавлен, уничтожен, превращен в лагерную пыль...

Сам Ардов к этой категории не принадлежал. Но нельзя сказать, что десятилетия, прожитые под гнетом большевицкого режима, прошли для него даром. Ему было свойственно то, что я бы обозначил словом «мимикрия». Благополучие отца и всей нашей семьи всегда зависело от всевластного племени советских бюрократов, а сама жизнь научила Ардова общаться с ними таким образом, чтобы не вызывать у них ни малейшего подозрения в нелояльности.

20 декабря 1963 года Л.К. Чуковская — а ей никогда и ни в какой степени не была свойственна эта «мимикрия» — возмутилась письмом, которое Ардов адресовал главному ленинградскому начальнику — Толстикову. (Мой отец пытался защитить Иосифа Бродского.)

Лидия Корнеевна отмечает в своем дневнике, что письмо написано «фальшивым, заискивающим тоном», но тут же признает:

«Необходимо спасти Иосифа. Ардов к Толстикову вхож и знает, на каком языке с ним разговаривать».

К стыду всей нашей семьи, существует еще одно письмо Ардова, написанное в подобном «тоне» и на том же «языке», и оно тоже было адресовано в Ленинград. Я имею в виду позорное обращение отца в тамошний суд, когда разбиралось дело о судьбе архива Ахматовой. Ардов единственный из всех друзей Анны Андреевны выступил на стороне И. Пуниной, против законного наследника — Л.Н. Гумилева.

В те времена и моя мать, и мой отец осуждали Льва Николаевича за жестокость, которую тот про-

являл по отношению к своей старой и больной матери. Но в данном случае привычная «мимикрия» Ардова подвела, и его письмо воспринималось как политический донос на Гумилева.

Ардову в большой степени было свойственно то, что он сам характеризовал термином «общественный темперамент». Он состоял членом множества комиссий, ходил на какие-то совещания, что-то организовывал сам... И все это совершенно бескорыстно. К тому же мой отец был очень добрым и отзывчивым человеком. По этой причине у нас на Ордынке был нескончаемый поток тех, кому он пытался оказывать помощь, — самодеятельные и провинциальные артисты, «юные дарования» и просто графоманы, люди, пострадавшие от советских бюрократов, и т. д. и т. п.

В начале семидесятых здоровье Ардова пошатнулось. К его всегдашним недомоганиям прибавился диабет. Но он не сдавался, продолжал сочинять рассказы и фельетоны, ездил на публичные выступления...

В это самое время я стал показывать отцу мои собственные сочинения, которые писались не для тогдашней печати, а, что называется, «в стол». Он отнесся к этому с полным одобрением, и вот тогда-то я рискнул обратиться к нему с таким предложением:

— Напиши настоящие, честные мемуары. Ведь ты прожил долгую жизнь, общался с интереснейшими людьми... Твоя память хранит столько замечательных историй. Я берусь тебе в этом помочь. Мы

возьмем магнитофон, ты будешь говорить, я буду печатать на машинке. Потом мы будем вносить исправления... Пойми, ты обязан это сделать!..

Но — увы! — уговоры мои не подействовали, отец решительно отказался. И мне кажется, что причиной тому были не только его немощи, но и все та же привычная «мимикрия». Ему уже невозможно было отбросить проклятый «советский» язык и заговорить на простом, человеческом...

21 октября 1975 года отцу исполнилось семьдесят пять. По этому случаю был устроен юбилейный вечер в Доме актера. (Дом литераторов Ардов не любил.) Чувствовал он себя совсем плохо, но его усадили на сцене, и он с улыбкой выслушивал обычные в таких случаях комплименты, лесть и благие пожелания.

Когда чествование закончилось, мы с братом Борисом повели отца к автомобилю. Но он вдруг заупрямился и заявил:

— Я хочу рыбки поесть...

Желание его было исполнено, и Ардов последний раз в жизни посетил свое любимое заведение — ресторан при Доме актера.

В самом начале семьдесят шестого года его пришлось уложить в больницу при ВДНХ. Тамошние врачи Ардова знали и любили. Дежурный доктор осмотрел его, потом вышел в коридор и сказал нам с братом:

— Вы его живым отсюда не увезете...

Ардова положили в отдельной палате, но обеспечить ему постоянный уход врачи не могли, а по-

тому мы с братом Борисом были при нем неотлучно: сутки один, следующие — другой... Это было изнурительно, ночью приходилось дремать, сидя на стуле, другой койки в палате не было.

20 февраля наступило резкое ухудшение. Врачи, то и дело появлявшиеся в палате, выглядели мрачными и озабоченными... И вдруг через сутки — 22-го — состояние отца улучшилось.

Тут я впервые ощутил, насколько человеческая природа противна смерти близких людей. Ведь отец лежал совершенно беспомощный, с ним даже разговаривать было невозможно, мы с братом уставали от дежурств... Но когда наступило это последнее улучшение, я подумал: наплевать на усталость, я готов, я согласен вот так же молча сидеть у кровати отца!.. Пусть это длится бесконечно — лишь бы знать, что он еще жив, что он еще дышит!

Отец был первым человеком, который расстался с жизнью на моих глазах. (В последующие годы я видел много умиравших, этот опыт мне дало священство.) Но именно в те дни я получил на прочтение поразительную книжку, она называется «Невероятное для многих, но истинное происшествие» (издатель К. Иксуль, Сергиев Посад, 1916). Она написана интеллигентным, литературно одаренным человеком, который вкусил телесную смерть, а потом чудесным образом был возвращен к жизни.

И вот тогда, в феврале семьдесят шестого года, сидя у постели своего умирающего отца, я удивлялся, насколько автор «Невероятного происшествия»

был точен в своем описании. Отец был совершенно беспомощен, но на лице его отражалась работа мысли. Он будто бы говорил мне те самые слова, что я читал в раскрытой книге:

«Все мое внимание сосредоточилось на мне же самом, но и здесь была удивительная особенность, какая-то раздвоенность: я вполне ясно и определенно чувствовал и сознавал себя и в то же время относился к себе же настолько безучастно, что казалось, будто даже утерять способность физических ощущений. Я видел, например, что доктор протягивал руку и брал меня за пульс — и я видел и понимал, что он делал, но прикосновения его не чувствовал...

Во мне как бы вдруг обнаружилось два существа: одно — крившееся где-то глубоко и главнейшее; другое — внешнее и, очевидно, менее значительное; и вот теперь словно связывающий их состав выгорел или расплавился, и они распались, и сильнейшее чувствовалось мною ярко, определенно, а слабейшее стало безразличным. Это слабейшее было мое тело».

25 февраля в двенадцать часов дня я в очередной раз пришел в больницу, чтобы сменить на дежурстве брата Бориса. Со мною пришла наша мать. Отец лежал на спине, с полузакрытыми глазами. Казалось, он уже был без сознания. Но едва заметное движение губ — попытка улыбнуться — дало нам понять, что он наше появление заметил... Теперь его лицо выражало какую-то невероятную усталость — не боль, не страдание, а именно крайнее утомление. Я опять взял «Невероятное происше-

ствие», открыл нужную страницу и передал книжку матери. Мы с ней стали читать вдвоем:

«Я вдруг почувствовал, что меня с неудержимой силой потянуло куда-то вниз. В первые минуты это ощущение было похоже на то, как бы ко всем моим членам подвесили тяжелые многопудовые гири, но вскоре такое сравнение не могло уже выразить моего ощущения, представление такой тяги уже оказывалось ничтожным...

Нет, физических болей я не чувствовал никаких, но я несомненно страдал, мне было тяжело, томно... Я чувствовал только непреодолимое стремление куда-то, тяготение к чему-то, о котором говорил выше. И я чувствовал, что тяготение это с каждым мгновением усиливается, что я уже вот-вот совсем близко подхожу, почти касаюсь того влекущего меня магнита, прикоснувшись к которому я всем моим естеством припаююсь, срастусь с ним так, что уже никакая сила не в состоянии будет отделить меня от него. И чем сильнее чувствовал я близость этого момента, тем страшнее и тяжелее становилось мне, потому что вместе с этим ярче обнаруживался во мне протест, яснее чувствовал, что я не весь могу слиться, что что-то должно отделиться во мне, и это что-то рвалось от неведомого мне предмета притяжения с такою же силою, с какой что-то другое во мне стремилось к нему. Эта борьба и причиняла мне истому и страдания».

Мама молча взглянула на меня и закрыла книгу. Краткий зимний день угасал. В палате было полутемно, горела только лампа на столике у кровати.

Она освещала худое изможденное лицо, на котором было написано напряжение и мука, смертная мука... И вдруг знакомые черты исказились гримасой — видно было, что отец силится, хочет пошевелиться... Это длилось лишь несколько мгновений... Тут он глубоко вздохнул, чуть дернулся — и душа его отлетела...

Моя мать, Нина Антоновна Ольшевская, родилась во Владимире 31 июля / 13 августа 1908 года. Ее отец, Антон Александрович, был сыном главного лесничего Владимирской губернии. А женою этого моего прадеда была польская аристократка — урожденная графиня Понятовская. В семейном предании сохранилась романтическая история. Сам прадед Ольшевский был дворянином незнатного рода, и родители прабабки противились их браку. Тогда молодые уехали из родных мест, обвенчались без родительского благословения и поселились достаточно далеко от Польши — во Владимире. Мама вспоминала, как в раннем детстве ее и младшего брата Анатолия на «католическое Рождество» водили поздравлять дедушку и бабушку...

Мой дед, Антон Александрович, был личностью весьма своеобразной. Смолоду он собирался стать врачом, но с медицинского факультета его исключили за то, что во время пения российского гимна «Боже, Царя храни» он не встал, как все прочие студенты, а продолжал сидеть. Эта «революционная выходка» стоила ему профессии — стать целителем людей ему не позволили, и он поневоле стал ветеринаром.

Дед был невысокого роста, с правильными чертами лица. Характер у него был своеобразный: при удивительной доброте необычайная горячность и вспыльчивость — он то и дело выкрикивал свое «ко псам!». Однажды его пригласили поохотиться на вальдшнепов. Там, стоя на опушке леса, он подвергся нападению целой тучи комаров, и, не выдержав укусов, горе-охотник стал разгонять насекомых выстрелами из ружья!

Моя бабка со стороны матери, Нина (Антонина) Васильевна, была довольно известным во Владимире зубным врачом. Родом она была из дворянской семьи Нарбековых, у нее были две сестры и брат Николай Васильевич. Как это бывало в тогдашней интеллигентской среде, все они были враждебно настроены по отношению к власти и даже формально являлись членами партии эсеров (социалистов-революционеров). Притом Нина Васильевна возглавляла местную ячейку своей партии. (Впоследствии, уже при большевицком режиме, это обстоятельство сыграло роковую роль в судьбе моей бабки и ее брата.)

У Нарбековых был во Владимире собственный дом с садом. Он и по сию пору стоит на главной улице, совсем неподалеку от знаменитых соборов — Дмитриевского и Успенского. Мама вспоминала, как в детстве их с братом именно туда водили на службу.

Насколько можно судить, у моей матери довольно рано пробудился интерес к театральному искусству. Ее приятель, также владимирский

уроженец Павел Геннадьевич Козлов, вспоминал, как совсем юная Нина Ольшевская занималась мелодекламацией, а он ей аккомпанировал на фортепиано.

Всего семнадцати лет от роду она приехала в Москву и поступила в студию при Художественном театре. А педагогом, который стал руководить их курсом, был сам Станиславский. Этим обстоятельством мать гордилась всю свою жизнь.

Вместе с нею там учились еще две барышни, которые также носили польские фамилии, — Вероника Полонская и Софья Пилявская. В шестидесятые годы я встречал старых москвичей, которые с восхищением вспоминали, насколько хороши были эти три подружки из мхатовской студии.

Примерно через год после появления в Москве моя мать вышла замуж за Владимира Петровича Баталова, который был актером Художественного театра. В двадцать лет, в 1928 году, она родила старшего сына — Алексея.

Артистическая карьера моей матери поначалу складывалась довольно успешно. После окончания студии ее приняли в труппу, что безусловно могло считаться огромной удачей. Но ведь любой театр, а уж тем паче такой, как тогдашний Художественный, являет собою некое кладбище невостребованных дарований, и в конце концов моя мать перешла в только что созданный Театр Красной Армии. Но связь с МХАТом сохранилась у нее во всю последующую жизнь, а Софья Станиславовна Пилявская оставалась ее подругой.

Мой отец тоже дружил с некоторыми актерами из Художественного, а потому на Ордынке часто рассказывались истории, которые можно было бы назвать «мхатовским фольклором». Например, мама рассказывала, что старая гримерша в тридцатые годы вспоминала такую сценку: две артистки на фантах разыгрывали двух знаменитых русских писателей — какой кому достанется. Звали этих актрис Ольга Леонардовна Книппер и Мария Федоровна Андреева.

А отец любил вспоминать шутку актера В.В. Лужского, который так называл Книппер-Чехову: — Беспокойная вдова покойного писателя.

И еще один рассказ, который бытовал у нас на Ордынке. По мнению моих родителей, самым талантливым из всех мхатовских актеров был Л.М. Леонидов. Был он к тому же человеком очень умным и с сильным характером. Все, даже сам Станиславский, его несколько побаивались.

Во время гастрольной поездки мхатовцы плыли на корабле через Атлантику. Все было по высшему разряду, обедали они в роскошном ресторане, а потому и одевались к столу соответствующим образом. Только Леонидов позволял себе являться без галстука, а то и вообще без пиджака. Так продолжалось в течение нескольких дней плавания по океану. Наконец Станиславский решился сделать Леонидову замечание:

— Леонид Миронович, тут один англичанин мне говорил... Он удивляется... Здесь положено являться к обеду тщательно одетым, а вы себе позволяете...

— Что?! — перебил его Леонидов. — Покажите-ка мне этого англичанина. Да я ему сейчас...

Станиславский испугался скандала и поспешно сказал:

— Его тут нет... Он на минуточку сошел с парохода...

Как известно, в Художественном театре всегда шла отчаянная вражда актерских поколений. При этом во МХАТе существовал обычай: если хоронили кого-нибудь из основателей труппы, то при выносе гроба звучали фанфары — музыка из финальной сцены спектакля «Гамлет». (Последний раз эти фанфары прозвучали в 1959 году, во время похорон О.Л. Книппер-Чеховой.)

Борис Добронравов, один из самых талантливых актеров второго поколения мхатовцев, не стеснялся своих чувств по отношению к «старикам». Если он видел кого-нибудь из них в фойе или в буфете театра, то громко произносил своим хорошо поставленным голосом:

— Давно я, грешник, фанфар не слышал...

Когда журнал «Новый мир» (1965, № 8) опубликовал «Театральный роман» М.А. Булгакова, мы на Ордынке восприняли это с восторгом. Отец взял карандаш и прямо на журнальных страницах расшифровал псевдонимы, которыми автор награждал мхатовских деятелей. Кое-что из этого я помню до сих пор. Пряхина — это Коренева, Елагин — Станицын, Миша Панин — Павел Марков, Тулумбасов — Михальский, Патрикеев — Яншин, Владычинский — Хмелев, а дирижер Романус — Израилевский.

Художественный театр с самого начала в особенности настаивал на своей «общедоступности» и, разумеется, «прогрессивности». По этой причине в их зале не было специальной «царской ложи», и уже в тридцатых годах, когда в театр стал приезжать Сталин, там устроили нечто подобное. Разумеется, для высокого начальства соорудили ватерклозет, а канализацию пришлось провести через то помещение при сцене, где во время спектаклей располагался оркестр (специальной «ямы» для музыкантов в Художественном не существует).

Все это обсуждалось в театральной Москве, и тут Ардов как-то встретил Израилевского.

— Говорят, — сказал мой отец, — у вас в оркестре появились новые инструменты?

— Какие еще новые инструменты? — изумился режиссер.

— Фановые трубы, — отвечал Ардов.

Однако же вернусь к жизнеописанию своей матери. В Театре Красной Армии, куда она перешла из Художественного, дела ее пошли несколько лучше, какие-то роли ей давали, но в премьерши она так и не выбилась. Я вспоминаю, что чрезвычайно умный и даровитый Михаил Кедров, который после войны стал главным режиссером МХАТа, в 1960 году говорил моему брату Борису:

— А ведь Нина в свое время напрасно ушла из нашего театра. Она неплохая актриса...

Как я уже упоминал, в год моего рождения, в тридцать седьмом, во Владимире были арестованы родители нашей матери: бабке Нине Васильевне не

могли простить того, что до революции она возглавляла местную организацию эсеров, — такое большевики никогда не забывали.

Дед Антон Александрович был болен чахоткой. На одном из допросов он прокричал следователю свое любимое «ко псам!». Тот вскочил со своего места, свалил деда ударом кулака и стал топтать его ногами... Через несколько дней Антон Александрович скончался в тюремной больнице. А бабушка Нина Васильевна получила десять лет лагерей...

Я полагаю, именно эти трагические события стали главной причиной того, что Ахматова и моя мать в такой степени сблизились, стали подругами. Их беды были равнозначны: у Анны Андреевны в лагере был сын, а у Нины Антоновны там находилась мать.

Я никогда не говорил об этом ни с той, ни с другой, но у меня есть доказательства справедливости моего мнения. В предисловии к своим «Запискам об Анне Ахматовой» Лидия Чуковская приводит такое свидетельство:

«В те годы Анна Андреевна жила, замороженная застенком, требующая от себя и других неотступной памяти о нем, презиращая тех, кто вел себя так, будто его и нету».

Мои собственные вполне сознательные воспоминания о матери относятся ко времени войны, к эвакуации. Собственно говоря, к городку Бутульме, где мы прожили года два, до самого возвращения в Москву. Там мама держалась молодцом, хотя по своему

воспитанию и всей довоенной жизни она была белоручкой. А тут все приходилось делать самой: и стирать, и стряпать. Я до сих пор вспоминаю пироги с картошкой, которые она пекла нам в Бугульме, они казались неземным лакомством...

Мало того, она сумела организовать там театр, найти среди прочих эвакуированных достаточное количество увлеченных сценой людей. Я запомнил один из спектаклей, который мать там осуществила, — «Любовь к трем апельсинам». На сцене стояли три фанерных щита круглой формы, окрашенные желтой краской, а потом они распадались...

В Москву мы вернулись в мае сорок четвертого. Здесь на маму обрушились новые беды. Прежде всего она поехала в далекий Бузулук и привезла оттуда смертельно больную свою мать, Нину Васильевну. Ее, как тогда выражались, «сактировали» из лагеря по причине запущенного рака желудка. При этом ее невозможно было прописать в Москве, ибо такому «врагу народа», каким она считалась, положено было подышать где-нибудь неподалеку от зоны, а не в «столице нашей Родины». Тут пришла на помощь мамина подруга, жена Л.В. Никулина — Е.И. Рогожина. У нее было давнее знакомство с самим Абакумовым, кажется, они учились в одной школе. Взяв паспорт моей бабки, она через несколько дней вернула его, и там уже стоял штамп о прописке... Царствие Небесное Екатерине Ивановне! Она любила и умела делать добро! Благодаря ей Нина Васильевна пред своей кончиной была окружена заботой и вниманием...

(Когда я начинаю думать о русских интеллигентах, о моих сродниках и о всех прочих, меня охватывает и жалость, и злость... Несчастные недоумки и нравственные уроды! Вы не только погубили свою великую страну, но и сами погибли, принесли страдания и смерть всем тем, кого так стремились облагодетельствовать.)

Еще одна беда, которая постигла маму в конце войны, — смерть нашего маленького брата. Его называли Женей, он прожил на свете всего несколько недель...

Я очень хорошо запомнил лето 1946 года. Мама, я и шестилетний брат Борис впервые приехали в Коктебель. Поселок был тогда совсем малолюдным, кроме невысоких строений литфондовского дома на берегу — ничего. Пляж был, что называется, дикий, и там можно было найти изумительные по красоте камни...

После войны мама снова стала работать в своем военном театре, но дела там у нее шли не особенно успешно, хотя она была довольно способным режиссером и в особенности педагогом. В труппе к ней всегда тянулись еще не раскрывшиеся юные дарования, а также и актеры постарше, чья карьера не ладилась. И она совершенно бескорыстно помогала всем этим людям.

Как известно, в любом театре процветают интриги и подхалимство. То же самое мы знаем и об армейской среде, но там это еще усугубляется, поскольку значительная часть начальников — тупи-

цы и хамы. И легко можно себе представить, какова может быть атмосфера в таком театре, где управляют армейские чины.

Моей матери был свойствен абсолютный демократизм. Она идеально общалась, например, с деревенскими бабами и мужиками. Но холуйства в ней не было ни на грош. (Как видно, сказывалась кровь «ясновельможных панов Понятовских».) И, конечно же, все начальники армейского театра ее терпеть не могли.

Мне помнится, особенно плохо относился к ней один из них — генерал Паша. Он окружал себя холуями, каковых среди актеров всегда предостаточно, а Нину Ольшевскую откровенно преследовал. Был этот генерал маленького роста, толстый, лысый... По причине комической внешности с ним однажды произошел весьма забавный случай.

Будучи страстным болельщиком армейской футбольной команды ЦДКА, этот генерал однажды присутствовал на стадионе в компании нескольких приближенных подхалимов (на футбол он ходил в штатском костюме). Как назло, в том ряду, который был выше, прямо над Пашою сидел мальчишка, который болел за ту команду, что противостояла ЦДКА. В конце концов армейский клуб потерпел поражение, и как только раздался финальный свисток, паренек звонко хлопнул генерала по лысине, вскричав:

— Ну что, пузырь? Проиграло твое ЦДКА?

Но вернемся к моей родительнице. Подлинная ученица Станиславского, она была предана театру

самозабвенно, а ее прямые начальники весьма беспардонно этим пользовались. В течение десятилетий мама была эдаким режиссером «на подхвате». Изредка ей поручались даже и самостоятельные постановки, но каких-то уж совсем ничтожных пьес, которые разыгрывали третьесортные актеры на так называемой малой сцене. (А она-то всю жизнь мечтала поставить «Горе от ума».)

Сколько я помню, мама ездила в свой театр по два раза в день, утром и вечером, и ужасно уставала. Притом зарплата у нее была нищенская, поскольку она была актрисой «без звания». А на режиссерскую должность ее так никогда и не назначили.

Но была у матери, что называется, «смежная профессия»: она замечательно читала стихи, в частности своего любимого Маяковского и, конечно же, Ахматову. Анна Андреевна считала, что именно Нина Ольшевская лучше всех читает ее «Поэму без героя». В одной из записных книжек Ахматовой есть такая фраза: «Прошу Мишу Ардова записать хоть кусок чтения поэмы его мамой».

Обладая несомненным даром декламации, мама практически никогда публично не выступала, но зато она обучала этому искусству других. Среди тех чтецов, которые обращались к ней как к режиссеру, были довольно известные в свое время имена.

Мне теперь вспоминается некая дама, фамилия ее, кажется, была Овчарова. Она читала с эстрады рассказ Чехова, и мама долго репетировала с ней «Попрыгунью». Происходило это в отцовском каби-

нете, за закрытой дверью. Чтица была весьма темпераментная и голосистая, а потому то и дело по всей квартире разносился громкий крик — это чеховская героиня взывала к только что умершему мужу:

— Дымов! Дымов! Дымов же!

Надобно заметить, что мама занималась с чтецами еще с довоенных времен. В числе ее подопечных когда-то была Анна Гузик, впоследствии довольно известная исполнительница еврейского репертуара. Тогда она только что появилась в столице и снимала комнату в квартире без телефона. Приходя на Ордынку для своих занятий с мамой, эта артистка принималась звонить по телефону своим знакомым, родственникам и проч., и проч. Притом, как все люди, которые не привыкли пользоваться телефоном, она говорила в трубку очень громко, из-за чего Ахматова однажды произнесла:

— Пока этот Гузик не кричит по телефону, я его не боюсь.

А еще я запомнил такую отцовскую фразу:

— С тех пор, как Иоганн Гутенберг сделал свое изобретение, художественное чтение как жанр много утратило в своей актуальности.

Каждое лето мама отправлялась на гастроли. Поскольку их театр был военным, они, как правило, выступали в глухой провинции — там, где располагались армейские гарнизоны. Помню несколько маминих рассказов, которые она привозила с гастролей.

В начале лета 1953 года они оказались где-то на Севере, неподалеку от Мурманска. Всем женщинам —

актрисам, гримершам, костюмершам — для проживания была отведена огромная комната, что-то вроде красного уголка военной части. У этого помещения было соответствующее убранство: на стенах плакаты, портреты членов Политбюро и т. д. И вот ранним утром, когда все женщины еще спали, там появился подполковник — замполит. Он тихонько открыл дверь, на цыпочках пересек комнату, бесшумно забрался на стол и снял со стены один из портретов. Так же тихо, стараясь не разбудить никого из спящих, он удалился вместе с портретом... Вот каким образом моя мама и все, кто находились с нею в тех гастролях, узнали о падении Лаврентия Берии.

И еще мамин рассказ, он относится к пребыванию в самом Мурманске. Несколько актеров и актрис шли по одной из улиц города. Когда они проходили мимо местного ресторана, то увидели, как оттуда выскочил человек, у которого из глаза торчала вилка! И этот несчастный быстро-быстро побежал по улице, очевидно, в сторону больницы...

Когда армейский театр гастролировал где-то на Украине, маму вместе с другой актрисой поселили в доме местной жительницы, еврейки. Хозяйка посещала их спектакли и потом говорила своим квартиранткам:

— Чтобы мои дети были такие здоровенькие, какой у вас артист Зельдин!

Однажды театр был на гастролях в Сочи, было это году в пятидесятом. В то время в их труппе состоял и наш старший брат Алексей Баталов. Когда

они с мамой вернулись, то привезли огромную корзину фруктов — виноград, груши, персики, а кроме того, на Ордынку был доставлен необычайных размеров арбуз. Но как только его стали резать, оказалось, что мякоть в нем совершенно несъедобна... И тогда я, тринадцатилетний, упросил взрослых отдать арбуз нам с Борисом — ему было десять лет. Я тотчас схватил свою добычу, и мы с Борей взбежали по лестнице на пятый этаж. Там мы распахнули окно, и наш арбуз полетел вниз... Когда он ударился о землю, то на мгновение распластался по ней, превратившись в этаким огромный блин, и тут же во все стороны полетели клочья... Честно говоря, я до сих пор не могу забыть этого зрелища.

Как я упомянул, наш старший брат Алексей некоторое время служил в Театре Советской Армии. Было это вот по какой причине. Когда он окончил студию при МХАТе, его немедленно приняли в самый театр. Но тут же встал вопрос о том, каким образом он будет отбывать воинскую повинность. А при военном театре была так называемая команда. В ней содержались молодые актеры, которые работали по своей специальности и одновременно проходили военную службу. Вот туда и зачислили нашего Алексея.

Служить в «команде» при театре было необременительно, хотя там соблюдались армейские порядки. Был какой-то майор, разумеется, существовал и старшина, который непосредственно командовал актерами в солдатской форме. Жизнь этих начальников была нелегкая, поскольку «личный

состав» отличался бойкостью, игривостью, веселостью...

Я вспоминаю, как Алексей и его товарищи пародировали речь своего майора, у которого был любимый афоризм:

— Лучше перебдеть, чем недобдеть.

Или вот такая сценка. На вечернем построении старшина обращается к команде:

— Вопросы есть?

Из шеренги раздается голос:

— Есть, товарищ старшина! Рядовой Халецкий. У меня вопрос: почему Земфира охладела?

— Так, — раздумчиво произносит старшина, — отвечаю на вопрос рядового Халецкого: будем тренировать.

Но вернемся к театральной карьере моей матери. Вплоть до шестьдесят четвертого года она служила в своем армейском театре, ставила спектакли, ездила на гастроли, но режиссерской должности так и не дождалась. А возраст был такой, что пора было подумать об оформлении пенсии. И вот для того, чтобы на старости лет получать побольше денег, мама уехала на работу в Минск. В тамошней труппе ее оформили режиссером и стали платить вполне приличное жалованье.

Поселили маму в удобной комнате при самом театре, и она принялась репетировать какой-то спектакль... Но во всем, что касалось дел житейских, наша мать была удивительно невезучим человеком. Недели через две после своего приезда в Белоруссию она поела в театральном буфете несвежей

рыбы, и у нее случилось отравление с сильной рвотой, а поскольку у нее оказалось к тому же и очень высокое артериальное давление, то рвота вызвала тяжелейший инсульт, и она потеряла речь...

Так как у меня тогда была «свободная профессия», то именно мне довелось прожить в Минске несколько недель. Когда мама немного окрепла, мы с ней приехали в Москву.

И еще на тему «невезения». Именно той осенью, в шестьдесят четвертом, Ахматова побывала в Италии, где ей вручили литературную премию. В той поездке Анну Андреевну должна была сопровождать мама, но инсульт разрушил эти планы.

Увы, от последствий этой болезни мама так и не оправилась до конца жизни. Она с трудом произносила некоторые слова и не вполне владела правой рукой. Пенсию ей оформили небольшую, соответственно той плате, что она получала в военном театре. Но она продолжала свои занятия с актерами-чтецами и, как в прежние годы, помогала каким-то мальчикам и девочкам, мечтающим о сценической карьере.

Начиная с семидесятого года я часто уезжал в полузаброшенное сельцо Акиншино во Владимирской губернии. Там необычайно красиво — сосновый лес, чистая речка Тара и, главное, безлюдие. Осенью, если не ошибаюсь, семьдесят второго года мы поехали туда вдвоем с матерью.

Жили мы с нею расчудесно. Она была заядлым грибником и буквально не выходила из леса. Я, помнится, пытался ее остановить, говорил:

— Хватит, пора домой!.. У тебя уже полная корзина.

Но уговоры действовали слабо, она была готова бродить по лесу дотемна. Мать сразу же подружилась с моей норовистой соседкой — старухой Петровой...

В семи верстах от моего Акиншина находится поселок Мстера, известный своими ремеслами, в частности иконописью и вышивкой. И мама вспомнила, что, когда она в первый раз выходила замуж, ее подвенечное платье заказывали именно во Мстере.

Наша с ней идиллическая деревенская жизнь кончилась неожиданно: 14 октября, на день Покрова Божией Матери, началась снежная буря. В течение суток все вокруг завалило сугробами, и я понял, что маму надо увозить в Москву. Ей, бедняге, пришлось идти полтора километра по снежной целине к той деревне, где была автомобильная дорога... В конце концов мы с ней кое-как добрались, обогрелись в избе у моих знакомых.

И вот тут возникла проблема. В Акиншино мы с ней добирались через городок Вязники, мама никак не хотела сойти с поезда во Владимире: с городом ее детства и юности у нее были связаны воспоминания о страшной судьбе родителей и других близких людей, которых унес тридцать седьмой год. Но из-за снежной бури мы с ней были вынуждены ехать на автомобиле именно во Владимир, в Вязники пути не было. В ожидании поезда мы зашли в ресторан при вокзале. Это место мама хорошо знала, дом их был расположен поблизости, а мой дед Антон Алек-

сандрович почти всякий день посещал это заведение — он в свое время крепко выпивал. Так вот, она сказала, что даже картины в ресторанном зале висели все те же и на тех же самых местах. (Увы, впоследствии невысокое и уютное здание городского вокзала во Владимире было уничтожено, и теперь там стоит нечто огромное, безвкусное и претенциозное.)

В «Записных книжках Анны Ахматовой» имя Нины Ольшевской или просто Нины, встречается великое множество раз. Вообще же, насколько можно судить, моя мать была самой близкой подругой Анны Андреевны (может быть, не самым близким человеком, но именно подругой — в специфическом смысле этого слова).

5 января 1965 года, когда мама еще была в больнице после инсульта, Ахматова написала ей из Ленинграда письмо, оно оканчивается такими словами: «Нина, я люблю Вас, и мне без Вас плохо жить на свете. Целую Вас. Ваша Анна».

А за четыре дня до своей смерти Анна Андреевна сделала на книге «Бег времени» такую надпись: «Моей Нине, которая все обо мне знает, с любовью Ахматова. 1 марта 1966, Москва».

В одной из ее записных книжек существует план прозаической книги «Пестрые заметки». Среди прочих «современников», о которых Анна Андреевна намеревалась писать, есть и имя Нины Ольшевской, главак о ней должна была называться «И все-таки победительница».

И еще там такая приписка:

«Концовка Н. Ольшевской.

Когда (вчера) я рассказала ей мою концепцию, она продолжала мыть ванну своими смуглыми, тонкими и сильными руками и совершенно равнодушно сказала: “Ну, хорошо, пусть так...” И все».

Мне кажется, я улавливаю мысль Ахматовой, понимаю ее «концепцию», смысл названия «И все-таки победительница»...

Да, моей матери катастрофически не везло на той театральной помойке, где прошла значительная часть ее жизни! Но — благодарение Богу! — у нее были не только сценические способности, она была носителем редкого дара — умения совершенно искренне любить людей. Я во всю свою жизнь не видел более доброжелательного человека, чем она. Если ее мужа, Виктора Ардова, который тоже был добрым человеком, многие недолюбливали и даже враждовали с ним, то я не видел ни одного человека, который бы отрицательно относился к моей матери.

Все, с кем ее сталкивала жизнь, казались моей матери умными, талантливыми, да к тому же и красивыми... Под конец ее жизни мы с братом Борисом иногда подтрунивали над ней, спрашивая о каком-нибудь заведомо непривлекательном человеке:

— Мама, а N.N. красивый?

Она тут же включалась в игру и с улыбкой отвечала:

— Красивый.

И еще я хочу написать о маминой дружбе с человеком действительно редкостной красоты, я имею

в виду Веронику Витольдовну Полонскую. Увы, ее биография — убедительная иллюстрация поговорки «Не родись красивой, а родись счастливой». (Недаром Ахматова в своей ненаписанной книге главу о Веронике Витольдовне намеревалась назвать «Невинная жертва».)

Как известно, в своем завещательном предсмертном письме Маяковский обратился к советскому правительству с такой просьбой:

«Товарищ правительство, моя семья — это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская.

Если ты устроишь им сносную жизнь — спасибо».

Существует широко распространенное мнение, что Полонская от своей доли наследства отказалась, но это не соответствует действительности. Летом 1987 года Вероника Витольдовна была у меня в гостях, кроме нее присутствовали моя мать, Михаил Давыдович Вольпин и мой друг Владимир Андреевич Успенский. Он-то и задал Полонской прямой вопрос:

— Вы когда-нибудь отказывались от наследства Маяковского?

— Нет, никогда не отказывалась, — отвечала она.

(В.А. Успенский сам написал об этом разговоре: см. его публикацию в журнале «Новое литературное обозрение», 1997, № 28.)

Однако «товарищ правительство», игнорируя просьбу своего «лучшего и талантливейшего поэта», обрекло Веронику Витольдовну на бедность и унижения. В 1937 году был арестован и погиб ее муж и

отец ее сына — Озерский... Под конец жизни она получила, как и моя мать, нищенскую пенсию. Жила она в это время вместе со своим сыном Владимиром, его женой Юлией и их ребенком. Затем Володя Озерский еще раз женился, но свою старую семью оставил в квартире у матери.

Помнится, Вероника Витольдовна жаловалась на характер этой брошенной невестки. И я как-то спросил Полонскую:

— А откуда она вообще взялась? Как Володя с ней познакомился?

— Я этого не знаю, — отвечала Вероника Витольдовна, — я только знаю, что она дочка какого-то еврея и его домработницы.

— Ну, это — известный сюжет, — сказал я, — такого же точно происхождения был и Чуковский... Корней Иванович и ваша Юля — все-таки какие разные результаты дает это скрещивание!

Позднее Владимир Озерский с новой женой навсегда отбыл в Соединенные Штаты Америки. А Полонская свою жизнь окончила в актерской богадельне, где, как известно, жильцы не бедствуют, но Вероника Витольдовна чувствовала себя там очень одинокой...

Мне вспоминается восемьдесят второй год. Мы на Ордынке праздновали день рождения матери — 13 августа, была и Полонская. В какой-то момент мама провозгласила тост за ее здоровье и сообщила, что они с Вероникой Витольдовной дружны уже пятьдесят с лишним лет и за такой срок ни разу не поссорились...

После этого рюмку поднял я и напомнил присутствующим то место из «Мертвых душ», где Манилов мечтает, как, узнавши об их дружбе с Чичиковым, Государь «пожалует их генералами». Так вот, в своем тосте я выразил надежду, что Леонид Брежнев, узнав о дружбе Полонской и Ольшевской, «пожалует их народными артистками»...

Мама умерла 25 марта 1991 года. К концу своих дней она стала совсем слабенькая, но характер ее совершенно не изменился. Все вокруг у нее по-прежнему были умными, талантливыми и красивыми. Она очень баловала одну из своих внучек (Аню, дочку моего брата Бориса), но если маме делали замечания по этому поводу, она отвечала так:

— Я скоро умру. Но я хочу, чтобы она на всю жизнь запомнила, что у нее была такая бабушка, которая все ей разрешала...

К концу жизни мне удалось ее воцерковить, она регулярно исповедовалась и приобщалась Святых Христовых Тайн. С детства мама была верующим человеком, но, поскольку жизнь ее проходила в божественной среде, связь с Церковью на долгие годы нарушилась. У нас на Ордынке только Пасху праздновали весьма торжественно, с вкусными куличами, крашеными яйцами.

Незадолго до ее смерти я как-то спросил:

— Кто был твой крестный отец?

Дело происходило в столовой на Ордынке, при сем присутствовало несколько человек. Мама взглянула на меня и спокойно произнесла:

— Фрунзе.

Оказывается, этот деятель, прежде чем стать большевиком-эдеком, был в числе эсеров, в то время он подружился с моей бабкой Ниной Васильевной. И вот наступает 1908 год, в семье Ольшевских рождается дочь, а Фрунзе становится ее приемником от купели... И эта крошечная девочка через много лет станет моей родительницей.

Неисповедимы пути Твои, Господи!

28 декабря 1963 года в гостях у Анны Ахматовой были Э.Г. Герштейн и Л.К. Чуковская. В тот день Лидия Корнеевна записала в своем дневнике:

«Эмма Григорьевна ушла к хозяевам говорить по телефону. Едва дверь за нею затворилась, Анна Андреевна сказала:

— Эмма вот уже столько лет живет хуже худого. Вечное безденежье, а жилье? — вы помните ее конуру, в развалинах при больнице? В новой комнате — пытка радиовещанием. Книга не пишется, а ведь никто не изучил так глубоко Лермонтова, как она. Сдать работу надо к юбилею. Это для нее единственный шанс. Это ее хлеб, честь, жизнь. Время лермонтовское она знает до тонкости — без ее помощи и мое пушкиноведение споткнулось бы: архивы, архивы!.. Эмма — надежный друг: я прочно помню, как она ездила навещать Осипа в ссылке... Орденов за это не давали.

Мне жаль, что Эмма Григорьевна, не имея обыкновения подслушивать, не подслушала этот монолог. Вот и орден».

Я перечел эту запись относительно недавно, когда мне подарили изданный в 1997 году трехтомник

Чуковской «Записки об Анне Ахматовой». Приведенный автором монолог Анны Андреевны живо напомнил мне почти все, о чем там говорится: и нищенскую жизнь, которую пришлось вести Э.Г. Герштейн, и ее «конуру при больнице», и ее занятия Лермонтовым, и, главное, ее многолетние отношения с самой Ахматовой, для нее Эмма Григорьевна была воистину надежным другом.

Мои первые вполне сознательные впечатления об Анне Андреевне относятся к сорок девятому году. Мне было двенадцать лет, и я начинал кое-что понимать в тогдашней непростой «взрослой жизни».

В то страшноватое время людей, которые постоянно приходили на Ордынку к Ахматовой, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Вся жизнь Анны Андреевны, ее мысли и чувства были связаны с одним страшным обстоятельством: ее единственный сын был в заключении. И именно Эмма Герштейн принимала участие во всех хлопотах о Льве Гумилеве, она же по поручению Ахматовой отправляла ему посылки. Анна Андреевна доверяла ей безгранично и испытывала к ней ни с чем не сравнимую благодарность.

А жила тогда Эмма Григорьевна действительно «хуже худого» — без постоянной работы, почти без всяких заработков, в той самой «конуре при больнице». Но притом никто и никогда не слышал от нее никаких жалоб.

Когда мне исполнилось тринадцать, я стал потихоньку осваивать пишущую машинку. Отец меня в этом деле весьма поощрял. Помнится, он говорил:

— В жизни может пригодиться всяческое умение. Вот смотри, Эмма Григорьевна — умный, образованный человек, замечательный ученый... А ей приходится зарабатывать перепиской на машинке...

Ардов сам иногда давал ей эту работу. И мое некоторое сближение с Эммой Григорьевной произошло по такому же случаю. В 1955 году она взялась перепечатать и привести в порядок мою курсовую работу — я учился на факультете журналистики Московского университета. И вот тут я впервые побывал у нее в гостях — до той поры я исполнял лишь функции курьера, привозил к ней рукописи Ардова и Ахматовой или провожал туда саму Анну Андреевну. («Конура», где жила Герштейн, была недалеко от нашего дома на Ордынке, на улице со своеобразным названием — Щипок.)

До сих пор помню небольшую комнату с книжными шкафами, стол, заваленный бумагами, пишущую машинку, маленький фарфоровый чайник, серебряные ложечки... Наливая мне в чашку горячий, густой и ароматный напиток, Эмма Григорьевна произнесла:

— Ну а чай мы с тобой будем пить такой, какой бывает только у одиноких людей...

Вспоминается мне такая забавная история. Ахматова поехала к Герштейн на Щипок и пробыла там довольно долго. Потом она возвратилась на Ордынку, и кто-то из нас открыл ей входную дверь. Мама, услышав, что Анна Андреевна уже в прихожей, громко заговорила с ней из комнаты:

— Ну наконец-то... А то вам звонил Николай Иванович Харджиев, и я ему сказала, куда вы поехали. А он говорит: «Ну вот, опять она у этой проклятой Эмки...»

В ответ на эту реплику из передней раздался голос Ахматовой:

— А Эммочка со мной...

Мама в смущении ринулась им навстречу:

— Эмма Григорьевна, дорогая...

И еще одна история, связанная с Николаем Ивановичем. Году в семидесятом мы с Михаилом Мейлахом пришли к Харджиеву. Там мы застали Эмму Григорьевну. Хозяин сидел за своим письменным столом, а Герштейн на стуле перед ним. В какой-то момент Эмма Григорьевна произнесла:

— Вы просто обязаны написать мемуары.

И тут Харджиев, дотоле сидевший в довольно статичной позе, весьма проворно сложил два кукиша и моментально поднес их к самому лицу собеседницы...

Ни я, ни Мейлах не в силах забыть эту «немую сцену».

А еще я вспоминаю 1968 года, когда состоялось судебное разбирательство по делу об архиве Ахматовой. Практически все друзья Анны Андреевны были на стороне Льва Гумилева, который пытался защитить свое право распоряжаться бумагами покойной матери.

Кстати сказать, дело слушалось в Ленинградском областном суде, в том самом здании на Фонтанке, где в свое время помещалось Третье отделение Собственной Его Величества канцелярии.

«Свидетельница Герштейн» выступала превосходно. Ее ответы были внятные, четкие, и адвокатам противной стороны никак не удавалось сбить ее с твердой моральной позиции. Присутствующие были восхищены, и кто-то из нас предложил несколько изменить фамилию Эммы Григорьевны — не «Герштейн», а «Фрауштейн»...

В середине семидесятых годов она совершила чрезвычайно важное дело. По завещанию вдовы Сергея Борисовича Рудакова его дочь предоставила в распоряжение Эммы Григорьевны эпистолярное наследие своего отца. Как известно, Рудаков в начале тридцатых годов был выслан в Воронеж, где сблизился и подружился с другим ссыльным — О. Мандельштамом. При этом Сергей Борисович ежедневно писал жене в Ленинград, и в этих письмах он подробно рассказывал обо всем, что было связано с Осипом Эмильевичем. Герштейн дважды путешествовала в Ленинград, подолгу жила там, скрупулезно изучала и копировала те из писем Рудакова, где есть упоминания о великом поэте. Результатом стала замечательная работа под названием «Мандельштам в Воронеже».

По моему глубокому убеждению, опубликованные Эммой Герштейн письма Рудакова к жене — самое существенное и достоверное из всего, что когда-либо было написано о Мандельштаме.

Ахматова была абсолютно права, когда называла Эмму Григорьевну своим надежным другом. Она была таковой при жизни Анны Андреевны, и после ее смерти Герштейн осталась верна ее памяти. Сви-

детельством тому еще одна работа — «Анна Ахматова и Лев Гумилев».

Начиная с 1956 года и до 1968-го я состоял с Львом Николаевичем в довольно близких отношениях и могу засвидетельствовать: у него была некая *idée fixe*. Гумилев был искренне убежден, будто мать не добивалась его освобождения из лагеря, а потому он пробыл там дольше, нежели некоторые другие узники.

Лев Николаевич не изменил своего мнения до конца дней, и теперь, когда он получил весьма широкую известность, его друзья и ученики, так сказать, задним числом порочат доброе имя Анны Ахматовой. (Это сделал, например, академик А.М. Панченко в журнале «Звезда», 1994, № 4, где он частично опубликовал и тенденциозно прокомментировал переписку Гумилева с матерью.)

Э. Герштейн — отнюдь не сторонний свидетель в истории отношений Ахматовой и ее сына. В те годы, когда Лев Николаевич находился в лагере, Эмма Григорьевна не только помогала Анне Андреевне в хлопотах по облегчению его участи, но и сама состояла в переписке с Гумилевым. И вот она опубликовала те письма, которые Лев Николаевич в свое время адресовал ей самой, а также важные документы, проливающие свет на всю эту историю. В частности, письмо Ахматовой к Ворошилову и бумагу, которую Ворошилов получил от Генерального прокурора В. Руденко. Так что теперь любой беспристрастный человек может убедиться в несправедливости обвинений, которые друзья и по-

клонники Л.Н. Гумилева продолжают возводить на его мать.

Господь наградил Эмму Григорьевну долгою дней. Он же дал ей силы продолжать свои занятия, сохранил остроту ума и ясность мысли. Не так давно читатели получили новое тому доказательство: в 1998 году вышел том ее «Мемуаров». Я оказался среди тех, кому она подарила свою книгу, и в особенности горжусь теплой надписью, которую Эмма Григорьевна начертала на титульном листе: она назвала меня добрым другом.

И вот мне вспоминается разговор, который был у нас с нею четверть века тому назад. Это было в то время, когда в самиздате стала распространяться «Вторая книга» Надежды Мандельштам, где, как известно, подверглись поношению и прямой клевете многие достойные люди. Увы! — в их числе оказалась и Герштейн. Когда мы с Эммой Григорьевной коснулись данной темы, она произнесла лишь одну фразу:

— Мне это очень горько, ведь мы с ней были подругами.

Моя собеседница и в этом случае проявила себя как надежный друг.

Среди тех многочисленных дам, которые окружали Ахматову в последние годы жизни, мало кого можно было назвать ее подругами. Это прежде всего моя мать Нина Антоновна Ольшевская и Мария Сергеевна Петровых, с которой у Анны Андреевны были весьма доверительные отношения. 20 мая 1963 года Ахматова сделала такую запись: «Вчера была Маруся. Как всегда чудная, умная и добрая».

В те годы мне приходилось регулярно общаться с Марией Сергеевной, и я могу засвидетельствовать, что именно доброта и ум были ее самыми характерными качествами. Так и вижу ее — невысокую, худую (хочется сказать — сублильную), с вечно дымящейся папиросой в откинутой правой руке...

Мы, двадцатилетние, смотрели на нее с некоторым изумлением. Нам было известно, что она отвергла любовные домогательства Манделъштама и что у нее был роман с Александром Фадеевым — именно ему Петровых посвятила свои стихи «Назначь мне свиданье...». В ту пору я и мои товарищи еще ничего не понимали в жизни, но уже чуть-чуть разбирались в литературе и мысленно сравнивали «Разгром» и «Молодую гвардию» с «Египетской маркой» и «Четвертой прозой»...

Мне представляется, что, назвав Петровых «мастерицей виноватых взоров», Мандельштам возвел на нее напраслину. Ведь подобное «мастерство» свойственно кокеткам и предполагает ненатуральность этих «взоров». А по моим наблюдениям именно застенчивость была одним из главных качеств Марии Сергеевны.

Она всегда старалась отвести внимание людей от своей персоны. Я, например, никогда не слышал, чтобы она читала собственные стихи.

Увы, моя память хранит совсем немного слов, которые Петровых произносила, ибо в речах, как и во всем, она была необычайно сдержанна. А между тем в них проявлялись рассудительность и тонкость.

В одном из наших с ней разговоров я по какой-то причине упомянул имя тогдашнего начальника Белоруссии Петра Машерова. Мария Сергеевна улыбнулась и произнесла:

— Достоевский дорого бы дал за такую фамилию.

(Мы знаем, Федор Михайлович подбирал своим персонажам фамилии весьма выразительные, а тут в основе французское словосочетание «*ma chère*».)

Я уже имел случай написать об одном нашем с Петровых разговоре, который состоялся примерно через год после смерти Ахматовой. Но ранее я не считал возможным называть писательницу, о которой шла речь, а теперь решаюсь открыть ее имя. Это — Наталия Ильина. К этой теме я еще вернусь.

Мария Сергеевна мне рассказала:

— Наташа принесла мне свои воспоминания об Ахматовой, но она сама не понимает, что написала.

Ведь она не подозревает о том, что Анна Андреевна считала ее осведомительницей. Там есть такой эпизод: в тот день, когда разразился скандал с «Доктором Живаго», утром, едва прочтя газеты, Ильина помчалась к Ахматовой спросить, что она по этому поводу думает... Разумеется, Анна Андреевна не могла воспринимать этот визит иначе, как исполнение служебного долга. И тем не менее она сказала: «Поэт всегда прав». То есть Ахматова не побоялась передать такое на Лубянку...

Последняя наша с Марией Сергеевной встреча произошла в Голицыне, в писательском Доме творчества. Помнится, я сказал ей, что недавно получил неплохой гонорар, а потому теперь намерен писать не для заработка, а, так сказать, для души.

— Так вы, оказывается, минималист? — воскликнула моя собеседница. — Я тоже минималистка...

Этот ее термин относился к таким литераторам, которые вовсе не стремились к обогащению, а зарабатывали, чтобы только сводить концы с концами.

Ахматова довольно часто бывала у Петровых на Беговой улице, иногда ей приходилось там жить по нескольку дней. Мария Сергеевна и ее дочь Ариша окружали свою гостью необыкновенной заботой и вниманием.

О том, как Петровых относилась к Анне Андреевне, можно судить по одной реплике, я ее слышал неоднократно. Марии Сергеевне было известно, каких усилий стоило Бродскому и мне добиться, чтобы Ахматову похоронили в конце широкой аллеи на Комаровском кладбище. По этому поводу время от

времени произносились слова, которые и смущали, и смешили меня; Петровых с полной серьезностью говорила:

— Мише человечество обязано тем, что Ахматову похоронили на подобающем месте.

В записных книжках Ахматовой встречается великое множество имен. Но среди таких, как Нина, Ира, Толя, Лида и проч., то и дело мелькает одно уменьшительное — Любочка. Именно так все друзья называли Любовь Давыдовну Стенич (по последнему мужу — Большинцову).

Мой отец познакомился с нею в конце двадцатых годов. В то время она была замужем за каким-то ленинградским инженером, но у нее уже был роман с Валентином Осиповичем Стеничем, личностью легендарной. Он дружил с Зоценко, а у того тоже была связь с замужней дамой, женою некоего крупье по фамилии Островский.

И вот Ардов вспоминал, что у Стенича и Зоценко была такая игра. Михаил Михайлович начинал:

— Нет, Валя, все-таки наш муж лучше...

— Не скажите, — откликнулся Стенич, — у нашего все же приличная профессия — инженер. А у вас, стыдно сказать, — крупье...

— А характер? — не сдавался Зоценко. — Наш никогда не скандалит, не то что ваш...

Ну и далее в том же роде...

Впоследствии Любовь Давыдовна с этим инженером развелась и вышла замуж за Стенича. Посели-

лись они в ленинградской коммуналке, с которой связана забавная история, отец слышал это от самого Валентина Осиповича, а я — от Любви Давыдовны.

В одной из комнат этой общей квартиры жил какой-то грузин с женою и престарелой тещей. И вот старушка скончалась. Накануне похорон зять стал звонить ее подругам, таким же пожилым дамам, чтобы сообщить им печальную весть. А телефон был в коридоре, возле комнаты Стеничей. И они в течение получаса слушали, как грузин с сильным акцентом говорил в трубку примерно так:

— Алле!.. Аделаида Панкратьевна?.. Слушай, детка, вот какая картинка... Софья Степановна умерла... Завтра хоронить будем. Приходи... Алле!.. Мария Казимировна?.. Слушай, детка, вот какая картинка... Софья Степановна умерла... Завтра хоронить будем... Приходи... Алле!.. Ирина Густавовна?.. Слушай, детка, вот какая картинка...

Любовь Давыдовна подружилась с Ахматовой еще до войны в Ленинграде. Это произошло, когда Анна Андреевна уже разошлась с Н.Н. Пуниным, но принуждена была существовать в одной квартире с ним, с его первой женой и их дочерью — Ириной. Эта девочка очень рано вышла замуж, еще школьницей... И вот Любочка вспоминала такую сцену: Ира Пунина и ее муж, взявшись за руки, идут мыться, принимать ванну. Дескать, пусть все видят, что они теперь муж и жена... Ахматова смотрит на это с недоумением и говорит:

— Я себе представить не могу, чтобы мы с Колей Гумилевым вошли вместе в ванную комнату...

В семидесятых уже годах знаменитый советский писатель и редактор еженедельника «Огонек» Анатолий Софронов овдовел. По этому случаю он сочинил длинейшую поэму и посвятил ее покойной жене. И вот я помню, как на Ордынке появилась Любовь Давыдовна и принесла номер журнала «Октябрь», где софроновское творение было напечатано. Она показала нам презабавное место: автор сообщает читателям, что после долгих лет брака он приобрел право,

как Дант, назвать любимую Лаурой.

Ардов сразу же припомнил замечательную шутку Виктора Шкваркина из пьесы «Чужой ребенок»: там некий персонаж путает Беатриче уже не с Лаурой, а с ее обожателем:

— Я вас любил, как Дант свою Петрарку.

Во все годы, что я ее помню, жизнь у Любви Давыдовны была нелегкая. Она зарабатывала переводами с английского и французского. Главным образом это были какие-то пьесы, но их почти никогда на сцене не ставили. Мой отец пытался помогать Любочке, доставал для нее работу, однако это удавалось крайне редко.

В конце концов Ардов взялся помочь ей с оформлением пенсии, но тут возникло непредвиденное препятствие. Будучи дамой весьма кокетливой, Любовь Давыдовна тщательно скрывала свой возраст, и в паспорте у нее было сделано соответствующее исправление. В результате пенсия оказалась значительно меньше той, что ей полагалась на самом деле.

В семидесятых годах Л.К. Чуковская готовила к публикации «Записки об Анне Ахматовой». А так как Лидия Корнеевна была фанатично предана редакторскому делу, она снабдила свой труд подробнейшими примечаниями. И тут ей понадобилось указать год рождения Любови Давыдовны. Далее я приведу рассказ самой Любочки, она говорила:

— Мне позвонила Лида Чуковская и спросила: «Сколько вам лет?» Якобы ей это нужно для комментария... Но фиг я ей это скажу!..

И слово свое Любовь Давыдовна сдержала: я могу засвидетельствовать, что в «Записках об Анне Ахматовой» год рождения Стенич-Большинцовой указан неверно.

Последний раз в жизни я разговаривал с нею по телефону в самом начале 1980 года. Я поднял трубку и услышал голос Любочки:

— Миша, — заговорила она, — вы не можете сказать мне, где в Москве находится «фестивальский собор»?

В ответ я рассмеялся. Я понял: она имеет в виду небольшую церквушку снесенного села Аксиньина, которая теперь находится на окраине Москвы — на Фестивальной улице. Я объяснил ей, как туда попасть, и мы еще немного поговорили... Я не задал Любочке никакого вопроса, я и без того знал, зачем она собирается в Аксиньино: именно в тот день в тамошней церкви состоялось весьма торжественное отпевание Надежды Яковлевны Мандельштам.

Нет нужды рассказывать о том, насколько тесная дружба связывала Ахматову с Лидией Корнеевной Чуковской. Анна Андреевна ценила ее редакторский талант, высочайшую порядочность, бескорыстие, преданность близким людям. Но при этом я бы сказал, что у Ахматовой и Чуковской не могло быть полнейшего единодушия, слишком разные это были натуры.

Лидии Корнеевне литература совершенно заменяла религию, а Ахматова была христианкой и подобных воззрений разделять не могла. За долгие годы их дружбы Лидия Корнеевна так и не смогла, хотя и усердно пыталась, привить Анне Андреевне преклонение и любовь к своим кумирам, к таким, например, как Герцен или Чехов.

У Чуковской было, на мой взгляд, чересчур серьезное, если не сказать трагическое восприятие жизни. А Ахматова, как человек неизмеримо более умный, да к тому же обладавший неподражаемым чувством юмора, смотрела на людей и на мир гораздо шире и снисходительнее.

У меня есть основание полагать, что эту точку зрения разделял покойный Иосиф Бродский. Соломон Волков приводит такие его слова: «Анна Андреевна

пила совершенно замечательно... Я помню зиму, которую я провел в Комарове. Каждый вечер она отряжала то ли меня, то ли кого-нибудь еще за бутылкой водки. Конечно, были в ее окружении люди, которые этого не переносили. Например, Лидия Корнеевна Чуковская. При первых признаках ее появления водка пряталась и на лицах воцарялось партикулярное выражение. Вечер продолжался чрезвычайно приличным и интеллигентным образом».

Анна Андреевна и Лидия Корнеевна неодинаково относились не только к Тургеневу, Герцену, Чехову и к алкоголю. Совсем по-разному они смотрели и на личность К.И. Чуковского. В то время как дочь испытывала к нему неподдельную любовь и восхищение, Ахматова оценивала его вполне объективно. Она безусловно признавала его ум, выдающиеся литературные способности, но ставила ему в вину когда-то опубликованную статью «Две России». (Идея там такая: поэзия Маяковского олицетворяет обновленную страну, а стихи Ахматовой — старую.)

До революции Чуковский был весьма преуспевающим журналистом и литературным критиком. Жил он на Карельском перешейке, в местечке под названием Териоки. По этой причине кто-то из писателей придумал ему довольно остроумное прозвище — «Иуда из Териок».

Язвительность и даже ехидство было неотъемлемой чертой Чуковского. И если Анне Андреевне передавали какое-нибудь его злое *bon mot*, она с особенной интонацией произносила:

— Добрый, добрый Корней Иванович...

Когда он устроил на своей даче библиотеку для местных детей, Ахматова отозвалась об этом так:

— Просто Корней знает, что богатые люди должны помогать бедным. А остальные в Переделкине даже этого не знают.

Как известно, Чуковский — это псевдоним, на самом деле его звали Николай Васильевич Корнейчуков. От Ахматовой я слышал о том, как псевдоним появился: в пылу полемики кто-то употребил словосочетание «корнейчуковский подход» или что-то в этом роде... Так родилось на свет столь знаменитое литературное имя.

В советское время не менее известен был писатель по фамилии Корнейчук. Это был украинский драматург, обласканный властями и даже занимавший высокие должности. И я помню, как Л.К. Чуковская рассказывала:

— Корней Иванович мне сказал: «Я буду являться тебе ночью в виде домашнего привидения и говорить: “Лида, я открою тебе страшную семейную тайну: наша фамилия — Корнейчук”».

Отношения Ахматовой и Лидии Корнеевны в свое время были омрачены ссорой, они не общались в течение десяти лет, со времени войны и вплоть до 1952 года. Уже на моей памяти, в конце пятидесятых, их дружба подверглась еще одному испытанию, и причиной тому стал наш с братом Борисом близкий приятель, родной племянник Чуковской Женя.

Увы, с Лидией Корнеевной случилось то, что, как известно, произошло со всеми москвичами: ее «ис-

портил квартирный вопрос». Она со своей дочкой Люшей жила на улице Горького в квартире, которая принадлежала Корнею Ивановичу. А на даче в Переделкине рос и воспитывался сын убитого на войне ее брата Бориса.

В пятидесятых годах Женя Чуковский окончил школу и поступил в Институт кинематографии. Ездить всякий день из Переделкина к месту учебы было затруднительно, и Корней Иванович выделил внуку комнатку в квартире на улице Горького.

У Лидии Корнеевны были к племяннику претензии вполне коммунального свойства: Женя не вымыл за собою ванну..., он разбросал на кухне свою одежду..., он вышел из комнаты в одних трусах... и т. д. и т. п.

Надо сказать, Ахматова в этом конфликте решительно взяла сторону Жени. Она, например, говорила:

— Неужели бы я стала считать, сколько раз при мне мальчики Ардовы выходили в трусах?..

Кроме Анны Андреевны в этот конфликт были вовлечены и некоторые другие дамы — тогдашние приятельницы Чуковской. Я помню, как у нас на Ордынке Маргарита Алигер громко осуждала Женю за его «проступки». Это говорилось моему младшему брату, который ни слова не проронил в ответ. А когда Алигер окончила свой монолог и удалилась, Боря мрачно поглядел ей вслед и сказал:

— Подумаешь, Марина Цветаева...

Каковая реплика привела Ахматову в совершенный восторг.

И еще подобное воспоминание. Наталья Ильина в свою очередь произносила гневную речь в защиту «обижаемой» Лидии Корнеевны. Среди прочего она говорила:

— Женя, со своим отвратительным лицом...

Ахматова жестом прервала ее и гневно сказала:

— Я слышать не могу, когда кого-нибудь ругают за некрасивую внешность!

По счастью, конфликт Лидии Корнеевны с племянником продолжался недолго. В 1958 году Женя познакомился с дочерью Шостаковича Галей. Они полюбили друг друга, вскоре поженились, и Дмитрий Дмитриевич предоставил им жилье.

Честное слово, я бы не стал вспоминать эту неприглядную историю, кабы она не аукнулась совсем недавно и самым постыдным образом. 7 декабря 1997 года мой приятель Евгений Борисович Чуковский скончался, и его решили похоронить на Переделкинском кладбище, рядом с дедом и бабкой. Но этому категорически воспротивилась дочь Лидии Корнеевны Люша (Елена Цезаревна Вольпе), а именно она является душеприказчицей Корнея Ивановича. Бедный Женя, при жизни его выживали из квартиры любимого деда, а после смерти не дали лечь рядом с ним...

Но вернусь к Лидии Корнеевне. После смерти Ахматовой я виделся с нею раза два или три. Более всего запомнилось мне, как я побывал у нее в гостях осенью 1971 года. Я пришел показать ей только что написанные свои рассказы, которые для печати не предназначались. Чуковская приняла меня очень

тепло. Незадолго до этого она вышла из больницы и говорила мне:

— Врачи подозревали, что у меня рак легкого. Но потом выяснилось, что это — туберкулез. И тогда все стали меня поздравлять, как будто я родила тройню...

Рассказы мне пришлось читать вслух, зрение у Лидии Корнеевны было неважное... Прочитанное она похвалила, сделала несколько незначительных замечаний и торжественно, как бы принимая меня в русскую литературу, произнесла:

— Ну вот, теперь я буду знать, что есть такой писатель — Миша Ардов.

Чего греха таить, в те минуты я отнесся к этому вполне серьезно...

Потом мы с ней беседовали о политике, о литературе... Заговорили о Солженицыне... И тут Лидия Корнеевна сказала фразу, которую я запомнил на всю жизнь:

— Я поняла, что этим... — тут моя собеседница указала рукою на потолок (в те времена такой жест означал, что речь идет о самом высоком советском начальстве), — ...что этим даже деньги не нужны. Им нужен только срам.

Я уже упоминал, что свою приятельницу Наталию Ильину Ахматова считала осведомительницей. Свое мнение Анна Андреевна объясняла весьма убедительно и просто:

— Те, кто вместе с нею вернулись из Китая, отравились или в тюрьму, или в ссылку. А она поступила в Литературный институт на Тверском бульваре...

Ум и интуиция редко подводили Анну Андреевну. Теперь, спустя полвека с той поры, как Ильина стала приходить на Ордынку, у меня появилось косвенное подтверждение ахматовской правоты. Сорок с лишним лет назад, 12 октября 1957 года, парижская газета «Русская мысль» напечатала «Открытое письмо Наталии Ильиной, автору романа «Возвращение». Журнал «Знамя», Москва». Начинается эта публикация так:

«Милая Наташа!

Могу Вас поздравить, Ваш роман «Возвращение» читается в Рио-де-Жанейро русскими, прибывшими с Дальнего Востока, нарасхват.

К сожалению, должна отметить, что читают его главным образом как документ из секретного отдела НКВД. Не там ли Вы и писали его, Наташа, и не

был ли он Вашей платой за право проживания в Москве и прочие блага?»

Далее автор разбирает самый роман и рассказывает о людях, чьи биографии легли в основу этой вещи. А в конце открытого письма содержатся весьма любопытные сведения о жизни Ильиной:

«Вы работали спикером на японской радиостанции и прославляли подвиги тех самых японцев, которые жгли китайские деревни и гнали к нам беженцев.

Попутно с работой у японцев Вы завели дружбу в немецких кругах, которая оплачивалась уже совсем щедро. Вы даже завели себе автомобиль. Автомобиль вызвал подозрение у японцев. Вы были приглашены в отдельную комнату. Разговор был неприятен и длился три дня. Выцарапал Вас Ваш друг-немец.

По выходе на свободу у Вас брызнули “слезы обиды”.

Тогда-то Вы и перешли в советский лагерь, где и стали делать карьеру. В течение пяти лет вы систематически снабжали советское консульство доносами на нас, работавших против японцев не из личных выгод.

Во время войны по Вашим доносам советское консульство конфисковало единственный независимый литературный журнал “Сегодня” и передало его темной компании, в которой Вы играли одну из первых скрипок.

Вы приложили руку и к разгрому поэтического кружка “Остров”, куда Вас не пускали. Это было

уже после войны, когда Вы очень тесно приблизились к одному советскому “тузу”, уже закусили удила. Вашим оговорам, интригам, провокациям можно было бы посвятить немало страниц. Особенно рьяно Вы работали во время репатриации, и сколько душ на Вашей совести, известно только Вам и Вашему начальству.

Начав так блестяще, можно себе представить, что Вы делаете в Москве. Но, может быть, Вам уже нет выхода. Может быть, петля, которую Вы так легко набрасывали на шеи других, уже стягивается на Вашей собственной шее.

В таком случае следует Вас только пожалеть. И, возможно, даже простить. Одного только нельзя Вам простить, Наташа, — того, что вы называете себя писательницей.

Ведь завет русского писателя издавна был:

...в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Вы же славите кандалы и глумитесь над теми, кто уже не может себя защитить.

И это Вы, сексотка, осмеливаетесь называть творчеством?

Ю. Крузенштерн-Петерец.
Рио-де-Жанейро. Бразилия».

Возникает совершенно законный вопрос: если Ахматова догадывалась об этом, то по какой причине она столько терпела Ильину в своем окружении?

Мне представляется, что причин тут несколько.

Самая первая и главная вот такая. В течение десятилетий Анна Андреевна постоянно чувствовала свою поднадзорность, ведь она недаром написала:

Окружили невидимым тыном
Крепко слаженной слезки своей.

Но самым близким людям Ахматова высказывала такое убеждение: в определенном смысле удобно и даже выгодно иметь возле себя толкового осведомителя, который в своих доносах хотя бы не переверт твои подлинные слова и мнения.

Затем среди причин, определявших у Ахматовой снисходительное отношение к Ильиной, был веселый и легкий нрав Натальи Иосифовны. Она была остроумным и живым собеседником, любила застолье... Да и обладала несомненным литературным талантом, писала блистательные пародии, смешные фельетоны, а впоследствии — интересные мемуары...

И, наконец, еще одна причина, которая способствовала их близости. Опубликовав свой роман «Возвращение» (сперва в журнале, а потом и отдельной книгой), Ильина получила солидный гонорар, и это позволило ей купить автомобиль. Водить машину она умела еще с шанхайских времен и охотно возила Ахматову. А та любила прокатиться то в Коломенское, то просто на природу...

Иногда Анна Андреевна давала своим знакомым домашние прозвища. Так, Л.К. Чуковская по причине вальяжности и некоторой монументальности называлась «Лидессой», а миниатюрная М.И. Али-

гер — «Алигеричей»... Однако же сами носительницы подобных наименований обыкновенно не догадывались о них.

Было прозвище и у Ильиной, только придумала его не сама Ахматова, а Е.И. Рогожина, жена Льва Никулина. Однажды в разговоре Екатерина Ивановна запомнила имя Натальи Иосифовны:

— Эта, ну как ее?.. Из Шанхая... Штабс-капитан Рыбников...

Мы все знали и любили одноименный рассказ, и реплика Рогожиной имела шумный успех. Ведь купринский герой был агентом, прибывшим с Дальнего Востока. С того самого дня слово «Штабс» стало тайным прозвищем Натальи Иосифовны и прочно вошло в лексикон Ахматовой.

И вот еще что мне хочется отметить. Ахматова частенько удивлялась тому, что Ильина не знает самых элементарных вещей. (Как видно, русская гимназия в Харбине была не из лучших учебных заведений, да и Литературный институт не много ей прибавил.) Анна Андреевна, например, обнаружила, что «Штабс» не имеет никакого понятия о графюрах Альбрехта Дюрера и вообще называет его «Дурером». А еще я вспоминаю, как Ахматова говорила с усмешкой:

— «Штабс» стала мне жаловаться на неоправданную строгость профессоров в Литературном институте. Дескать, ей несправедливо поставили тройку по истории литературы только за то, что она в своем ответе сделала незначительную ошибку: назвала «Пиковую даму» — одной из «Повестей Белкина»...

Бедная «Штабс»! Она даже и того не понимала, что Ахматова — великий знаток и исступленная поклонница Пушкина — самый неподходящий слушатель для подобной жалобы.

Мargarиту Иосифовну Алигер я знал с раннего детства. В 1941 году среди прочих писательских семей, вместе с которыми мы ехали в эвакуацию, была и она с крошечной дочкой Таней. Мне помнится, какое-то время мы даже существовали вместе, в одной комнате, — моя мать с нами тремя и Маргарита Иосифовна со своим ребенком... Где это было — в Чистополе?.. В Берсуге?..

После войны мои родители дружили с Маргаритой Иосифовной. В это время у нее появилась и вторая дочка — Маша, она была дочерью Александра Фадеева. Рассказывали, что, узнав о появлении ее на свет, циничный Валентин Катаев будто бы сказал:

— Как же Сашка был пьян!

Надобно заметить, что у Маши было большое сходство с отцом, а потому некий писатель, менее ехидный, нежели Катаев, говорил:

— Когда я вижу этого ребенка, мне хочется говорить о социалистическом реализме.

В те времена Алигер со своими дочками жила в композиторском доме на Миусской площади. У них там был пудель, очень забавный щенок. Однажды маленькая Маша с ним играла, она тянула куклу в свою сторону, а песик в свою... Пудель явно одоле-

вал девочку, и тут она обратила внимание на то, что держит игрушку рукой, а щенок — пастью...

— Ах, ты зубами?! — вскричала Маша и со своей стороны взяла игрушку в рот.

В сороковых годах Маргарита Алигер прославилась тем, что написала поэму о Зое Космодемьянской, которая в те времена стала культовой фигурой. На московских прилавках появились даже шоколадные наборы с ее портретом. И вот тогда Алигер вступилась за честь своей героини и добилась того, что конфеты с изображением злосчастной партизанки из продажи исчезли.

В архиве моего отца существует небольшая тетрадка, в которой он фиксировал свои разговоры с Ахматовой. Там есть такая запись, относящаяся к 1948 году:

«А способность у нее проникать в глубь литературных произведений такова:

Маргарита Алигер пришла к нам и прочитала Анне Андреевне новую свою поэму о любви к покойному мужу (композитор Константин Макаров, убит на войне). Читка шла с глазу на глаз.

Анна Андреевна сказала так: в этой поэме тот недостаток, что посвящена она и толкуете вы об убитом муже, а думаете о другом человеке и любите сейчас этого другого.

Алигер была поражена и признала, что это — правда».

В конце сороковых и в начале пятидесятых годов Маргарита Иосифовна редко появлялась у нас на Ордынке, а вот во времена хрущевской «оттепе-

ли» она стала приходить к Ахматовой гораздо чаще. Алигер вместе с Э. Казакевичем редактировала альманах «Литературная Москва» и пыталась публиковать там стихи Анны Андреевны. Но мне помнится, что из этой затеи ничего не вышло.

А еще я вспоминаю, как Маргарита Иосифовна приходила на Ордынку, чтобы привлечь Ахматову к сотрудничеству с Европейским сообществом писателей, во главе которого стоял Джанкарло Вигарелли. В тот раз она довольно долго пробыла наедине с Анной Андреевной, а потом удалилась. После ее ухода Ахматова со смехом объявила:

— «Алигерица» мне сказала: «Мы боремся с Ватиканом...»

Это всех нас позабавило, а Ардов не поленился и нарисовал для юмористического семейного альбома карикатуру, изображающую борьбу Алигер с Ватиканом. У меня до сих пор хранится этот рисунок — величественный Папа в тиаре и со шпагой в руке, а против него выступает тщедушная фигурка «Алигерицы»...

После того, как эта карикатура появилась, на Ордынку зашла младшая дочка Маргариты Иосифовны, и мы ей это изображение показали. Маша взглянула и произнесла:

— Папа похож, а мама — нет.

Кстати сказать, сама Маргарита Алигер обладала изрядным чувством юмора, и ее остроты иногда цитировались на Ордынке. В шестидесятых годах, когда дочери повзрослели, Маргарита Иосифовна говорила:

— Ну вот, кончились ангины, начались аборт.

Откровенно говоря, Маргарита Иосифовна терпеть не могла меня и всю нашу с братом Борисом компанию. Я полагаю, она не могла не чувствовать, сколь иронично и даже пренебрежительно относились мы к официальной советской литературе, к которой она принадлежала с молодых ногтей.

Теперь я несколько сожалею, что по причине нашей с Алигер взаимной антипатии я был довольно далек от их семьи. Ведь биография Маргариты Иосифовны могла бы стать материалом для повествования вполне серьезного и даже трагического. Сказать, что жизнь она прожила трудную, — ничего не сказать.

Еще до войны в годовалом возрасте умер ее старший ребенок — мальчик.

В первые дни войны погиб ее муж — композитор Константин Макаров...

В 1956 году застрелился отец ее младшей дочери — А.А. Фадеев.

В 1974 году от рака крови скончалась ее старшая дочь Татьяна.

Младшая дочь Маша вышла замуж за иностранца, уехала в Германию, а потом поселилась в Лондоне. В октябре 1991 года она покончила с собою, и ее тело привезли в Россию.

Маргарита Иосифовна пережила своих детей и в августе 1992-го погибла в результате нелепейшего несчастного случая — она свалилась в глубокую канаву неподалеку от своей дачи. И теперь все трое — мать и обе дочери — лежат на одном кладбище, в Переделкине.

Честно говоря, мне бы не хотелось завершать этот рассказ на подобной ноте, а потому я решаюсь присовокупить еще одну историю. Довольно скоро после смерти Ахматовой «Алигерица» опубликовала свои воспоминания о ней. Там повествуется и о том общеизвестном факте, что Владимир Георгиевич Гаршин, за которого Анна Андреевна собиралась выйти замуж, обошелся с нею непорядочно и жестоко.

Так вот, «Алигерица» сообщала читателям, будто из Ленинграда в Москву пришла по сему случаю такая телеграмма:

«Одна. Несчастлива. Ахматова».

Телеграмма действительно была послана на имя моей матери, но текст был совсем иной:

«Гаршин тяжело болен психически расстался со мной сообщая это только вам Анна».

Году эдак в семьдесят девятом у меня был разговор с редакторшей из Гослитиздата, которая в то время готовила к печати новую книгу Алигер. Я сообщил этой даме о том, что Маргарита Иосифовна неверно цитирует ахматовскую телеграмму. Буквально на следующий день «Алигерица» мне позвонила.

— Миша, — сказала она, — что это за история с телеграммой?

Я объяснил ей, в чем дело.

— Но я же хорошо помню, — возразила мне Алигер, — у меня эта телеграмма перед глазами...

— Эта телеграмма, — отвечал я, — лежит у меня в той папке, где находятся письма Ахматовой. Ее текст именно такой, как я вам говорю.

— Ну, может быть, была еще другая телеграмма, — с надеждой сказала Алигер.

На это я ответил так:

— Маргарита Иосифовна, мы оба с вами знали Ахматову. Она не имела обыкновения давать несколько телеграмм по одному и тому же поводу.

В те дни я пересказал этот разговор в большой компании, где была и Наталья Горбаневская. Выслушав это, она сказала:

— Как видно, у Алигер всю жизнь была мечта — дать кому-нибудь такую телеграмму: «Одна. Несчастлива». И подписаться: «Ахматова».

Я вспоминаю, году эдак в пятьдесят седьмом у нас на Ордынке принимали важного гостя — академика Виктора Владимировича Виноградова: он со своей женою иногда приходил к Ахматовой. Памятен мне и краткий разговор, которым знаменитый филолог удостоил меня, двадцатилетнего. Он спросил:

— Молодой человек, где вы учитесь?

— В университете, — отвечал я, — на факультете журналистики.

— Да, да, — отозвался академик, — есть такой факультет... Только к университету, к науке никакого отношения не имеет. Ну, и кто же у вас там преподает?

И тут я на несколько секунд замешкался. Виноградов был прав — преподавательский состав нашего факультета был ниже всякой критики. Но одно из имен показалось мне спасительной соломинкой, и я произнес:

— Ну, например, профессор Александр Васильевич Западов...

— Западов? — переспросил мой собеседник. — Ну да... Он свой восемнадцатый век знает..

Александр Васильевич стал регулярно бывать у нас на Ордынке с пятьдесят четвертого года, имен-

но тогда он перешел в Московский университет из Ленинградского. А я был принят на факультет журналистики в пятьдесят пятом и могу засвидетельствовать, что среди студентов Западов был очень популярен. Причин тому было две — он великолепно читал свои лекции, а на экзаменах не ставил отметки ниже «хорошо».

Бывало, он оглядывает аудиторию, где собрались студенты со своими зачетками, и произносит:

— Вы, пожалуйста, не волнуйтесь... Старик Западов еще никогда и никому не поставил неудовлетворительной оценки. Самое худшее из того, что с вами может произойти, — я подумаю про себя: «Какую чушь он несет!»

Одному из моих приятелей пришлось рассказывать Западову о «Тилемахиде» Третьяковского.

— Вы сами «Тилемахиду» читали? — спросил экзаменатор.

— Пролистывал, — дипломатично ответил студент.

— Так все двадцать четыре песни и пролистывали? — осведомился профессор.

В шестидесятых и семидесятых годах Западов выпустил в свет довольно много книг. Этому в большой мере способствовало то обстоятельство, что Александр Васильевич со студенческих лет был дружен с Николаем Лесючевским. Сей последний был фигурой прямо-таки зловещей, про него говорили, будто в тридцатых годах по его доносам сажали людей. А в те времена, о которых тут идет речь, этот человек возглавлял издательство «Советский писатель».

Однажды был я у Западова в гостях и стал свидетелем столкновения, которое произошло у Лесючевского с хозяином дома. Оба они крепко выпили, и гость стал вспоминать о войне и о собственных «боевых заслугах» — он работал во фронтовой печати.

Западов, который был настоящим боевым офицером, прервал бахвальство друга таким замечанием:

— Туда, где я воевал, ваши газеты не попадали. Нам приходилось вытирать задницу листами с деревьев.

Лесючевский обиделся ужасно, но к концу вечера они кое-как помирились.

Честно говоря, и сам Александр Васильевич был человеком со всячинкой. В 1942 году он вступил в коммунистическую партию, и это накладывало на него известные обязательства по отношению к большевицкому режиму. Западов превосходно сознавал, что некоторые его поступки, мягко выражаясь, не безупречны, и в какой-то мере бравировал этим. Мог, например, такое о себе сказать:

— Я — Федор Павлович Карамазов.

А на фронте Западов действительно отличился, получил чин подполковника и множество боевых наград. Я вспоминаю диалог, который был у нас с ним в мои студенческие годы. Я тогда высказал мнение:

— Служба в армии во время войны и во время мира — две совершенно разные профессии. С началом боевых действий начальники, которые ко-

мандовали ранее, теряют свои посты, и на их места приходят совсем другие люди. Это, как правило, представители мирных профессий, зачастую не подозревающие о том, что обладают способностью воевать.

— Молодец, мальчик, — сказал мне на это Александр Васильевич и шутливо добавил: — Ты далеко пойдешь...

В 1972 году Западов выпустил в свет книгу «В глубине строки», и мне особенно запомнилась одна из глав — «Чудо “Пиковой дамы”». Там есть место, где речь идет о похоронах старой графини:

“Церковь была полна. Никто не плакал. Молодой архиерей, — покойница была важным лицом — произнес надгробное слово”. Пушкин иронически передает его содержание:

“В простых и трогательных выражениях представил он мирное успение праведницы, которой долгие годы были тихим, умирительным приготовлением к христианской кончине. “Ангел смерти обрел ее, — сказал оратор, — бодрствующею в помышлениях благих и в ожидании жениха полунощного”. Служба совершилась с печальным приличием”.

Речь отдает церковной риторикой, она пестрит инверсиями. Из числа слушателей только Германн и Лизавета Ивановна могли оценить нечаянную кощунственность архиерейских слов о благих помышлениях графини и полунощном женихе... Но им было не до церковных текстов».

Последний абзац у Западова несколько невнятен. Мне представляется, что недоговоренность —

дань автора советской цензуре, которая в те годы была бдительна до идиотизма. Попробуем внести ясность.

Кощунственность в пушкинском тексте бесспорно наличествует, поскольку «Полуночным Женихом» в богослужебных текстах называется Господь Иисус Христос — такое наименование Он получил из-за Своей притчи о «десяти девах» (Евангелие от Матфея, гл. 25). И в другом Западое прав: в словах литературного персонажа — молодого архиерея — «упоминание всеу» происходит нечаянно, он не ведаёт о том, как умерла графиня. А вот сам автор «Пиковой дамы» не может быть оправдан незнанием: Пушкин тут как бы подмигивает читателю, напоминает о подлинных обстоятельствах смерти старухи — в полночь к ней явился отнюдь не благостный Господь и не Его Ангел, а алчный Германн с пистолетом в руке.

Самой привлекательной чертой Западова была его неподдельная любовь к русской литературе, и это чувство в полной мере распространялось на Анну Андреевну. Я помню, в пятидесятых годах Александр Васильевич от руки переписал «Поэму без героя» и уговорил Анну Андреевну начертать автограф на этом своем манускрипте.

А ещё я запомнил забавный рассказ Ахматовой, но это следует предварить пояснением. В те времена выпускники школ, которые получили золотые медали, принимались в институты без экзаменов — они должны были проходить лишь так называемые собеседования. Факультет журналистики, где пре-

подавал Александр Васильевич, был одним из самых популярных в стране, и среди тех, кто стремился туда попасть, бывало множество «медалистов».

Так вот Анна Андреевна говорила:

— У меня был Западов и сказал, что сегодня он проваливал медалистов, поступающих в университет. Я спросила его, трудно ли проваливать медалистов. Он ответил, что очень просто. Достаточно сказать: просклоняйте мне числительное «сорок». И как только он начнет говорить: «Сорокью, сорокью, сорокью...» — его уже можно прогонять.

ТРАГИЧЕСКАЯ ФИГУРКА

Анатолий Генрихович Найман, пожалуй, единственный человек, к которому я в течение жизни дважды совершенно изменил свое отношение. По первости, когда он только появился на Ордынке в качестве гостя Ахматовой, мы отнеслись к нему насмешливо. Ему было свойственно высокомерие, расчетливость, умение беречь свои деньги — то есть такие качества, которые вызывали презрение у меня и у моих приятелей. К тому же он был, что называется, «дамский угодник».

Тогда же, в середине шестидесятых, я дал ему такую характеристику: «Толя — человек, которому свойственны решительно все достоинства, но и все пороки еврейского народа». Я и теперь не отрекаюсь от этого суждения, ибо с течением лет с ним происходили такие метаморфозы, которые приводили лишь к изменению соотношений все тех же положительных и отрицательных иудейских качеств.

В первые годы нашего знакомства я непрерывно подтрунивал над Найманом. Шутки мои зачастую были грубоватыми, а порой и жестокими... Помнится, он сидел в столовой на Ордынке и исправлял опечатки в машинописных экземплярах своей пьесы для театра. Настроение у него было превос-

ходное, он что-то напевал себе под нос и норовил поскорее окончить правку — ему предстояло любовное свидание.

Я молча наблюдал за ним, а потом произнес:
— И жид торопится, и чувствовать спешит...

А жестокая шутка была такая. Толя на некоторое время уехал в Ленинград к своей жене, которая носила имя Эра. В эти самые дни одна из моих родственниц также отправилась к «брегам Невы», и я отправил с нею посылку для Наймана. Это был изящный сверток, внутри которого содержалась пачка стирального порошка «Эра» и записка следующего содержания:

«Анатолию Генриховичу Найману —
от благодарных московских девиц и дам».

И притом он, бедняга, чтобы такое получить, проделал путь на другой конец города...

В шестидесятые годы Найман часто посещал ипподром, а также увлекся игрою в кости. Я говорил ему:

— Про вас надо писать работу с таким названием: «Азарт as art».

Но я помню и то, как он впервые поразил меня неординарностью своего суждения. На Ордынке появился самиздатовский экземпляр «Собачьего сердца». Мы его вырывали друг у друга, смеялись, непрерывно цитировали... Наконец булгаковская повесть попала и в руки к Найману. Он тоже веселился, а потом вдруг совершенно серьезно сказал:

— А как же все-таки Преображенский и Борменталь решились убить этого человека?..

— Какого человека? — удивился я.

— Шарикова, — отвечал он.

И вдруг мне стало как-то стыдно — и не за этих литературных героев, а за Булгакова и за самого себя, поскольку мне не пришло в голову то, о чем сказал Найман.

Наше с ним сближение, за которым последовало двадцать с лишним лет довольно близкой дружбы, случилось летом 1964 года. Мы оба гостили у Ахматовой в Комарове. В ее «Будке» было очень тесно, но пустовал соседний домик, и нам разрешили в нем поселиться. Там даже мебели не было, и мы спали на полу.

Именно тогда в Комарове я вполне оценил Наймана как человека умного и наблюдательного, блистательного собеседника и изумительного рассказчика. Кроме того, я полюбил его тогдашние стихи, некоторые из них я и по сю пору помню.

Уже в девяностых годах я с удовольствием читал в журнале «Октябрь» куски из «Славного конца бесславных поколений», почти все мне было знакомо. И я попутно вспоминал, как мы с Найманом гуляли в комаровском лесу или ходили за водкой в пристанционный магазин.

В молодости он отличался красотой, на лице его отражались и ум, и живость. А волосы у него были иссиня-черные. С его волосами была связана забавная новелла. Толя рассказывал, как в юности отобрал у своей мамы белый берет, выкрасил его в черный цвет и стал носить. Однажды он гулял с девушкой по улицам осеннего Ленинграда. Шел мелкий дождик.

— Какие у вас волосы красивые, — сказала его спутница.

— Я их крашу, — пошутил Найман.

Через некоторое время она посмотрела на его лицо и воскликнула:

— Ой, они линяют!

— Кто — они? — не понял Толя.

— Волосы...

И действительно, по его щеке текла черная струйка, но причиной тому был покрашенный мамин берет...

Я вспоминаю, как Толя вернулся из Норинского, от ссыльного Бродского. Он нам пел на мотив известного марша — из фильма «Мост через реку Квай» — строки, которые они вместе с Иосифом сочинили:

Сталин, вы наш отец родной!

Сталин, мы плачем всей страной!

Сталин — горюет Таллин,

Рыдает Рига и плачет Ханой!

Сталин — поникли усы,

Лесозащитной уж нет полосы...

И шутил Найман блистательно. Ахматова часто повторяла его остроту:

— Я не ревную — мне просто противно.

После смерти Анны Андреевны мы с ним еще более сблизились, этому способствовали два обстоятельства. Во-первых, он крестился, а во-вторых, мы оба подружились с многодетным семейством Станислава Красовицкого, который, кстати сказать, и стал крестным отцом Толи.

В 1969 году Найман женился на Гале Наринской и переехал в Москву. Сначала они поселились в маленькой комнате на Мясницкой вместе с Галиными матерью и маленькой дочкой Аней. С регистрацией их брака связана целая история. В те дни Толя жил в Малеевке, ему раздобыли путевку в писательский дом, и он там выполнял какую-то переводческую работу. В назначенный для посещения Загса день он прибыл в Москву и застал Галю с температурой, у нее была очень сильная простуда. Но ради такого события она оделась потеплее, и они отправились... И тут выяснилось, что их брак зарегистрировать невозможно — Толя оставил свой паспорт в Малеевке, в кармане другого пиджака...

Я помню, как Найман закончил рассказ об этом: — Вот еще почему нельзя иметь две одежды...

Как известно, Сергей Довлатов сравнил Наймана и его первую жену Эру с двумя собачками-той-терьерами. Что же касается второго брака Толи, то они с Галей похожи на двух попугайчиков, которых называют «неразлучниками». Их всегдашнее единодушие и единомыслие, сплоченность их семьи были весьма привлекательны.

Мне частенько вспоминаются наши с Найманом бесконечные разговоры, его блистательные реплики, шутки... Помню, мы говорили о том, что во всех городах страны стали устраивать так называемый «вечный огонь»...

— Зато теперь разрешена проблема *perpetuum mobile*. Это — паровой котел на «вечном огне», — сказал Найман.

В ноябре 1982 года, в тот день, когда должны были объявить о смерти Леонида Брежнева, мы с Толей были за городом, у Красовицкого. Уже вторые сутки по радио передавали лишь классическую музыку, и всем все было ясно, но официального сообщения нет и нет. Небольшой компанией мы уселись за стол, кто-то сказал:

— Я сегодня пить не буду.

Найман говорит:

— Ну, ein Tropfen*.

И ведь как в воду глядел — преемником Брежнева стал именно Андропов. В те дни, когда разразился скандал, связанный с выходом в свет альманаха «Метрополь», у нас с Найманом был такой разговор. Я ему говорю:

— Им можно было бы предложить эпиграф из «Медного всадника»: «И всплыл Метрополь, как тритон».

— Нет, — отвечает Найман. — Поскольку слово «Петрополь» искажено, следует еще немного поуродовать строчку...

И в окончательном виде это звучало так: «И всплыл Метрополь, как притон».

Когда началась гласность, газета «Московский комсомолец» впервые напечатала статью о лесбиянках и их проблемах. Я рассказал об этой публикации Найману. Он меня выслушал и говорит:

— Хочется назвать эту газету «Московская комсомолка».

* Одну каплю (нем.).

Охлаждение в наших с Найманом отношениях произошло по двум причинам. Первая из них — то обстоятельство, что я стал священником. Это ставило меня в некое привилегированное положение. Вторая причина нашего расхождения гораздо более существенна: Найман с самого начала стремился сочетать христианскую веру с беззаветной любовью к светскому искусству и изящной словесности. А кроме того, он хотел ощущать и даже культивировать свою этническую принадлежность к еврейству. В Православии подлинном, строгом, к каковому причисляли себя и я, и Красовицкий, все это — невозможно. И тогда Найман стал поглядывать в сторону либеральную, обратился к псевдоправославию, а там такие вещи не только вполне допустимы, но даже и в какой-то мере поощряются.

Что же касается литературы, то в этой области наши с Найманом отношения складывались своеобразно. Все, что писал Толя, я хвалил, а он мои опусы всегда критиковал... Помнится, дал он мне читать свои «Рассказы о Анне Ахматовой». Мне эта вещь понравилась, но я сделал несколько мелких, совершенно конкретных замечаний. Ну, например, о Льве Евгеньевиче Аренсе там написано: «В свое время был репрессирован и на слова следователя: “Как же вы, просвещенный человек, и в Бога веруете?” — ответил: “Потому и просвещенный, что верую”».

Я Найману сказал:

— Этот разговор был не со следователем, а на заседании кафедры, где Лев Евгеньевич работал. И

отвечал он точнее: «Потому и верую, что просвещенный». Ведь в первоначальном смысле слово «просвещение» — синоним «крещения».

Толя на секунду задумался и произнес:

— Разговор со следователем — эффектнее...

Словом, он не принял ни одного из моих замечаний.

В 1990 году я закончил «Мелочи архи... прото... и просто иерейской жизни» и тогда же показал рукопись Найману. И он опять разнес меня в пух и прах: дескать, это поношение Церкви, сплошной соблазн для верующих и т. д. и т. п. Но я был к этому готов и ответил ему:

— В вас говорит не что иное, как ханжество. Юмор всегда был свойствен здоровой церковной среде, его не чуждались даже величайшие подвижники — Антоний Великий и Серафим Саровский. И как священник я рекомендую вам на ближайшей исповеди поговорить на эту тему с вашим духовником, поскольку ханжество — очень серьезный грех.

Разумеется, этот разговор теплоты в наших отношениях не прибавил.

Последняя наша с Найманом дружеская встреча состоялась весной 1994 года в Вашингтоне. Он преподавал в Кеннановском институте и был прихожанином церкви Святого Иоанна Предтечи, в которой мне довелось послужить. Толя сам предложил прогулку по городу и показывал мне тамошние достопримечательности. Возле памятника Аврааму Линкольну есть доска, на которой выбиты слова из знаменитой его речи. Я, помнится, высказал поже-

ление, чтобы там выставили и 51-е правило VI Вселенского собора, запрещающее христианам посещать зрелища. Ведь если бы Линкольн не ходил в театр, быть может, умер бы своей смертью...

А еще я помню, как мы стояли у памятника Альберту Эйнштейну. Мне статуя не понравилась, в ней скульптор демонстрирует какую-то нарочитую небрежность. По сему поводу я вспомнил телефонный разговор Эйнштейна с Соломоном Михоэлсом, приехавшим в Америку. Было это в разгар войны, и в Штатах существовали какие-то ограничения на автомобильные поездки. И вот, приглашая собеседника к себе в Принстон, Эйнштейн говорил:

— Если спросят: вы едете по делу или ради удовольствия, скажите, что по делу. Ибо какое же это удовольствие — видеть старого еврея...

А самая последняя — мимолетная — встреча моя с Найманом была в редакции «Нового мира» летом 1997 года. При виде меня он смутился, я как бы застал его на месте преступления: в журнале готовилась публикация его пасквиля «Б.Б. и др.», а там и я не обойден его мстительным вниманием.

Когда я думаю о Наймане, меня охватывают и грусть, и жалость. Ведь в свое время он совершенно искренне уверовал в Христа и устремился в Церковь, а в своем «Славном конце бесславных поколений» дошел до такого кредо:

«Верю, что со мной что-то случится хорошее и, наоборот, не случится плохого. И вообще что-то случится не *случайное*, а потому, что я *такой*. Какой? Ну, другой, не такой, и родители у меня другие, и

рост, и сила, и мысли, и дальше будет все особенное, исключительно мое. Я так родился, так задуман, отдельно от всех и хоть немного, но ни на кого не похоже, и на этом основании верю, что так, сколько-то не похоже и отдельно, буду жить всю жизнь. Потому, стало быть, что обо мне есть пусть крохотный, но специальный замысел, план: чтобы я был именно я — я в это верю».

Помните Евангелие? «Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди...» (Лк. 18: 11).

Ахматова как-то сказала об одном из подобных эгоцентриков:

— Рухнул в самого себя.

А еще я вспоминаю наш с нею давний разговор о Наймане, которого она так любила. Анна Андреевна произнесла:

— Трагическая выработывается фигурка.

(Она сказала именно «фигурка», что было особенно точно по отношению к сублильному в те годы Найману.)

И вот можно считать, что «фигурка» окончательно «выработалась»... Да и трагедия налицо. Помогите ему, Господи, бедному...

ВНУК
КОРНЕЯ ИВАНОВИЧА

В конце октября 1941 года Анна Ахматова и Л. Чуковская с дочкой Люшей, племянником Женей и няней по имени Ида уезжали из Казани в Ташкент. В дневнике Лидии Корнеевны читаем:

«Посадка была трудная. Часа четыре мы сидели в полной тьме на платформе, на своих вещах, ожидая состава, который могли подать каждую минуту. Анна Андреевна все время молчала — тяжело молчала, как в тюремной очереди. Нас часто навещал Самуил Яковлевич. Видя нашу слабосильную команду, он предложил, что внесет в вагон Женю. Ида должна была внести вещи, а я — помочь Люшеньке и Анне Андреевне. Ожидая поезда, Самуил Яковлевич ходил с Женей на руках по платформе. Я спросила Женю:

— Ты знаешь, кто это? Это — Маршак... “Пожар”, “Почта”... Ведь ты помнишь эти книги?

— Ты что, Лида, с ума сошла? — ответил мне очень отчетливо Женя. И прокартавил: — Магшак давно умер!»

Эта запись приводит меня в восторг. Выясняется, что мой старинный приятель Евгений Борисович Чуковский уже в трехлетнем возрасте проявлял характерный для него интерес и к самой лите-

ратуре, и к ее истории, к тем личностям, которые книги создают.

Я уже не помню, кто именно привел на Ордынку Женю Чуковского. Скорее всего, это был Саша Нилин или Илюша Петров — его товарищи по Переделкину. Но он в нашей компании появился и пришелся ко двору.

Его отец погиб во время войны, и он вырос в доме деда Корнея Ивановича и бабки Марии Борисовны, которые жили в писательском поселке. В Переделкине о Жене ходили легенды. Лет с двенадцати он великолепно водил мотоцикл, а с четырнадцати и автомобиль (Корней Иванович разрешал внуку ездить на своей «Победе»).

Разумеется, водительских прав у Жени в те годы быть не могло, и езда происходила лишь по аллеям писательского городка. Но даже в те времена у него возникали конфликты с милицией, и весьма острые, поскольку поймать юного лихача было практически невозможно — он с детства знал все проулки и все лесные дороги...

Свои автомобильные приключения Женя облекал в форму занимательных историй. И, помнится, мой отец даже пародировал эти устные новеллы: кроме самого рассказчика там обязательно участвовали еще два персонажа — «Дед» и «милиционер» и кто-то кому-то непременно ударял «по могде»...

Существовала и другая пародия — на речь Корнея Ивановича. Тут с характерными интонациями Чуковского произносилось:

— Женя, весь грязный, на мотоциклете...

Вот, например, один из трюков, которым он пугал переделкинских водителей. Вообразите себе: по дороге быстро движется автомобиль, а из левого переднего окна свисают голова и руки шофера — как видно, он потерял сознание (на самом деле машиной управляет другой человек).

Я до сих пор помню, как Женя цитировал нам замечательное место из тогдашнего пособия для автолюбителей:

«Дорожные происшествия делятся на две категории: аварии и катастрофы. Авария — это такое происшествие, после которого водитель остается жив, а во время катастрофы он погибает.

Если с вами случилось дорожное происшествие, прежде всего убедитесь — авария это или катастрофа».

У Жени было изумительное чувство языка, безусловно унаследованное от Корнея Ивановича. Я вспоминаю его юношеское рассуждение о многозначительности русского глагола «лупить»:

— Ведь можно сказать не только «мать лупит ребенка», но и «это ружье еще как лупит»... Или «машина лупит по шоссе»... Это вроде английского глагола to get, который имеет уйму разных значений...

Корней Иванович внушил внуку любовь к поэзии Некрасова, и в этой связи мне вспоминается вот что. Как известно, электрички в Переделкино уходят с Киевского вокзала... И Женя заметил, что названия железнодорожных станций ритмически повторяют известное место из поэмы «Кому на Руси жить хорошо»:

У Некрасова:

Заплатово, Дырявино,
Разутово, Знобишино,
Горелово, Неелово,
Неурожайка тож.

А вот остановки по Киевской дороге:

Аэропорт, Апрелевка,
Алабино, Селятино,
Рассудово, Бекасово,
Зосимова Пустынь.

Женю отличала и наследственная любовь к Чехову. Как известно, один из героев этого писателя, мальчик Ванька Жуков, послал письмо своему деду, а адрес на конверте вывел такой: «На деревню дедушке». Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу».

В отроческом возрасте мой приятель Евгений Борисович подверг советское почтовое ведомство своеобразному испытанию: он опустил в ящик письмо с таким адресом: «На деревню дедушке, Корнею Ивановичу». А поскольку популярность Чуковского была велика, конверт был доставлен адресату в «деревню» Переделкино.

Женя — мой ровесник, родился в 1937 году. И по этому поводу он в юности сочинил стихотворение «онегинской строфой». К сожалению, я запомнил лишь начало:

Итак, родился наш Евгений —
Увы! — в тот самый страшный год,

Когда из лучших побуждений
Пересажали весь народ.

В те далекие времена за Женей никто из взрослых толком не следил, а потому выглядел он не лучшим образом. Грязные сатиновые штаны, нестираная ковбойка, обувь на босу ногу... Руки вечно в машинном масле, голова нечесана... Но ни он сам, ни мы, его товарищи, не придавали этому ровно никакого значения.

Однажды у Жени был примечательный разговор с Матильдой Иосифовной, матерью нашего товарища Саши Нилина. Она посетовала:

— Ну нельзя так ходить... Приведи себя в порядок!

На это он отвечал с характерным для его речи рокотанием:

— Хогошо Гульке, у него любовница пагикма-хегша!

(«Гулькой» называли его двоюродного брата, сына Николая Корнеевича Чуковского.)

— Женя! — сказала Сашина мама. — Тебе уже нужна любовница-банщица!

В те годы он производил впечатление недокормленного. При невысоком росте и худобе Женя обладал феноменальным аппетитом. А когда мы заходили в знаменитый ресторан «Арагви», он прежде всего заказывал свое любимое десертное блюдо:

— Одно глянсе сгазу, другое потом!

Женя был очень одаренным человеком. С одной стороны, живой интерес к поэзии и литературе, а

с другой — к мотоциклам, машинам, радиоприемникам, фотоаппаратам... Его умению обращаться с автомобилем мог позавидовать профессиональный механик. Но и на старуху бывает проруха, иначе никак не объяснишь драматическую историю, которая произошла с ним в середине пятидесятых годов.

В переделкинском доме Корнея Ивановича на веранде завелись осы. Они пугали, а то и жалили и домочадцев, и посетителей. И вот Женя решился ликвидировать осиное гнездо. Он поставил стул на стол, взобрался на высоту и взорвал какой-то заряд... Веранду заволокло дымом, а когда он рассеялся, все увидели, что осы летают как ни в чем не бывало, а у Жени правая рука висит плетью...

Травма оказалась очень серьезной, и ему пришлось долгое время провести в Пироговской больнице. Но Женя там времени даром не терял, а обдумывал, каким еще способом можно уничтожить осиное гнездо на веранде. И вот настал долгожданный день. Выписавшись из больницы, он прибыл в Переделкино, сейчас же схватил стремянку и пылесос, включил его, а шланг приставил к тому отверстию, откуда осы вылетали... И в течение получаса все насекомые были втянуты в резервуар для пыли. А вслед за ними туда же последовало содержимое пакетика с отравой...

Женя самым первым из нас вступил в брак. Я вспоминаю, как, обустроявая «семейное гнездышко», он искал в московских магазинах «полутогную кговать»...

В последующие годы я с ним общался нечасто. Юность миновала, каждый из нас обрел профессию, и у всех приятелей жизнь пошла по-своему. Женя работал кинооператором на студии документальных фильмов, у них с Галей родилось двое сыновей... Жили они по большей части в Жуковке, на даче Д.Д. Шостаковича...

В первой половине шестидесятых годов, до своего бегства из страны, в том же поселке жила Светлана Аллилуева. При очередной встрече Женя рассказал мне, как по одной из улиц в Жуковке бежала дворничиха и громко кричала:

— Сталиных обокрали!.. Сталиных обокрали!..

Полагаю, из всех соседей лишь Женя с его обостренным чувством языка понял всю несообразность этого крика. В нашей стране эта фамилия не могла, да и не может звучать во множественном числе: «товарищ Сталин» — один, единственный, неповторимый...

Шли годы, и вот в 1990-м мне стало известно, что брак моего приятеля и Гали Шостакович распался... Эта новость меня огорчила, я-то помнил их молодыми, влюбленными друг в дружку...

В 1991 году Женя перешел работать на телевидение, он стал оператором в популярной программе «Вести».

Наши с ним относительно регулярные встречи возобновились в 1994 году. Я тогда впервые побывал в Америке и там общался с Максимом Шостаковичем, который передал мне письмо, адресованное Жене. Когда я вернулся в Москву, он заехал ко

мне, и я с радостью отметил, что мой старый приятель почти не переменялся. Одет он был, как всегда, небрежно, на руках следы машинного масла... Только голова стала седая.

К этому времени у меня было несколько журнальных публикаций, а в 1995 году вышла первая книга. Женя все это прочел и сделал дельные замечания. В свою очередь он мне показал несколько своих сочинений, которые мне понравились.

23 ноября 1997 года ему исполнилось шестьдесят. Это событие было отмечено в телекомпании, где он работал, — состоялся банкет, ему вручали подарки. Женю там очень ценили, ибо в обществе обыкновенных телевизионных дикарей его ум и образованность были совершенно уникальными.

Он не жаловался на свое здоровье, говорил:

— Вот я встаю утром, и у меня никогда ничего не болит. В моем возрасте это подозрительно...

Но через две недели после того, как Женя отметил свое шестидесятилетие, поздним вечером у меня дома раздался телефонный звонок. Я поднял трубку и услышал голос плачущего Максима Шостаковича:

— Женька Чуковский умер...

Как гром среди ясного неба... Потом мне стали известны некоторые подробности. В тот день Женя был у себя на телевидении, провел, как положено, выпуск новостей. Окончив работу, он по своему обыкновению выпил водки и прилег отдохнуть на диван. И как мне говорил один из его сотрудников:

— Мы не обратили внимания, что храп перешел в хрип...

Его хотели похоронить рядом с могилами любимого им деда Корнея Ивановича и бабки Марии Борисовны, но это не удалось, и старший Женин сын Андрей за высокую цену купил новое место на том же кладбище, так что наш приятель упокоился в своем любимом Переделкине, где провел счастливейшие годы.

На похоронах его было множество народа, а на поминках не было конца рассказам о его удивительной доброте, об отзывчивости, об экстравагантности его поступков...

Я очень жалею, что из-за обычной житейской суеты мы с ним там мало общались. Но мне в особенности запомнился один вечер, который мы провели с ним вдвоем на кухне в моей квартире. Выпивали, болтали... Говорили о русской поэзии. Я поделился с ним своим давним замыслом — составить две антологии. Первая — «Певец во стане русской пьяни». А вторая такая: стихи Анны Буниной, Каролины Павловой, Анны Радловой, Вероники Тушновой и т. д. А название — «Бабья Лета».

К крайнему удивлению своему я выяснил, что он даже не слышал фамилии самого любимого мною современного поэта — Тимура Кибирова. Тогда я снял с полки томик стихов и прочел ему несколько мест из поэмы «Сквозь прощальные слезы»:

Вот, гляди-ка ты — два капитана
 За столом засиделись в ночи.
 И один угрожает наганом,

А второй трети сутки молчит.
Капитан, капитан, улыбнитесь!
Гражданин капитан! Пощади!
Распишитесь вот тут. Распишитесь!!
Собирайся. Пощады не жди...

Женя был буквально ошарашен. Он попросил у меня книгу Кибирова на несколько дней, чтобы сделать себе копию, и сказал:

— Через два дня я буду все это знать наизусть. Он сохранил свою феноменальную память.

В тот вечер он много рассказывал о себе, о своих путешествиях. Мне запомнились две истории.

Женя рассказывал о прогулке по Нью-Йорку в обществе своего старшего сына Андрея и племянника его первой жены Мити Шостаковича:

— Я им внушал: в современном Нью-Йорке нельзя говорить по-русски в расчете на то, что окружающие тебя не понимают. Здесь теперь очень много наших соотечественников... А мы в это время шли в гости к художнику Льву Збарскому. Нам было известно, что дом, в котором он живет, заселен главным образом выходцами из Латинской Америки. Мы вошли в просторный лифт, где кроме нас было еще человек десять. В их числе, как нам показалось, две молодые латиноамериканки. И как только лифт тронулся, одна из них сказала другой: «Надька, б..., так ссать хочу, прямо умираю!..»

А еще Женя вспоминал свою поездку в Брайтон, где был в гостях у Татьяны Максимовны Литвиновой. Он передал мне ее рассказ:

— Мы с Корнеем Ивановичем делали совместную работу для Детгиза. Было это в те дни, когда Солженицына исключили из Союза писателей. Кабинет Корнея Ивановича находится на втором этаже, и оттуда прекрасно видны соседние дачи... А в это самое время несколько писателей ходили из дома в дом, чтобы собирать подписи на письме с осуждением Солженицына. Разумеется, я об этом не подозревала, а Корней Иванович все знал и между делом следил за передвижениями этой группы... Мы продолжали свои занятия, но в какой-то момент Чуковский сказал мне: «Таня, сейчас, что бы ни произошло, что бы вы ни услышали, нисколько не удивляйтесь...» Буквально через три минуты внизу послышался звонок, и домашняя работница открыла дверь. В этот момент Чуковский выскочил на лестницу и страшным голосом завопил: «Какая сволочь меня разбудила?! Я не спал всю ночь! Я только что задремал!.. Гнать в шею! Гнать в шею!.. Всех гнать в шею!..» Было слышно, как хлопнула входная дверь, и незадачливые сборщики подписей в смущении удалились. А Корней Иванович преспокойно уселся в свое кресло за столом и сказал: «Итак, на чем мы остановились?» .

Среди тех людей, с которыми меня когда-то познакомила Ахматова, была исследовательница ее творчества Аманда Хейт. Уже после смерти Анны Андреевны, в конце шестидесятых и в начале семидесятых, она довольно часто приезжала в Москву, работала переводчицей на выставках, которые тогда устраивались в Сокольническом парке.

В числе прочих московских друзей Аманды я регулярно посещал британский павильон и подружился с одним из ее сотрудников, которого звали Майк Туми. Он был высокого роста, седоволосый, с обаятельной улыбкой на мужественном лице. Про него было известно, что он прошел войну и даже был в легендарном Дюнкерке. По происхождению Майк был ирландцем и, как теперь говорят, практикующим католиком, что в большой степени способствовало нашей дружбе. Его привлекало православное богослужение, он стал приходить в Скорбященский храм на Ордынке, я познакомил его с тамошними священниками и представил архиепископу Киприану.

Майк пригласил Владыку посетить их выставку. И вот я помню, как архиепископ в сопровожде-

нии двух священников прибыл в Сокольники. Когда мы уселись за стол, Майк осведомился: что высокий гость будет пить.

Владыка сказал:

— Как священнослужитель и монах я должен сказать: только воду. Но как гость я говорю: то, что мне предложит хозяин.

Мистер Туми отвечал:

— Но ведь был уже такой случай, когда вода превратилась в вино.

— Да, был, — подтвердил архиепископ, — но до этого было уже много выпито.

(Они имели в виду известное чудо на «браке в Кане Галилейской» — Евангелие от Иоанна, гл. 2.)

Иногда вместе с Майком в Москву приезжала его жена Айлин, дама весьма симпатичная. О своей семейной жизни мистер Туми говорил:

— У нас в доме такой порядок: все важные вопросы решаю я, а все незначительные — жена. Но поскольку важные вопросы никогда не возникают, все решает Айлин.

И еще Майк рассказывал:

— Не так давно мы купили новую мебель для нашей спальни. Когда ее привезли, жены не было дома. Я расставил все предметы по собственному разумению и отметил карандашом те места на полу, где мебель стояла. После этого я сдвинул все на середину комнаты и стал ждать жену. Айлин явилась, и я ей сказал: «Ну, расставляй все, как ты хочешь». В результате мы несколько часов перedвигали мебель с места на место... И наконец она

сказала: «Пускай будет вот так». Тогда я ей показал свои метки на полу — все стояло там же, где и у меня...

Теперь, задним числом, я понимаю, что мистер Туми не был простым служащим в английском павильоне: похоже, он был как-то связан с Intelligence Service. Моя догадка косвенно подтверждается таким его рассказом:

— Когда наша выставка была в Польше, — говорил Майк, — я заметил, что один из наших служащих вдруг помрачнел и стал проявлять признаки беспокойства. Я с ним поговорил, и он признался мне, что познакомился с местной девицей и несколько раз приводил ее к себе в гостиницу... А потом к нему явились сотрудники польской разведки, показали фотоснимки, где он изображен в голом виде с этой особой. И вот они требуют, чтобы он стал на них работать... Иначе, дескать, они эти фотографии опубликуют... Ну, я его успокоил: «Ты держись храбрее и скажи им вот что: дайте-ка мне эти снимки, я их покажу моей жене и теще, а то они всем говорят, что я — импотент». Он так и поступил, и поляки тут же от него отвязались.

Году эдак в семьдесят втором, в начале лета мы с Майком зашли позавтракать в кафе «Арабат» — было такое на Неглинной улице. Мой гость захотел выпить кофию с коньяком. Но тут возникла непредвиденная трудность — тогда существовал очередной идиотский запрет: спиртные напитки можно было продавать не ранее 11 часов утра. Меня в этом кафе знали, коньяк нам принесли, но для конспи-

рации он был налит в кофейные чашечки. Это Майка очень удивило, и мне пришлось объяснять ему, в чем дело...

В ответ он стал сетовать на неудобства советской жизни:

— Мы занимаем номера в огромной первоклассной гостинице... И тут вдруг на несколько дней отключают горячую воду. И это сейчас, в жаркую погоду, когда несколько раз в день необходимо принять душ...

На это я ему отвечал:

— Разумеется, у нас очень неустроенный быт... Но в нашей жизни есть такие преимущества, каких у вас в Англии быть не может.

— Какие, например? — спросил мой приятель.

— Вот какие, — сказал я. — Моя жена уже вторую неделю находится на Черноморском побережье, купается, загорает... А на ее работе об этом никто даже не подозревает, и она за все эти дни получит заработную плату...

— Да, — признал он, — у нас это невозможно...

Майк Туми был истинным патриотом Соединенного Королевства и защищал его с оружием в руках. Но он родился в Ирландии, и к этой стране у него было особое отношение. Он любил рассказывать ирландские анекдоты:

— В один из баров Дублина входит посетитель. Бармен ему говорит: «Мой бар еще закрыт. Мы начнем работать через полчаса. Но если вы намерены ждать открытия, может быть, хотите что-нибудь выпить?»

— В Ирландии к доктору приходит дряхлый, трясущийся старик. «Вы, наверное, много пьете?» — спрашивает врач. «Нет, доктор, — отвечает пациент. — Я много расплескиваю...»

И еще:

— Два пожилых ирландца стоят на дублинской улице против дверей публичного дома. Они видят, что из этого заведения выходит раввин. Один из приятелей говорит другому: «В глубокой древности они заблудились в пустыне и до сих пор блуждают». Через некоторое время из той же двери выходит протестантский пастор. Второй ирландец говорит первому: «Видишь, отступление от истинного вероучения ведет к прямому нарушению заповедей Божиих». Но вот на пороге публичного дома появляется католический патер. Долгая пауза, и тогда один из приятелей произносит: «Наверное, какая-то из здешних девочек смертельно больна...»

Но это все анекдоты. А вот какую реальную историю рассказал мне Майк Туми:

— В Ирландии, в одной из бедных приморских деревень, строился завод. Работали там немцы, которые были много богаче местного населения. Как-то вечером, когда рабочие из Германии кутили в тамошней пивной, с ними заговорил старый рыбак. Он сказал: «Мы признаем, что вы, немцы, умнее нас, удачливее... А все же у нас, у ирландцев, есть нечто такое, чего у немцев нет и никогда не будет». — «О чем ты говоришь? — спросили его те. — Что же такое есть у вас, у ирландцев?» Старик взглянул на них и произнес: «Мы побили англичан».

Когда я опубликовал свою «Легендарную Ордынку», кое-кто упрекал меня: дескать, в рассказе о писателе Льве Никулине я ни словом не упомянул о том, что у этого человека была недобрая слава. Чтобы избежать подобных упреков на сей раз, я решаюсь начать эту часть моего повествования довольно-ехидной эпиграммой, которую в свое время сочинил Эммануил Казакевич:

Никулин Лев, стукач-надомник,
Весною выпустил трехтомник.
Рекою мутной, в три струи
Его творения текли
И низвергались прямо в Лету,
И завонялась Лета к лету.

Но в этих строках есть некая несообразность. Стукач не может быть надомником, он должен покинуть свое жилище, чтобы общаться с теми людьми, на которых пишет доносы. А Лев Никулин действительно был и слыл человеком нелюдимым.

Он родился в 1891 году. Отец его Вениамин Иванович — актер и известный в тогдашней России театральный антрепренер — был евреем, но в свое время крестился. А история его «обращения» весь-

ма любопытна, помнится, об этом писал в одной из своих книг знаменитый театральный критик А.Р. Кугель.

Впрочем, В.И. Никулин опубликовал и собственные мемуары, где также повествуется о том, как и по какой причине происходило его крещение. Этот эпизод представляется мне настолько интересным и — увы! — характерным, что я не могу отказать себе в удовольствии привести несколько отрывков из его книги «Записки театрального директора», которая вышла в Нью-Йорке в 1942 году. (После семнадцатого года Вениамин Иванович жил в эмиграции.)

В 1894 году труппе Никулина предстояли гастроли во Владикавказе. Все дела были улажены, уже арендовали местный театр, и оставалась последняя формальность — представиться тамошнему начальству. А этот город являлся столицей Терского казачьего войска, и главной фигурой там был атаман — генерал С.В. Каханов.

«— Пожалуйте! Вас, господин антрепренер, просят господин полицмейстер, — сказал мне вестовой. Полицмейстером же тогда во Владикавказе был барон Унгерн-Штернберг, из военных.

Я вошел в кабинет. Барон-полицмейстер весьма любезно пригласил меня сесть у его письменного стола, предложил из золотого портсигара папиросу и сам, собственными руками поднес мне зажженную им спичку для закуривания.

Потом начался у нас обычный милый разговор. Шеф полиции стал расспрашивать о труппе и по-

любопытствовал в шутливом тоне, есть ли в труппе интересные актрисы и т. п. Говорил он далее, что Владикавказ город небольшой, но богатый и здесь очень любят театр. Предсказывал блестящие сборы и вообще большой успех.

Тут наступил момент для меня весьма тяжелый. Изобразив на своем лице самую милую улыбку и придав своему голосу наивозможную сладость, я легко, без тревоги и нажима, сказал:

— Знаете, господин барон, — у меня в труппе из состава не менее как в 30 человек артистов имеется... всего только... три... еврея.

— Ев-ре-и?.. Аусгешлосен! Ни в каком случае. Да мой генерал под страхом смертной казни сего не допустит! Замените их немедленно, — сурово промолвил начальник полиции.

Наступила пауза — тягостная, хотя и недолгая.

— Но я... я сам... еврей!

Воцарилась гробовая тишина. Затем со своего кресла поднялась грузная фигура полицмейстера, и он совсем другим голосом спросил меня — остановился ли я в гостинице и дал ли я уже свой паспорт для прописки?.. Я, конечно, уже не сидел больше, а стоял, и папироса давно потухла и выпала из моих рук. Я успокоил его, что приехал лишь сегодня утром. Переоделся на вокзале и прямо поехал в городскую управу, в театр и к нему представиться.

— Ну так вот что: вечером, сегодня же, есть поезд на Ростов, и вы уезжайте с ним безотлагательно! Чтобы начальник области, наш атаман, даже не знал об этом казусе. Ух ты, Боже мой! Вот так штука... И

помните, вернуться сюда вы можете только христианином. Затем-с желаю всех благ и... с Богом!

Я склонил голову как от тяжелого удара и покинул кабинет полицмейстера, но уже без рукопожатий».

Вениамину Ивановичу было от чего прийти в отчаянье. Ситуация грозила ему полным разорением — он уже выдал актерам аванс и заплатил за аренду театрального здания. Далее Никулин описывает, как он вернулся к своей семье в Житомир и там обратился к некоему священнику Кудрявцеву, который на просьбу о крещении отвечал:

«...Так, так... Ну что ж, хорошо, сын мой. Вот через несколько дней у нас предстоит праздник Успения Пресвятыя Богородицы, приходите тогда в церковь мою. Мы вас будем оглашать. Потом еще два устроим такое же оглашение и, с Божией помощью, в ближайшее время и совершим над вами обряд Святого Крещения».

Вениамин Иванович на это не решился, к тому же его испугало загадочное для него слово «оглашение», а потому было решено обратиться к немецкому пастору. Тут выяснилось, что переход в лютеранство дело канительное и формальности, связанные с этим, занимают около четырех месяцев. Но притом «каждый пастор имеет право и даже обязан окрестить кого угодно в немецкую веру, если алчущий крещения опасно болен и находится при смерти».

Словом, Никулин притворился умирающим, к нему явился пастор и полицейский чиновник, и обряд был совершен. Через два дня «новопросвещен-

ный лютеранин» вновь отправился во Владикавказ, где все устроилось наилучшим образом:

«Теперь документы мои оказались в полном порядке. И барон-полицмейстер стал опять гостеприимно угощать меня папиросами из золотого портсигара, хлопая по плечу запанибрата».

Но вернемся к моему герою, сыну этого выкреста — Льву Никулину. Насколько мне известно, он вместе с братьями и сестрами вырос в Одессе. Помнится, рассказывалась такая история: когда будущему писателю исполнилось пятнадцать, ему очень хотелось вместе со сверстниками вечерами прогуливаться по Дерибасовской улице. Взрослые, разумеется, возражали, и на этой почве возникали конфликты. В спор вступала восьмидесятилетняя бабушка, говорившая внуку:

— Левочка, ну почему мне не хочется на Дерибасовскую?

В 1911 году Л.В. Никулин стал студентом Московского коммерческого института, тогда-то и началась его литературная карьера. Он писал театральные рецензии, фельетоны, а также сценки для театра миниатюр «Летучая мышь». Он познакомился и подружился с Александром Вертинским и иногда писал для него тексты песен.

Именно в те времена Никулин сочинил четверостишие, которому была суждена весьма долгая жизнь — его помнят даже люди моего поколения:

У кошки четыре ноги,
Позади ее длинный хвост,

И тронуть ее не могли,
Несмотря на малый рост.

В официальной советской биографии Льва Вениаминовича говорится, что во время гражданской войны «он пишет политические сказки-агитки, героическую феерию “Все к оружию”, памфлеты на гемтана Петлюру и “и прочих до власти охочих”»... Но притом Никулин был отнюдь не чужд и влияниям серебряного века, а доказательством тому служит его книга, вышедшая в 1918 году в Москве (издательство «Зеленый остров»), — «История и стихи Анжелики Сафьяновой 1913—1918 с приложением ее родословного древа и стихов, посвященных ей». Это — литературная мистификация, нечто вроде волошинской «Черубины де Габриак», и там есть вовсе не дурные строки:

В тяжелые барки сбегают рабы,
Как было в галерах старого флота.
И как не устали вставать на дыбы
На мосту лошади Клодта?

У меня есть все основания полагать, что Лев Никулин, как и весьма многие интеллигенты его поколения, в свое время вполне искренне принял революцию и стал преданно служить советской власти. В 1921 году в составе дипломатической миссии он уехал в Афганистан, где провел полтора года. В дальнейшем его отправляли во Францию, в Испанию, в Турцию, где он выполнял какие-то поручения «компетентных органов». И он до самых последних лет своей жизни был, что называется, «выез-

дной», с 1956-го по 1966-й всякий год лечился на одном из французских курортов.

Насколько я могу судить, функции, которые доводилось выполнять Никулину, были сходны с теми, что поручались Илье Эренбургу. Но если последний пользовался расположением либеральной советской интеллигенции, то первый ею порицался...

Притом Лев Вениаминович, когда мог, старался делать добро. Так, в конце пятидесятых годов он познакомился и даже подружился с вдовой Ивана Бунина — Верой Николаевной. В те дни она бедствовала, и Никулин помог ей продать часть архива в Советский Союз, и он же доставлял в Париж причитающиеся ей деньги.

Я полагаю, что в тридцатых годах Лев Вениаминович окончательно прозрел, понял, что на самом деле представляет собою большевицкий режим. Ему, как умному человеку, стало ясно, что изобретенная Лениным и усовершенствованная Сталиным страшная машина может в любой момент убить или превратить в лагерную пыль каждого человека — и министра, и академика, и дворника... Здесь не могли помочь ни лояльность власти, ни искренняя ей преданность — спасал только случай, только везение...

Мой отец, который дружил с Львом Вениаминовичем в течение сорока с лишним лет, говорил о нем:

— Это — ужаснувшийся.

В те годы, когда я его знал, Никулин был домоседом и регулярно общался с ничтожно малым количеством людей. Если же он попадал в какую-ни-

будь компанию, то вовсе не участвовал в общих беседах. Его соседка и приятельница Лидия Русланова говорила:

— Пришел Никулин и намолчал полную комнату.

Он даже в семейном кругу был необычайно сдержан, но тут он не боялся выказывать свой ум и свойственное ему чувство юмора. На Ордынке вспоминали такую его шутку: когда Никулину в свое время сообщили о том, что его жена родила двойню, он произнес:

— Нищета стучится в ворота моего дома.

Он говорил:

— Я придумал тему для диссертации на соискание степени доктора филологических наук: «Адам Мицкевич и мадам Ицкевич».

Я помню, как Лев Вениаминович рассказывал о своей встрече с В.В. Шульгиным, который, как известно, был антисемитом и тогда снимался на «Ленфильме» в картине «Дни»:

— Шульгин мне все время жаловался: «Этот автор сценария Владимиров... этот Владимиров...» Я говорю: «Какой это Владимиров? Это что — Вайншток?» Шульгин посмотрел на меня, сделал правой рукой брезгливый жест и говорит: «Наверно, Вайншток...»

В начале шестидесятых годов Никулин лежал в урологическом отделении одной из московских клиник. Выйдя оттуда, он привез домой весьма оригинальный подарок, который ему преподнесли соседи по больничной палате. Это была стеклянная

«утка» с выгравированной надписью: «Ссы спокойно, дорогой товарищ».

Лев Вениаминович любил сочинять шуточные стихи и эпиграммы. Я до сих пор помню четыре строчки из его стихотворения, в котором перечислялись по именам все литературные дамы пятидесятых годов:

Вот Маргарита Алигер —
Милейшая из всех мегер,
Милее, чем мадам Адалис,
Как вы, конечно, догадались...

На развернувшуюся в «Литературной газете» дискуссию о положительном герое Никулин реагировал так:

Положительный герой
Иметь не должен геморрой —
Это нетипично,
Да и неприлично.

Человек чрезвычайно умный и язвительный, Лев Вениаминович прекрасно знал цену советской литературе и большинству своих «собратьев по перу». Он говорил:

— Наши дураки так пишут пьесы о Пушкине: няня Арина Родионовна говорит поэту: «Эх, Сашенька, дожить бы тебе до того времечка, когда Владимир Ильич будет громить народников!..»

« ЧТО СКАЗАЛ РИМСКИЙ ПАПА? »

Валентин Петрович Катаев в послевоенные годы у нас на Ордынке не бывал. Но я могу с определенностью утверждать, что он приходил к моим родителям в 1937 году, когда я только что родился и наша семья жила еще в Лаврушинском переулке, в том же доме, где имел квартиру Катаев. Я с самых первых дней был смуглым и черноволосым, и, как рассказывали, Валентин Петрович, увидев меня, новорожденного, дал мне прозвище «кофейное зерно».

Мои отец и мать очень высоко ценили талант Катаева, я и сам всегда восхищался его прозой. По моему глубокому убеждению, лишь один советский писатель превосходил Валентина Петровича в литературном мастерстве, я имею в виду Михаила Зощенко.

Ардов в близких отношениях с Катаевым никогда не был, но они оба принадлежали к одному и тому же кругу литераторов, куда входили Михаил Булгаков, Михаил Зощенко, Валентин Стенич, Лев Никулин, Юрий Олеша, Михаил Кольцов, Илья Ильф, Евгений Петров... Последний, как известно, был младшим братом Катаева, и взял себе псевдоним, дабы читатели их не путали. Вот с Евгением Петровичем Ардов был очень дружен.

Я помню, отец рассказывал о женитьбе Петрова. Году эдак в двадцатом Катаев и Олеша прибыли из Одессы в Москву и вместе поселились на какой-то квартире. С ними по соседству жила прелестная, совсем юная девушка по имени Валечка Грюнзайт. И вот Катаев тогда решил, что с ней надо познакомиться его младшего брата Евгения. Тот вскоре также перебрался из Одессы в Москву и в конце концов стал мужем Валентины Леонтьевны Грюнзайт.

В тридцатые годы и Катаев, и Олеша стали очень известными писателями. Как-то вечером Валентин Петрович и Юрий Карлович шли по улице Горького. Прямо на панели они познакомились с какими-то двумя девицами и ради развлечения пригласили их в ресторан «Арагви». В этом заведении обоих литераторов хорошо знали и предоставили им отдельный кабинет. Они заказали шампанского и ананасов. Катаев вылил две бутылки шипучего в хрустальную вазу и стал резать туда ананасы...

Одна из барышень сделала ему замечание:

— Что же это вы хулиганничаете? Что же это вы кабачки в вино крошите?..

Тогда же, в тридцатых годах, пути Катаева и Олеша разошлись. Валентин Петрович стал усердно служить большевицкому режиму, а Юрию Карловичу такая роль, по-видимому, претила. Он почти ничего не сочинял и к тому же пить стал не в меру.

Мои собственные немногие встречи с Олешей происходили в пятидесятых годах, когда от его былой близости с Катаевым не осталось и следа. Более того, к этому времени у Юрия Карловича по-

явилось нечто, что можно было бы назвать «комплексом Катаева». Так, один молодой литератор говорил мне, что Олеша, надписывая ему свою книгу, вопрошал:

— Скажите, ведь я пишу не хуже, чем Катаев?

Незадолго до своей смерти Юрий Карлович получил путевку в Дом творчества в Переделкине, а там неподалеку жил на своей даче его бывший друг. Однажды за завтраком кто-то из литераторов рассказал, что прошлой ночью на улице писательского поселка неизвестные преступники ограбили какого-то человека и скрылись. Выслушав такое, Юрий Карлович сказал:

— Это сделали дети Катаева.

А теперь несколько слов о том самом загородном доме, где Валентин Петрович прожил долгие годы. До войны, когда только появился в Переделкине писательский поселок, Катаеву там дача не досталась. А среди тех, кто получил от Литфонда загородные дома, был И.Г.Эренбург. Он, как помним, подолгу жил во Франции, и Катаев, воспользовавшись отсутствием Ильи Григорьевича, вселился в его дачу. Тут надобно отдать должное Эренбургу — человек очень умный и осторожный, он не стал поднимать скандала, а на собственные деньги построил себе загородный дом подальше от Переделкина — в Новом Иерусалиме.

В двадцатых годах близким приятелем Катаева был Лев Никулин, но потом они поссорились и, хотя оба жили в Лаврушинском переулке, не только не общались, но даже и не здоровались друг с другом.

Я бы об этом не стал упоминать, кабы моя память не сохранила забавного двустушия, которое сочинил Лев Вениаминович. Это была эпитафия Катаеву:

Здесь лежит на Новодевичьем
Помесь Бунина с Юшкевичем.

(Юшкевич Семен Соломонович (1868 — 1927) в начале века — известный писатель, «певец Одессы».)

В середине тридцатых Михаил Кольцов возглавлял целое объединение периодических изданий — «Жургаз». Там устраивались званые вечера, куда приглашались знаменитости. Никаких кулис не было, все гости — в зрительном зале. И вот ведущий объявляет:

— Дорогие друзья! Среди нас присутствует замечательный пианист Эмиль Гилельс. Попросим его сыграть...

Раздаются аплодисменты, Гилельс встает со своего места, поднимается на эстраду и садится за рояль.

Затем ведущий говорит:

— Среди нас присутствует Иван Семенович Козловский. Попросим его спеть...

И так далее...

И вот во время какой-то паузы с места вскочил пьяный Валентин Катаев и громко провозгласил:

— Дорогие друзья! Среди нас присутствует начальник Главреперткома товарищ Волин. Попросим его что-нибудь запретить...

Надобно сказать, что в те годы Главрепертком (Главный репертуарный комитет) осуществлял

цензорские функции в театрах. Реплика Катаева вызвала громкий смех и аплодисменты, а обидчивый цензор демонстративно покинул зал.

И еще одна блистательная шутка Катаева. Как известно, до войны в нашей стране вышел закон, который объявлял гомосексуализм преступлением, и сразу же начались аресты. Под действие нового закона должен был бы подпасть знаменитейший актер Александринского Театра Юрий Михайлович Юрьев. Но по причине широкой известности его репрессии не коснулись, зато попал в Гулаг его «нежный друг» — молодой артист из Театра оперетты. Юрьев пытался хлопотать, но безуспешно, и тогда он отправился в те отдаленные места, где отбывал срок его возлюбленный... Это все сообщили Катаеву, и он сказал:

— Я просто плачу от умиления. Немедленно сажусь писать подражание Некрасову — поэму «Русские мужчины».

Вспоминаю рассказ Александра Фадеева, он говорил моему отцу в начале пятидесятых:

— Катаев зашел ко мне на дачу, мы с ним крепко выпили, но нам спиртного не хватило. И хотя была глубокая ночь, мы стали ходить по соседним дачам и просить водку взаймы. И нам ее всюду давали, потому что хозяева очень боялись, что мы у них останемся...

В начале хрущевской «оттепели» был снят негласный запрет на сочинения Ильфа и Петрова. Мой отец был организатором одного из первых вечеров, посвященных этим писателям. И я помню, как он сетовал, говоря о Катаеве:

— Как это можно не прийти на вечер памяти твоего родного брата?

В 1958 году Валентин Петрович вступил в коммунистическую партию. В литературной среде бытует такое мнение: он сделал это, дабы спасти от репрессий свое детище — журнал «Юность». Ардов объяснял этот шаг по-своему:

— Катаеву уже за шестьдесят: врачи запретили пить, по дамской части он уже не ходок... Значит, теперь «аморалку» не пришьют, а поощрения будут, и не малые...

В те времена в Москве были популярны рассказы о парикмахере Моисее Моргулисе, он работал в Доме литераторов. Одну из этих новелл имеет смысл привести, но для современного читателя тут надлежит сделать некоторое разъяснение: за границу тогда почти никто не ездил, и каждый человек, побывавший в иностранном государстве, вызывал интерес окружающих.

Так вот Моргулис стрижет Валентина Катаева, который только что вернулся из-за границы. Клиент вовсе не расположен разговаривать с парикмахером, а потому отвечает односложно:

— Вы были за границей?

— Да, был.

— Ну и где вы были?

— В Италии.

— И были в Риме?

— Был.

— И видели Римского Папу?

— Видел.

— А правда говорят, что когда приходишь к Римскому Папе, то надо целовать ему туфлю?

— Да, правда.

— И вы целовали?

— Целовал.

— Ну и что вам сказал Римский Папа?

— А вот когда я наклонился, чтобы поцеловать ему туфлю, он спросил: «Какой засранец подстригал твой затылок?»

В начале семидесятых годов, когда в стране началась разнузданная травля Солженицына, Катаев принял в ней участие. Кое-кто из наивных людей был шокирован этим. Помнится, один из моих тогдашних приятелей говорил:

— Как Валентин Петрович мог подписать подобное письмо?

А я ему отвечал:

— Если кто-нибудь из советских писателей может совершенно искренне ненавидеть Солженицына, то это именно Валентин Катаев. Он всегда исповедовал ясные принципы: писать надо очень хорошо, с властями надо дружить, а жить надо со всей возможной роскошью и удобствами. И все это Катаев блистательно воплотил: пишет он, как никто, эдакий «социалистический Набоков», у него гигантские тиражи и очень высокие гонорары; у него огромная квартира в Москве, и она обставлена антикварной мебелью; он живет в прекрасном загородном доме; у него есть автомобиль и собственный шофер... Наконец, ему позволяют бывать за границей и даже зарабатывать там какие-то деньги... И

вдруг появляется писатель, жизнь которого шла вопреки всем принципам Катаева: он по глупейшей неосторожности попадает в тюрьму, потом в ссылку, работает школьным учителем, нищенствует... Да и пишет-то он, с точки зрения Катаева, плохо... А вот поди ж ты — именно этому человеку достается Нобелевская премия, у него огромные гонорары в твердой валюте, не говоря уже об оглушительной всемирной славе. И в сравнении с этим все благополучие и вся известность Катаева не стоят и гроша...

Справедливость моих слов о Солженицыне и Катаеве подтвердилась много позже, уже в девяностых, когда были опубликованы дневники Корнея Чуковского. 24 ноября 1962 года он писал:

«Сейчас вышел на улицу платить (колоссальные) деньги за дачу — и встретил Катаева. Он возмущен повестью “Один день...”, которая напечатана в “Новом мире”. К моему изумлению, он сказал: — Повесть фальшивая: в ней не показан протест. — Какой протест? — Протест крестьянина, сидящего в лагере. — Но ведь в этом же вся правда повести: палачи создали такие условия, что люди утратили малейшее понятие справедливости и под угрозой смерти не смеют и думать о том, что на свете есть совесть, честь, человечность. Человек соглашается считать себя шпионом, чтобы следователи не били его. В этом вся суть замечательной повести. А Катаев говорит: — Как он смел не протестовать хотя бы под одеялом. А много ли протестовал сам Катаев во время сталинского режима? Он слагал рабы гимны, как и все».

Эта запись свидетельствует о том, что умный и проницательный Валентин Петрович сразу же почувал опасность — появление в печати «Ивана Денисовича» означало, что дни «социалистического реализма» сочтены. По существу говоря, это был первый гласный приговор той самой «советской литературе», в которой Катаев и первенствовал, и процветал.

Закончить эту главку мне бы хотелось одним занятным эпизодом, о нем рассказывал мой старый приятель Александр Александрович Авдеенко. В начале шестидесятых годов в переделкинской детской библиотеке, которую Корней Чуковский построил возле своей дачи, состоялось какое-то торжество. Прибыла группа с телевидения, присутствовали писатели — Павел Нилин, Валентин Берестов... Ну а детей как назло почти не было... И вдруг туда пришла маленькая девочка — хорошенькая, нарядная, с бантом в волосах. Телевизионщики тут же наставили на нее объектив своей камеры и стали задавать вопросы:

— Тебе нравятся книжки Корнея Ивановича Чуковского?

— Нет, — отвечало дитя, — они мне не нравятся.

— Как? Почему?

— Потому что он — плохой писатель.

Рассудительная крошка явилась с соседней дачи, это была внучка Валентина Петровича Катаева.

Если бы меня кто-нибудь спросил, знал ли я в течение моей жизни хоть одного настоящего русского писателя, я бы наверняка назвал имя Павла Нилина. Он был отцом моего близкого друга Александра, и я более или менее регулярно общался с ним в течение многих лет.

Это началось в те самые годы, когда к Павлу Филипповичу пришла довольно громкая слава: во времена хрущевской «оттепели» он опубликовал две повести — «Жестокость» и «Испытательный срок». Вещи эти служили наглядным и убедительным доказательством того, что с момента возникновения советской власти честность, порядочность, верность долгу стали качествами весьма нежелательными и любой человек, этими чертами наделенный, был обречен на конфликт с большевицким режимом.

Нилин почти никогда и ни с кем не говорил серьезно, в его словах постоянно звучала ирония, и не только по отношению к собеседнику, но и к себе самому. Кстати сказать, нечто подобное было свойственно Чуковскому, с которым Павел Филиппович был в приятельских отношениях — оба жили в Переделкине. Однажды они шли вдвоем вдоль лесной

поляны и вдруг заметили пробежавшего хорька. Чуковский очень оживился и предложил:

— Давайте его ловить!

На это Нилин отвечал:

— Вам, Корней Иванович, уже восемьдесят лет, и вы вполне можете позволить себе ловить в лесу хорька. А я еще не достиг столь почтенного возраста и потому не могу принять в этом участия.

Бывало, заходишь к ним домой, Нилин появляется в дверях своего кабинета и объявляет:

— Я, как русский писатель, люблю отвлекаться от работы.

Звонишь к ним, и он говорит по телефону:

— Вот, сижу пишу... Пытаюсь стать писателем...

Нилин написал сценарий фильма «Большая жизнь», который упоминался в печально известном постановлении ЦК партии, а режиссером этой ленты был Леонид Луков. В семидесятых, кажется, годах Павлу Филипповичу позвонил по телефону Алексей Каплер и сказал:

— На Новодевичьем кладбище установлен памятник Лукову, и мы будем его открывать. Вы с ним когда-то работали, и хотелось бы, чтобы вы пришли сказать несколько слов.

— Я не умею говорить то, что в таких случаях требуется, — отвечал ему Нилин.

— Ну и прекрасно, — продолжал настаивать Каплер, — очень хочется, чтобы прозвучало что-нибудь неординарное...

— Ну, я могу так сказать о Лукове: покойный любил только две вещи — жратву и начальство...

Словом, Павел Филиппович на открытие этого памятника не пошел.

Александр Нилин мне рассказывал:

— У нас дома раздается телефонный звонок. Отец берет трубку. Звучит женский голос: «Здравствуйте, Павел Филиппович. С вами говорит завуч школы, в которой учится ваш сын Саша...» — «А-а! Здравствуйте, Берта Абрамовна!..» А ее зовут Ревекка Борисовна... Ну мог ли я после этого приносить из школы хорошие отметки?..

У Нилиных на переделкинской даче долгое время не было телефона, а потому звонить приходилось из Дома творчества писателей. Однажды, явившись туда с этой целью, Павел Филиппович застал в вестибюле Мариэтту Шагинян, которая никак не могла соединиться с нужным номером. Нилин вызвался ей помочь, и ему это сразу же удалось. Окончив свой разговор, старая писательница с благодарностью на него взглянула и спросила:

— А как тебя зовут?

— Павел, — отвечал тот.

Тогда Мариэтта повернулась к сидящей при дверях вахтерше и произнесла:

— Способный у вас этот Павел.

Старушка приняла Нилина за одного из служащих в Доме творчества.

Павел Филиппович замечательно отзывался о газете «Литература и жизнь», в которой обыкновенно печатались советские авторы второго и третьего разряда. Он говорил:

— Мне очень трудно читать эту газету. Там пишут так: «А я учился поэтическому мастерству у Сидорова и буду учиться!» А кто такой этот Сидоров и кто это пишет — мне совершенно неизвестно...

Он так поучал своего сына:

— Ты уже должен сам зарабатывать. Тебе уже пора что-нибудь в дом принести и сказать отцу: «На, старик, поешь, поклюй, потрогай руками...»

Вспоминаются мне и отдельные нилинские реплики:

— Как говорил мой знакомый сибирский мужик: «Лучше чай без сахара, чем палкой по заднице».

Или:

— Сапоги блестят, как собачьи яйца на морозе...

Насколько я могу судить, совершенно серьезно Нилин относился только к русской литературе. И в этой связи я припоминаю один существенный наш с ним разговор, который состоялся в семидесятых годах. Я показал ему несколько написанных мною рассказов, и он кое-что похвалил. В частности, ему понравилось, как я передавал там живую речь. Он мне говорил:

— Написать, что у лошади вятской породы «какой бы ни был цвет, а по спине — темный ремешок», может только человек, который очень внимательно слушает...

И еще один наш с ним разговор я хорошо запомнил:

— Значит, вы теперь православный? — спросил он.

Я это подтвердил.

— А как с напитками? Выпиваете?

— Бывает, что пью. Бывает — и не пью.

— Да, — сказал Нилин, — а вот как бы нашего Сашу тоже вовлечь в православие...

— Павел Филиппович, — отвечал я, — если тут цель — покончить с выпивкой, то тогда лучше его вовлечь в ислам. Это будет надежнее.

И тут он мне ничего не ответил, на этот раз я его, что называется, перекуродствовал.

Среди бумаг, которые хранятся в моем архиве, есть много старых писем, и некоторыми из них я особенно дорожу. Например, теми, что написаны рукою Б.Э. Хайкина — он был дальним родственником и ближайшим приятелем моего отца. В свое время Борис Эммануилович был весьма известным дирижером: с 1936 года возглавлял Малый оперный театр в Ленинграде, с 1944-го на этой же должности в Мариинском театре, а с 1954-го по 1978-й работал в Москве — в Большом.

Наша с ним переписка возникла в год смерти моего родителя — в 1976-м, Хайкин глубоко переживал потерю старого друга. Он мне писал:

«Большое тебе спасибо за письма и за заботы обо мне. Я каждый день вспоминаю папу, как он обо мне заботился. Это был единственный человек, с которым я мог посоветоваться. Папа меня всегда опекал, и, когда я впервые поехал в 1927 году в Ленинград, он поехал вместе со мной — это были мои первые выступления в Ленинградской филармонии».

Письма Хайкина — трогательные, живые, в них воспоминания о замечательных людях. В одном из своих ответов я рекомендовал ему взяться за мемуары, найдя себе в помощники, как я тогда выра-

зился, «бойкого жиденка с музыкальным образованием». 9 февраля 1977 года Борис Эммануилович мне писал:

«Насчет книги: еще в 1973 году я заключил договор с издательством “Советский композитор” на книгу в 20 печ. листов из серии “Мастера о себе”.

Но я писал не воспоминания и не о себе. Я назвал ее так: “Беседы о дирижерском ремесле”.

Кроме тебя очень многие настаивали, чтоб я написал нечто подобное (папа в том числе). И вот я написал 229 стр. на машинке, это меньше 20-ти печатных листов, однако же немало.

В качестве “бойкого жиденка” обозначилась Елена Андреевна Гошева — она редактор всей этой серии. Но она не жиденок и еще меньше того бойкая.

И вот моя рукопись лежит у нее с 1975 года. Она сама подрядилась написать много книг, и ей некогда заниматься моей, тем более, что читать гораздо труднее, чем писать.

Гошева мне сказала, что раньше 1980 года это света не увидит, на что я ответил, что мне все равно — 1980-й или 1990-й, так как я света не увижу и того раньше».

Мрачное пророчество Бориса Эммануиловича оправдалось — он скончался 10 мая 1978 года. Увы! И Гошева сдержала свое слово — «Беседы о дирижерском ремесле» вышли из печати не ранее восьмидесятого года, а точнее — в 1984-м.

Я полагаю, люди, причастные к музыкальному искусству, по достоинству оценили труд Хайкина,

ибо даже я, человек от их мира далекий, читал эту книгу с захватывающим интересом. Правда, мне помогала память.

Борис Эммануилович пишет:

«...однажды, после очень интересного органного вечера А.Ф. Гедике, случилось так, что я из зала вышел вместе с Константином Николаевичем Игуновым. И вот что я от него услышал: “Иногда я ловлю себя на том, что сочинения Баха, исполненные на фортепиано в транскрипции Листа или Бузони, производят на меня бóльшее впечатление, чем в оригинале на органе”».

И я сейчас же вспомнил устный рассказ Хайкина, который учился у Александра Федоровича Гедике. Как известно, в России прекратилось производство водки в 1914 году, и возобновилось оно лишь в 1924-м. А поскольку в те времена пост председателя Совета Народных Комиссаров занимал А.И. Рыков, то в народе водку сразу же стали называть «рыковкой». Так вот Хайкин рассказывал, что Александр Федорович иногда приглашал его к себе в гости и угощал настойкой, которую делал сам на основе покупной водки. И напиток этот назывался «Рыков — Гедике» — по аналогии с «Бах — Бузони».

В книге написано:

«В 1963 году я ставил “Хованщину” в флорентийском “Театро Коммунале”. Основными солистами были артисты Большого театра... Хор, оркестр, исполнители вторых партий — итальянцы. Ну как итальянцу объяснить, что такое “мягкий знак”, что

такое “ю”, что такое “я”? Простое слово “князь” превращалось в “книази”. Фразу “Грудь раздвоили камнем вострым...” один пел “груд”, другой — «груди». Получалась какая-то чепуха».

А я прекрасно помню, как Хайкин вернулся из Италии и как он рассказывал о своем визите в советское посольство для беседы с тамошним «атташе по культуре»:

— Этот тип мне сразу же объявил: «Дворник в американском посольстве получает денег вдвое больше, чем я». А потом предложил мне записать их адрес в Риме: «У нас тут индекс ихнее “эр”. Ну, это как наше “я” — только перевернуть...» И он левой рукой мне показал, как надо перевернуть наше «я», чтобы получилось «ихнее “эр”»...

Хайкин — дирижер оперный, и для него важно, чтобы тексты, которые приходится артистам петь, были удобочитаемыми. В книге эта тема возникает множество раз.

«Переводы... опер делались лет сто тому назад и более. Они делались тщательно с точки зрения ответственности каждого слова в отдельности, но литературные достоинства фразы в целом никого не заботили. Вспоминается фраза Проспера Мериме: “Перевод, как женщина: если он красив, он неверен, если он верен, он некрасив” (по-французски “перевод” тоже женского рода)».

Другой предмет заботы Хайкина — соответствие исполнения замыслу композитора. Он пишет:

«Я очень уважаю профессора М.И. Чулаки как первоклассного мастера и широкообразованного

музыканта. Но я выражаю резкое несогласие с тем, что он позволяет себе прилагать руку к партитурам Чайковского, Римского-Корсакова, Прокофьева».

Как я понимаю, помянутый профессор мог себе это позволять, поскольку с 1963-го по 1970 год был директором и художественным руководителем Большого театра. Но я тут же вспоминаю и менее деликатный отзыв Хайкина об этом человеке — Борис Эммануилович цитировал какого-то артиста, который в те времена любил повторять:

— А мне — что Чулаки, что портянки...

И еще на ту же тему:

«Вот случай, который знаю со слов В.И. Сука. Идет репетиция “Майской ночи”. Левко поет Дм. Смирнов. Первую песнь он поет так импровизационно, с такими странными отклонениями и ферматами, что совершенно невозможно понять логику его музыкального мышления. На замечание дирижера он отвечает, что так намерен петь и дальше и что вообще он “сам себе господин”. Скандал. Сенсация. Далее В.И. Сук цитирует свое письмо в редакцию “Русского слова” (которое было помещено): “Когда г. Смирнов сказал мне, что он «сам себе господин», я ему ответил, что я этого не отрицаю, однако, он ни в коем случае не господин мне и, тем более, не господин Римскому-Корсакову”».

Имя замечательного дирижера Вячеслава Ивановича Сука встречается на страницах книги Хайкина великое множество раз. Борис Эммануилович считал себя его учеником и очень часто о нем рассказывал. Я запомнил такие истории.

В Большом театре один сезон пел тенор Виктор, обладатель сильного голоса, но человек не вполне музыкальный и никакой артист. Его уволили. При обсуждении состава труппы на следующий сезон кто-то заметил:

— Придется все-таки взять Викторова. Мы не можем обойтись без «героического тенора».

Сук сказал:

— К этому «героическому тенору» возьмите себе героического дирижера, а я с ним работать не буду.

В двадцатых годах в Москве появился Театр музыкальной драмы, и В.И. Сука спросили, что он думает по этому поводу. Ответ был такой:

— Когда расходуется муж с женой, то это — семейная драма. А когда расходуется оркестр с хором, — то «музыкальная драма».

Хайкин в течение десятилетий был дружен с Николаем Семеновичем Головановым, который, как известно, работал в Большом и в то же время руководил Симфоническим оркестром на радио. Со слов Бориса Эммануиловича я запомнил вот что.

Во время войны на радио не хватало музыкантов, которые играют на духовых. Голованов обратился к военным, и ему прислали несколько оркестрантов в погонах. Играли они вполне профессионально, но громко отбивали такт своими сапожищами. Это вполне нормально на параде, но совершенно невозможно во время звукозаписи. И Голованов нашел выход из положения — он приказал концертмейстеру раздобыть несколько пар валенок. Военных музыкантов переобули, и их топот стал неслышным.

Но возвращаюсь к книге Хайкина — в ней описано множество занятных происшествий.

«...Незадолго до войны в Театре им. К.С. Станиславского шла генеральная репетиция оперы “Станционный смотритель” В.Н. Крюкова. После репетиции В.И. Немирович-Данченко сказал молодым режиссерам: “Константин Сергеевич перед смертью не просил вас выпускать лошадей на сцену”. Кто-то наивно спросил: “А почему, Владимир Иванович?” Последовал ответ: “Надо же что-нибудь оставить и для цирка”».

Борис Эммануилович презабавно изложил историю создания одной из современных опер:

«Наиболее тесно я был связан с Ю.А. Шапориным в период постановки “Декабристов” в Театре им. С.М. Кирова. Постановка “Декабристов” осуществлялась одновременно в двух театрах — в Москве в Большом и в Ленинграде у нас (1953 год).

Я всячески доказывал, что не следует новую оперу ставить в двух театрах одновременно. Композитор должен создать свой окончательный вариант, работая с одной постановочной группой и с одним коллективом. А потом этот вариант станет обязательным для всех последующих постановок. Но меня не послушали. Пришлось работать параллельно с Москвой. Шапорин в ту пору жил уже в Москве, в Ленинград он только приезжал, правда, довольно часто. В опере многое трансформировалось, пока она ставилась, а иной раз и “превращалось в собственную противоположность”. Время было тревожное — только что отгремели бури по поводу “Ве-

ликой дружбы” Мурадели и “От всего сердца” Жуковского. С “Декабристами” было несколько спокойнее — тема не современная, а историческая, но все же, кто его знает? Обжегшись на молоке, дули на воду. Из Москвы все время поступал новый и новый материал. Поначалу у Шапорина в опере не участвовал Пестель. Пестель, как известно, руководил южной группой, а опера была о петербургском восстании. Но как же “Декабристы” без Пестеля? И вот в готовую уже оперу вошел Пестель. (Замечу в скобках, что Ю.А. Шапорин это очень искусно сделал; Пестеля прекрасно пели А.С. Пирогов, А.Ф. Кривченя, в Ленинграде отличный бас И.П. Яштугин.) Но Пестелем не ограничилось.

Ставил спектакль в Москве Н.П. Охлопков. Это изумительный режиссер, главное же то, что он обладал безграничной фантазией, и, почувствовав, что всякие присочинения к опере поощряются, он дал себе волю!

Прекрасное либретто “Декабристов” было сочинено Алексеем Николаевичем Толстым и Всеволодом Александровичем Рождественским. В.А. Рождественский на мое счастье жил в Ленинграде и держал меня в курсе всех трансформаций. Но этот выдающийся поэт и в высшей степени обаятельный человек просто хватался за голову от обилия директив и советов. Уже готовые драматургические узлы приходилось развязывать и связывать заново. У Шапорина слово “кошмар” не сходит с уст. Когда один из артистов к нему подошел с просьбой добавить в арии еще одну ноту, композитор ответил

вполне в “шапоринском” стиле: “Слушайте, вас тут три тысячи человек. Каждому еще по одной ноте, это я должен еще три тысячи нот сочинить?!” Мое положение было не из легких, но благодаря дружбе с Мелик-Пашаевым (он дирижировал в Большом. — М.А.) я все сведения получал от него непосредственно. Он тоже изрядно страдал от этого “стихийного творчества”, которое так противоречило его натуре.

Незадолго до премьеры обнаружилось, что в опере нет Пушкина, который был с декабристами близок. Пушкин появляется на сцене. Какое-то время он мелькает то у Рылеева, то на придворном балу. Но Пушкин статист, это не годится, надо ему что-то спеть. Нельзя ли сочинить для него какой-нибудь романс, на его же собственные слова? Но тут уже лезет на стенку Шапорин. Пушкин исчезает со сцены так же незаметно, как он появился. Разочарован статист, разочарован художник-гример, положивший на “Пушкина” немало сил. Имена персонажей то и дело менялись. Анненков, впоследствии ставший Шепиным-Ростовским, спрашивает у Пестеля: “Пестель! Но как вы здесь?” А А.Ф. Кривченя, выдающийся актер, простодушно отвечает: “Да я и сам не знаю, как я здесь” (это было на репетиции)».

Когда я это читаю, мне становится очень жалко, что Хайкин не внял совету моего отца и моему собственному и не написал книгу воспоминаний. Впрочем, в «Беседах о ремесле» есть и чисто мемуарные отрывки. Пожалуй, наиболее ценным из них является тот, где Борис Эммануилович повествует о Шостаковиче:

«...1941 год, октябрь. Мы встречаемся в столице, в гостинице “Москва”. Частые воздушные тревоги заставляют спускаться в подвал под громадное по тем временам здание гостиницы. Там мы встречаемся — Шостакович вместе с Ниной Васильевной и с двумя маленькими детьми. Сыро. Холодно. Сколько продлится тревога — абсолютно неизвестно. Шостакович ходит по подвалу беспокойными шагами и повторяет, ни к кому не обращаясь: “Братья Райт, братья Райт, что вы наделали, что вы наделали!”

...Как-то еще перед войной Дмитрий Дмитриевич рассказал: “Вы знаете, Л.Т. Атовмян мне порекомендовал очень полезную утреннюю гимнастику: рассыпать коробку спичек, а затем нагибаться за каждой спичкой, пока все их не соберешь. Попробуйте, это очень трудно, у меня не получается”. — “Почему?” — “Понимаете, в первый день я все сделал в точности, как мне сказал Атовмян. На второй день оказалось, что у меня очень мало времени, пришлось присесть на корточки и собрать все спички сразу. А на третий день я только успел рассыпать спички, как по телефону сообщили, что мне надо ехать по срочному делу. Я быстро оделся и, уходя, сказал няне: «Я там рассыпал спички, соберите, пожалуйста»”.

...1946 год. Мы встретились на даче, на Карельском перешейке. Вечером я должен был развести гостей по домам. На Карельском перешейке дороги еще не были реконструированы. Крутые спуски чередовались со столь же крутыми подъемами. Ма-

шина у меня была старая, довоенная, малоповоротливая. Рядом со мной села Галина Сергеевна Уланова, сзади — Д.Д. Шостакович и писатель А.Б. Мариенгоф. На одном особенно крутом спуске Мариенгоф наклонился ко мне и шепчет: “Вы чувствуете, кого вы везете? Вы понимаете, как сейчас могут кончиться две биографии?” (Нас было четверо. Но Мариенгоф говорил только о двух биографиях! Значит, мою и свою он совершенно правильно вывел за скобки.)

...С.С. Прокофьев рассказывал в 1948 году. После премьеры балета “Золушка” в одной из центральных газет появилась рецензия, написанная Д.Д. Шостаковичем. Прокофьев звонит Шостаковичу и благодарит за теплый отзыв. Шостакович отвечает: “Сергей Сергеевич, вы напрасно благодарите. Я не только хвалил. Я кое о чем отозвался неодобрительно, но редакция почему-то не поместила”.

И еще одна, на этот раз уж последняя цитата из книги «Беседы о дирижерском ремесле»:

«Я вспоминаю совершенно невероятный случай. Выход графини с приживалками в “Пиковой даме”. Одна из приживалок, очень старательная, пела “благодетельница наша”, пожирая глазами графиню, пятясь и мало заботясь о том, что у нее за спиной. Бац! И она оказалась в осветительской будке. В зале шум. Но меня поразило другое: с трудом выкарабкиваясь из осветительской будки, она все время продолжала петь! Я не уверен, что она пропустила хоть одну ноту в момент падения. С тех пор я не удивляюсь, когда вижу, что артисты хора в труд-

ных, порой совершенно неожиданных положениях продолжают петь — не формально, а как артисты-художники».

В этом абзаце отразились уважение и приязнь, которые Борис Эммануилович испытывал по отношению к своим товарищам по многотрудному театральному делу — к хористам, оркестрантам, статистам, костюмерам, гримерам — к тем из них, кто отдавал всего себя избранной профессии. И я могу засвидетельствовать, что они отвечали Хайкину взаимностью. Это в полной мере проявилось в день его похорон — почти все присутствующие на траурной церемонии единодушно оплакивали утрату, которую понес Большой театр.

Во время поминок ко мне подошел один из музыкантов и сказал:

— Нет, таких людей, как Борис Эммануилович, больше у нас не будет. Мы ведь все, когда за границу едем, везем туда жратву, чтобы деньги сэкономить... Назад тащим барахло... А ведь он всегда ездил с одним чемоданчиком — «дипломатом», а в нем несколько бутылок водки... И обратно он с этим же «дипломатом» — ничего с собой не везет...

Самое последнее письмо я получил от Хайкина в апреле 1977 года. Он писал:

«Поздравляю Тебя и Твою жену с Пасхой. Приходите к нам, пожалуйста, оба.

Когда я работал в Мариинке, Пасха была запрещена, и только шепотом при встрече друг с другом говорили: “Ха-Вэ! Вэ-Вэ!”. Но очень многие пели в Никольском соборе, который находился поблизости,

и за это уже попадало мне. Я, конечно, говорил, что ничего не знаю. У них (у певцов и певиц) был пароль: “На макаронную фабрику пойдешь?” Почему так, не знаю. Кстати, они сами к церковной службе относились неуважительно, видя в этом только возможность левого заработка, так что я получал упреки и с другой стороны — от настоятеля Никольского собора, с которым был в наилучших отношениях: “Артисты порой забывают, что находятся в храме Божиим”».

Борис Эммануилович с пониманием и полным сочувствием воспринимал мою религиозность и воцерковленность. В письмах своих он делится со мною мыслями о церковном пении, вспоминает забытые имена когда-то знаменитых регентов:

«А слышал ли ты о Николае Михайловиче Данилине, изумительном мастере хорового пения? Он много лет возглавлял Московское синодальное училище. Я с ним был в наилучших отношениях. Среди его учеников и Н.С. Голованов, и А.В. Александров (генерал, отец Бориса), и многие другие. Синодальный хор, это было нечто замечательное. <...>

Забыл еще одного своего наилучшего товарища — Георгия Александровича Дмитриевского. Мы с ним вместе учились, а затем он много лет возглавлял Ленинградскую капеллу. Он родом из Троице-Сергиева, и в анкете у него в этом отношении было не все благополучно. Было время — он приуныл, я его подбадривал. А потом настало другое время, и мы поменялись ролями».

В последней фразе речь идет о начале пятидесятых, когда по причине еврейского происхождения

Хайкин потерял должность главного дирижера Мариинского театра и принужден был переехать в Москву. Впоследствии несколько раз предпринимались усилия, дабы вернуть его на руководящую должность, но из этого так ничего и не вышло. В ЦК партии всякий раз решительно противились его выдвижению — дело портил все тот же пятый пункт в анкете. После очередной такой истории Борис Эммануилович объяснял своим приятелям:

— Им там в ЦК не подходит моя фамилия — Хайкин. Вот если бы вместо буквы «А» у меня была буква «У», они бы меня сразу утвердили.

Среди тех немногих людей, с которыми мой отец дружил в течение всей своей жизни, необходимо назвать имя актера Игоря Ильинского. О том, как состоялось их знакомство, Ардов в свое время писал:

«В суровом 19-м году существовала в Москве полудикая организация под названием “Студенческий клуб”. <...> При “клубе” стихийно возник драматический кружок, в котором с восторгом подвизалось человек двадцать молодежи. <...> Однажды на репетицию нашего кружка один из участников привел своего приятеля и отрекомендовал его нам следующими словами:

— Начинаящий артист Игорь Ильинский. Очень способный. Уже играл у Комиссаржевского в театре — и с большим успехом... <...> Я не был занят в репетиции нашего кружка, которую посетил Ильинский. И оказалось, что в пустом почти зрительном зале мы с ним сидим рядом. Признаться, я — по принципу “мы пахали” — гордился шибко психологическим этюдом, который разыгрывали на сцене мои со товарищи по кружку. А Ильинский очень скоро после начала репетиции наклонился ко мне во тьме зала и заговорил сдержанно, но крайне определенно:

— Что ж это? Подражание Художественному театру?.. А зачем? Надо искать свою дорожку...

Для меня эти слова были просто откровением. <...> Добавлю тут же: когда (через два года после описанного случая) Ильинский попал на службу во МХАТ, он сумел там прослужить всего две недели и подал заявление об уходе. Факт неслыханный для этого театра».

В своих мемуарах мой отец не указал причины, которая побудила Ильинского покинуть прославленную труппу. Но моя собственная память сохранила подробности той давней истории.

В те времена в Художественном служил приятель Ильинского — Аким Тамиров. А когда Игорь Владимирович поступил в этот театр, там должна была осуществляться постановка «Ревизора». Так вот Тамиров сказал ему:

— Мы с тобой оба небольшого роста, полноватые... Давай будем ходить вместе, разговаривать, жестикулировать: нас заметят и нам могут дать роли Бобчинского и Добчинского...

От этого предложения Ильинский пришел в ярость и немедленно покинул труппу, не желая находиться в стенах заведения, где актеры должны добиваться ролей такими унижительными способами...

Этот эпизод свидетельствует не только о том, что Игорь Владимирович обладал чувством собственного достоинства (а это качество, как правило, в актерах отсутствует), но и о том, что характер у него был своенравный. В день похорон нашего отца Ильинский сказал моему младшему брату Борису:

— Виктор был очень хорошим, очень добрым человеком. Мы с ним дружили более пятидесяти лет и ни разу не поссорились. Это же поразительно — за полвека ни разу со мной не поссориться...

Я полагаю, что Ильинский и Ардов сблизились в то время, когда Игорь Владимирович блистал на подмостках у Мейерхольда, а мой отец работал в этом театре в качестве администратора. Тут уместно вспомнить еще один весьма забавный и характерный эпизод, о котором Ардов упоминает в своих мемуарах:

«...И.В. Ильинский рассказал мне, что однажды во время ссор Мейерхольда с Таировым он, Ильинский, шел вместе с Мастером по Садовой в Москве. Они беседовали. И вдруг раздался выстрел: скорее всего, лопнула шина у проезжавшего автомобиля. Мейерхольд немедленно юркнул в арку ворот, затаскивая туда же Ильинского, и, только оказавшись в укрытии, со значительностью поднял палец. Затем Мастер огляделся (не наблюдает ли кто за ними?) и шепотом сообщил Ильинскому свое предположение:

— Таиров!.. Он нанял Ардова убить меня...»

В молодости Игорь Владимирович некоторое время жил в московском переулке, который назывался Ильинским. Отец вспоминал, как иногда, усевшись в пролетку «лихача», кто-нибудь из друзей артиста произносил:

— Извозчик, к Ильинскому!

И экипаж отправлялся по нужному адресу.

Ардов пронес восхищение актерским дарованием своего друга через долгие десятилетия. В

шестидесятых и семидесятых годах мой отец охладел к театральному искусству, но на Ильинского это ни в коей мере не распространялось — Ардов неизменно ходил на все его премьеры... Такое постоянство моего родителя объяснялось не только годами дружбы, но и тем, что Ильинский не был типичным актером — отличался умом и безукоризненным вкусом. Достаточно вспомнить имена авторов, произведения которых Игорь Владимирович читал с эстрады: Гоголь, Лев Толстой, Чехов, Зоценко...

Телевидение сохранило довольно много выступлений Ильинского, и теперь, четверть века спустя после смерти замечательного артиста, мы имеем возможность наслаждаться его искусством. На мой взгляд, среди этих записей есть одна особенная — та, где Игорь Владимирович читает «Старосветских помещиков».

Я не стану утомлять читателя рассуждениями о мастерстве Ильинского, а вспомню еще одно свидетельство своего отца: Игорь Владимирович признался ему в том, что он не мог читать «Старосветских помещиков» с того времени, как внезапно скончалась его первая жена — Т.И. Ильинская.

Ильинского всегда отличало сугубое внимание к тем текстам, что он выбирал для публичного исполнения. Помнится, я слушал, как он читает «Сказку о золотом петушке», и обратил внимание на такую пушкинскую строку — ее произносит царь в споре с «мудрецом»:

— И зачем тебе девица?

Так вот Ильинский делал ударение на слове «тебе» и сопровождал это жестом в сторону предполагаемого собеседника:

— И зачем ТЕБЕ девица?

Тем самым артист напоминал о немаловажном обстоятельстве, которое Пушкин сообщает читателям. В начале сказки о царе Дадоне говорится:

Вот он с просьбой о помощи
Обратился к мудрецу,
Звездочету и скопцу.

И далее:

Всех приветствует Дадон...
Вдруг в толпе увидел он,
В сарачинской шапке белой,
Весь как лебедь поседелый,
Старый друг его, скопец.

У Ильинского и моего отца был общий приятель — Валерий Трескин. По образованию этот человек был юристом, но всю жизнь прожил не в ладах с законом. Его арестовывали несколько раз, и уже на моей памяти — в семидесятых годах — он очередной раз угодил в тюрьму.

Ардов иногда вспоминал характерную историю, которая произошла в послевоенные годы. Трескин пригласил Ильинского и его жену на обед. Вечером того дня Игорь Владимирович должен был выступить на концерте, и он решил, что поедет туда прямо от Трескиных.

Обед благополучно завершился, началась непринужденная беседа, которая была прервана звонком в дверь. Супруга Трескина пошла открывать и вернулась в ужасном волнении.

— Валя, — сказала она мужу, — это из МГБ... Они сказали, что ждут...

Трескин побледнел и принялся успокаивать жену:

— Я уверен, это — недоразумение... Какая-то ошибка... Все разъяснится... Не волнуйся, пожалуйста...

И он стал собираться на Лубянку — уложил в портфель мыло, зубную щетку, бритвенный прибор... Потом он обнял жену, попрощался с гостями и покинул свою квартиру...

Можно себе представить, что в этой ситуации чувствовали Ильинский и его жена. Немедленно уйти — неудобно, продолжать разговор с хозяйкой — затруднительно... В такой неловкости прошло несколько минут...

И тут в комнату ворвался хозяин.

— Игорь! — кричал он. — Будь ты проклят! Что же ты не сказал, что у тебя концерт в клубе МГБ?! Это за тобой они прислали машину!.. Тебя они там ждут, а не меня!

И еще одну историю об Ильинском я запомнил со слов отца. Как известно, подлинно всенародная слава пришла к артисту после того, как на экраны вышел фильм Григория Александрова «Волга-Волга». Там Игорь Владимирович очень смешно сыграл роль провинциального начальника по фамилии Бывалов.

Однажды (дело было еще до войны) Ильинского пригласили выступить на приеме в Кремле. После концерта Сталин заговорил с тогдашним начальником кинематографа, высказывал ему какие-то пожелания. Игорь Владимирович стоял неподалеку и позволил себе реплику:

— Это очень интересно, что вы говорите, Иосиф Виссарионович...

Сталин взглянул на артиста с явным неудовольствием — он решил, что в разговор вмешивается какой-то мелкий чиновник киношного ведомства. Но тут он узнал Ильинского, разулыбался, протянул руку и сказал:

— А-а... Товарищ Бывалов!.. Рад с вами познакомиться. Вы — бюрократ, и я — бюрократ.

«НАМ ПЕСНЯ СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ»

Насколько я могу судить, дружба моего отца с Утесовым началась в 1927 году в Ленинграде, где Леонид Осипович в те времена жил постоянно и куда Ардов на несколько месяцев переехал из Москвы. С тех самых пор их приятельство никогда и ничем не омрачалось: оба принадлежали к артистической среде, оба были наделены чувством юмора и доброжелательством.

Утесов редко бывал на Ордынке, но они с отцом общались постоянно — на эстрадных премьерах, на различных совещаниях, в ВТО, в Доме работников искусств...

Сейчас невозможно себе представить, как знаменит и популярен был Утесов, начиная с тридцатых годов и вплоть до шестидесятых. Голос его то и дело звучал по радио, по стране расходились многие тысячи его пластинок, фильм «Веселые ребята» был одним из любимейших народом. По советским понятиям он был очень богат и щедро помогал нуждающимся, в первую очередь многочисленным родственникам, как своим собственным, так и со стороны жены — Елены Осиповны. Утесов всегда был окружен просителями, и это дало повод для забавной шутки. Кто-то из приятелей Леонида Осиповича заметил:

— Бывают разные коллекции. Лидия Русланова собирает картины, Николай Смирнов-Сокольский — книги, Владимир Хенкин — золотые часы... А Леонид Утесов коллекционирует евреев.

В застольных беседах на Ордынке имя Утесова мелькало частенько. Ардов рассказывал о таком, например, эпизоде. В письме, адресованном постановщику фильма «Веселые ребята» Григорию Александрову, Леонид Осипович позволил себе шутку: «Передайте привет половому мистикау Эйзенштейну». Ответ сего последнего не заставил себя ждать, великий режиссер написал: «Посылаю привет местечковому половому Утесову».

И еще одна новелла. Утесов был на гастролях в Сочи. Ему потребовалось получить денежный перевод, но свой паспорт он оставил в гостинице. И, конечно же, заведующая почтовым отделением выдать ему деньги отказалась. Артист попытался спасти положение:

— Я же Леонид Утесов, неужели вы меня не знаете?

— Гражданин, сказано вам: давайте паспорт...

И тут артист вспомнил известную историю, которая когда-то произошла с Энрико Карузо. Великий тенор пришел в один из банков в Америке тоже без документов. И поскольку его не узнали, он спел какую-то арию, что привело в восторг всех служащих и посетителей. После чего певцу беспрепятственно выдали деньги.

— Вы не верите, что я Леонид Утесов, тогда слушайте, — сказал артист и запел: — «Раскинулось море широко...»

— Гражданин, — перебила его заведующая, — если вы будете хулиганить, я милицию позову.

Но больше всего мой отец любил такой рассказ Утесова. Леонид Осипович ехал в одесском трамвае, было довольно много народа. И вдруг раздался ужасный крик:

— Ой, ограбили! Ой, убили! Ой, обокрали!

Это заголосила какая-то еврейка, у которой карманник вытащил кошелек.

— Ой, чтоб он подох, этот ворюга!.. Чтоб он провалился!.. Ой, обокрали! Ой, убили!.. Вот здесь он был — кошелек! И там целых три рубля! Ой, ограбили! Ой, обокрали!..

Утесову надоело это слушать, он подошел к кричавшей женщине и сказал:

— Вот вам три рубля, только, пожалуйста, замолчите.

Она взяла деньги и тут же перестала кричать. Трамвай продолжал свой путь, но через две остановки одесситка сама приблизилась к артисту и тихонько сказала:

— А почему вы мне не отдадите и кошелек тоже?

Повторяю, эту новеллу я слышал от моего отца. Но вот еще одна одесская история, которую я слышал из уст самого Леонида Осиповича. Он рассказывал:

— Я еще был совсем молодой, начинающий артист. И меня взяли в труппу в самой Одессе. Это был крошечный летний театр, но там играла будущая знаменитость — Владимир Хенкин. Мне дали маленькую роль, я играл лакея в какой-то немисли-

мой пьесе. Там надо было выйти на сцену, убирать со стола тарелки и при этом произносить текст. И вот первый спектакль, я стою за кулисами и страшно волнуюсь... В это время ко мне подходит Володька Хенкин и что-то нарочно говорит... А сам незаметно расстегивает мне ширинку на штанах и вытаскивает наружу нижнюю часть рубашки. И вот я в таком виде выхожу на сцену, начинаю собирать тарелки и говорить свой текст. В зале смех. Я продолжаю, очень доволен... А зрители смеются все сильнее... И тут уже я начинаю понимать: не по игре смех... Смотрю на себя и вижу, что из штанов торчит рубашка. Тогда я подхожу к краю сцены, привожу себя в порядок, застегиваю штаны и при этом говорю прямо в зал: «Хорошо, что здесь нет женщин». И тут — аплодисменты. Вот тогда старые одесситы сказали про меня: «С него таки будет толк».

Я могу засвидетельствовать: Утесов был необычайным рассказчиком — живым, веселым, талантливым... Помнится, в конце семидесятых годов я по какой-то надобности приехал в Дом творчества писателей в Переделкине. В это время там жил Леонид Осипович. Была весна, пригревало солнце... Старый артист сидел на балюстраде, его окружали несколько писателей, большинство из которых ему в дети годились. И Леонид Осипович, что называется, держал площадку — они все глядели ему в рот.

А еще я вспоминаю лето шестьдесят первого года. Я работал на радио, и меня послали взять у Утесова интервью — он тогда был на своей даче во Внукове. С делом мы быстро покончили, я убрал

диктофон, и у нас с Леонидом Осиповичем началась непринужденная беседа.

В те годы был весьма популярен эстонский певец Георг Отс, и я между прочим сообщил Утесову только что придуманную кем-то шутку: «Объявление в газете: “Георг Отс меняет имя на Юрий Уй”».

Это привело моего собеседника в восторг, он хохотал и звал свою жену:

— Лена! Ты слышишь? Лена! Георг Отс меняет имя на Юрий Уй!

А теперь несколько слов о даче, где происходила наша встреча. Когда дом только возводился, кто-то прикрепил к калитке дощечку с надписью, это была строчка знаменитейшего утесовского шлягера: «Нам песня строить и жить помогает».

В своем жанре Утесов был как бы вне конкуренции, но в Москве существовали и другие джаз-оркестры. Впрочем, в те времена слово «джаз» было крамольным, и эти музыкальные коллективы именовались «эстрадными». Одним из них руководил известный трубач Рознер, и с этим именем связана блистательная шутка Утесова. Некто задал ему вопрос:

— Леонид Осипович, а правду говорят, что Эдди Рознер — вторая труба мира?

— Рознер? Вторая труба? — переспрашивает артист. — Да, безусловно... Он — вторая труба.

— Ну а кто же — первая труба?

— Первая труба? — говорит Утесов. — Ну, их — миллион...



А. А. Ахматова. Фотография 1924 г.



Н. А. Ольшевская и В. Е. Ардов в молодости



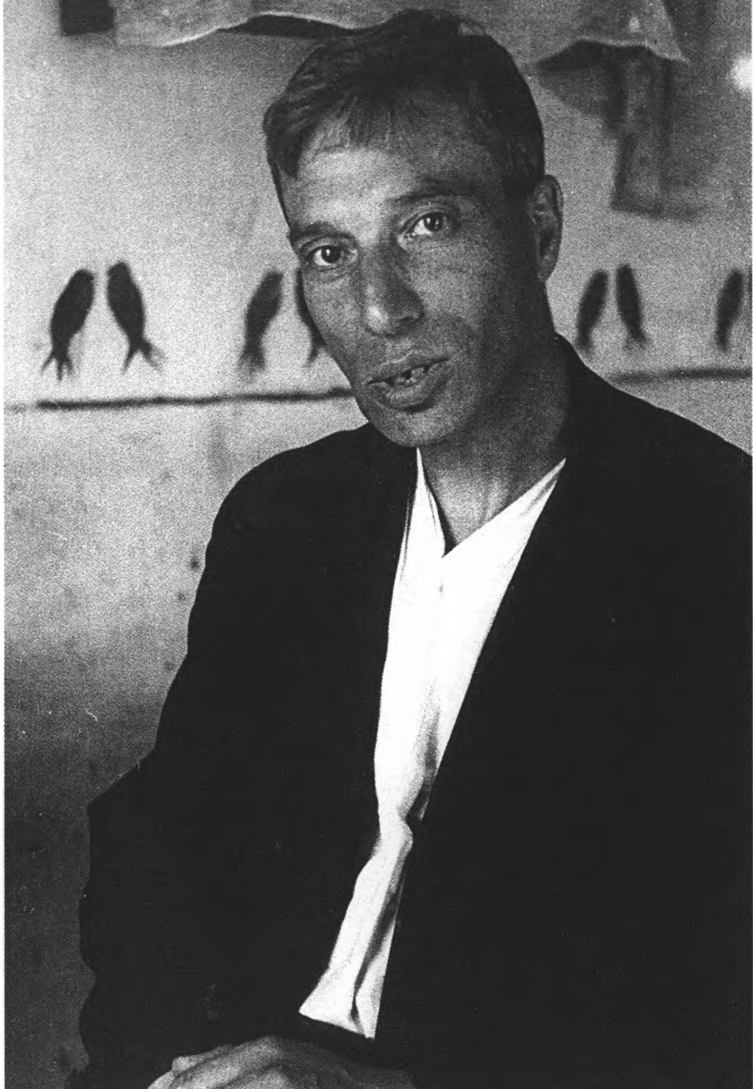
П. Ф. Нилин и К. И. Чуковский среди детей.
Фотография Г. Санько



В. Е. Ардов и И. В. Ильинский



Ю. К. Олеша возле писательского дома
в Лаврушинском переулке



Б. Л. Пастернак



А. Г. Габричевский и Г. Г. Нейгауз



В. Е. Ардов, Л. А. Русланова и Л. И. Утесов



Поэты = ЛАуреаты
МАРГАРИТА и ДАНТЭ Алигьеры



Рисунки В. Е. Ардова из юмористического семейного альбома



Л. В. Никулин и его жена Е. И. Рогожина



Б. Э. Хайкин



Э. Г. Герштейн





Семья Ардова-Ольшевой. Начало 50-х годов.
Фотография для журнала "Работница"



В. Е. Ардов и А. А. Ахматова



Н. А. Северцова



М. С. Петровых



А. А. Ахматова и М. В. Ардов. Декабрь 1965 г.



М. Д. Вольпин и Н. Р. Эрдман

Дорогой мой, спасибо
за письмо — оно тронуло
меня и напомнило Вас
и себя, какой я была
в мае.

Получили ли Вы мою
телеграмму, знаете ли
мои новости?

Я все еще не на
фронтах: там нет
воды, света и тепла.
И неизвестно когда все
это кончится. Была
(2 дня)
в Тернополях — много
стали ранеными.

Крепко целую Вас и
детей. Привет маме,
думаю об ее муженьке
Камышине. И пусть мне
напишет Ник Уланов
Ваша Анна.

Получила много писем от Арда

Открытка А. А. Ахматовой, адресованная Н. А. Ольшевой. 1944 г.



А. А. Ахматова. Фотография 1944 г.

Михаилу Вродову — стихи,
которые около четверти века
лежали на дне моей памяти —
чтобы для него вновь возник день,
когда они стали общим достоянием.

Анна Ахматова

19 августа
1964

Ромарто

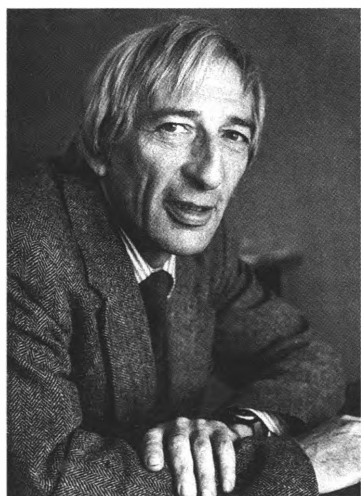
Автограф А. А. Ахматовой



И. А. Бродский



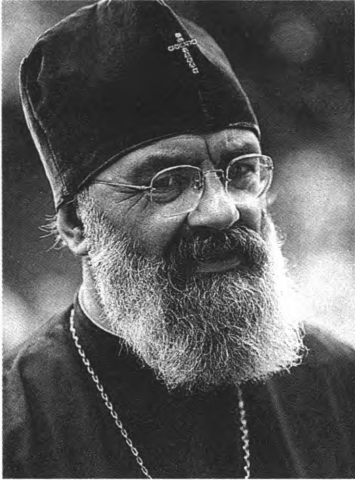
А. Г. Найман



Е. Б. Чуковский



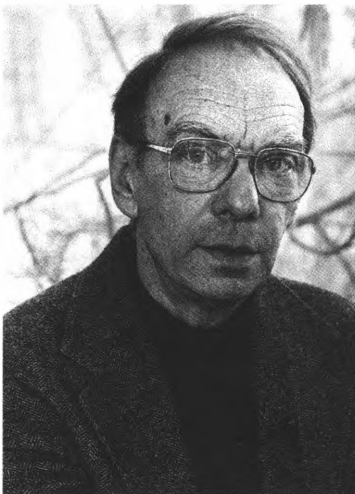
Д. Д. Шостакович. Рисунок
Максима Шостаковича



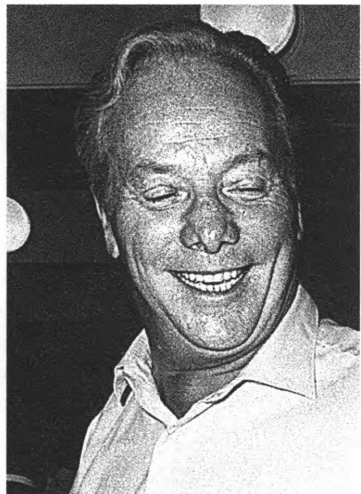
Архиепископ Киприан
(Зернов)



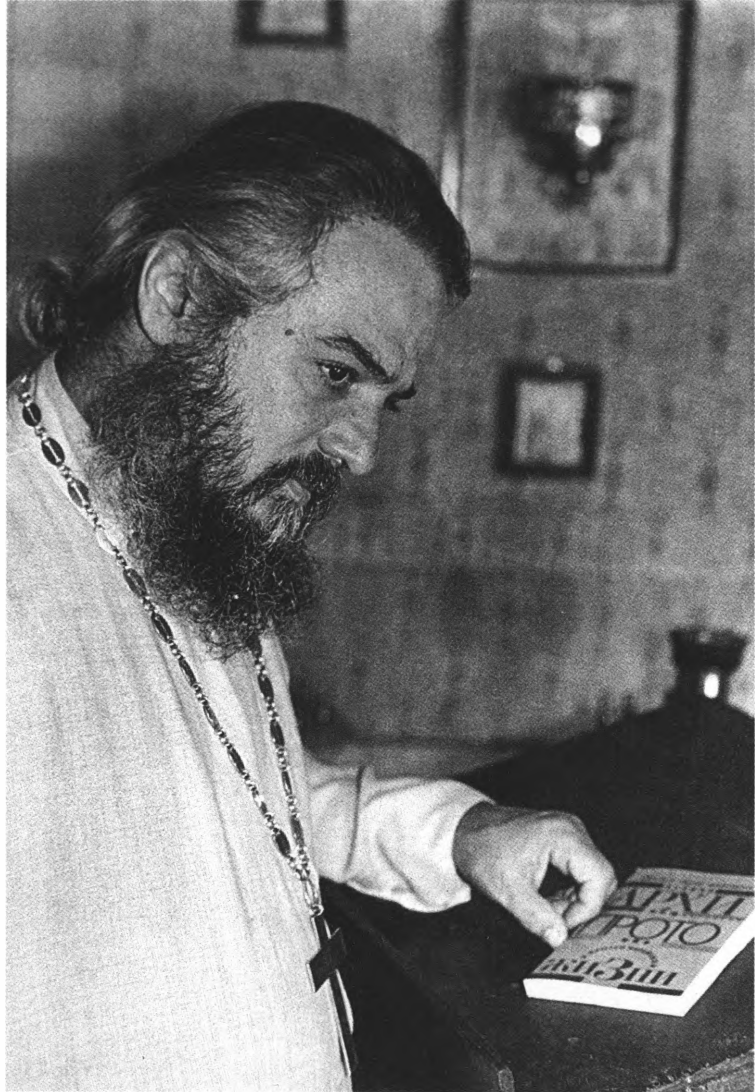
Протоиерей Гузняков



А. В. Баталов



Майк Туми



Протоиерей Михаил Ардов

Из числа великого множества людей, которых мне довелось знать в течение моей жизни, мало кого я вспоминаю так часто, как столяра Семена Марковича. Когда я познакомился с ним, ему было уже за семьдесят, но он отличался отменным здоровьем и усердно работал — реставрировал старинную мебель. Сначала его пригласил к себе мой старший брат Алексей Баталов, а от него Семен Маркович перешел ко мне.

Родом наш столяр был с Украины, из местечка под названием, если не ошибаюсь, Шепетовка. Вырос он в многодетной еврейской семье. Его отец был чем-то вроде местного цадика, и фамилию этот человек носил соответствующую — Хусид. Кстати сказать, именно своему отцу Семен Маркович был обязан тем, что в нем начисто отсутствовала всякая религиозность. До смерти своей он не мог забыть жуткого происшествия, которое случилось в их семье. Отец стоял на молитве, а в это время совсем маленький ребенок опрокинул на себя ведро с кипящей водой. Можно себе представить, что тут началось в их нищенской хибарке — как закричала мать, как заголосили прочие дети... Но отец даже головы не повернул, он продолжал свою молитву. И

Семен Маркович признавался мне, что с той самой поры обрел стойкое неприятие какой бы то ни было религии.

Впрочем, раз в год он посещал синагогу, чтобы получить там мацу. Но она была ему нужна исключительно для кулинарных целей. И что было особенно забавно, свою мацу старик получал вне очереди — он был участником войны, а такие люди в советские времена пользовались известными привилегиями даже в синагоге.

Я хорошо помню, как познакомился с Семеном Марковичем. Это было в начале семидесятых годов. В те дни одна из комнат моего старшего брата была превращена в столярную мастерскую, а старик хозяйничал там со своими стамесками, рубанками, пахучим клеем... Как-то я зашел к брату, мы с ним обменивались новостями, шутили... Столяр смеялся вместе с нами, а потом сказал мне:

— Вчера я был в гостях у моего племянника. Он — такой же балагур, как вы... Только он — заика.

Семен Маркович был истинный мудрец, он знал о людях и о жизни решительно все. Наблюдения у него бывали замечательные, он говорил:

— Вот они выкинули лозунг «Больше товаров народу!» — сразу же из магазинов все исчезло.

На эту же тему у него был такой рассказ:

— Я помню, у нас в Шепетовке был один «нэпманщик». И вот году в двадцать девятом он нам говорил: «Пока еще советская торговля не вполне развилась... Подождите еще немного времени, и в ихних магазинах каждый продавец будет обслуживать сто

покупателей в минуту». Мы его спрашиваем: «Как же это может быть?» А он нам отвечает: «Очень просто. Продавец будет всем говорить: “Этого — нет!.. Этого — нет!.. Этого — нет!..”» И откуда он мог знать такое в тысяча девятьсот двадцать девятом году?

И еще он говорил:

— У моего племянника есть сын Петькэ... Он уже вырос, уже большой... И вот он хочет воровать... Так мальчик хочет воровать, но он не может, не умеет...

Семен Маркович очень любил свою жену, прожил с ней более полувека. Но она заболела раком и вскоре умерла. Старик перенес этот удар, хотя очень грустил о своей верной подруге.

Несколько лет спустя он сам скончался от злокачественной опухоли. Смертельную болезнь свою он переносил с необыкновенным мужеством. Достаточно сказать, что не от него скрывали страшный диагноз, а он не сообщал об этом своим близким, дабы их не расстраивать...

Но вернемся к его вдовству. Через некоторое время после смерти жены он стал подумывать о новом браке. С этой целью его время от времени знакомили с немолодыми еврейскими женщинами. Однако же не нашлось ни одной, которая бы его вполне устроила.

Как-то мы спросили его:

— Отчего вы хотите жениться именно на еврейке? Быть может, стоит поискать среди русских?

Но старик категорически отверг такой вариант:

— Нет, на русской никак нельзя жениться.

— Почему?

— Русская баба когда-нибудь обязательно напнется и будет плясать под фонарем.

Семен Маркович обожал своего взрослого сына. Тот был вполне благополучным инженером, жил с женою неподалеку от Москвы. Но вот сноху свою старик терпеть не мог, по-видимому из чувства ревности. Сына он ласково называл «Мусенькэ», а ее презрительно — «Манькэ».

В самом начале нашего знакомства я осведомился у Семена Марковича, есть ли у него внуки.

— У «Манькэ» — дети? — переспросил он. — Какие дети? Какое рожать? Хорошо, что она еще срать умеет!

Он был столяром высокого класса, но притом ему было свойственно разумное, уважительное отношение к любому труду. Он говорил:

— Вы мне платите деньги, и я буду делать все, что вы мне скажете. Хотите — буду мыть пол, хотите — стирать белье...

Когда мы с женой получили новую квартиру, Семен Маркович помогал нам, так сказать, осваивать ее. Он ликвидировал недоделки, подгонял оконные рамы и т. д. Когда он взялся за входную дверь, обнаружилось, что шурупы, на которых держатся петли, не вкручены, а забиты — как гвозди.

— Да, — сказал Семен Маркович, — отвертки у них были плохие. Молотки у них были хорошие.

Я, бывало, говорил ему:

— Надо решить, какой высоты делать этот стеллаж... — Или: — Надо подумать, как крепить полки в стенном шкафу...

И всякий раз старик отвечал:

— Нет, думать не будем. Работа покажет...

И вот с течением лет я все более и более ценю этот принцип. Я уже давно руководствуюсь им в своих делах, даже в писательском ремесле. Если есть у тебя какой-то навык — «работа покажет», она все «показывает». Ведь «безбожник» Семен Маркович по-своему сформулировал тот самый принцип, которому научает нас Святое Евангелие (Мтф. 6: 34): «ДОВЛЕЕТ ДНЕВИ ЗЛОБА ЕГО».

НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА И НАТАШКА

Наталья Алексеевна Северцова была необыкновенным человеком. Самым существенным ее качеством был талант. Талант во всем, что бы она ни делала — писала ли картинки, составляла ли композиции из корней, стряпала ли, накрывала ли на стол, обставляла ли комнаты или устраивала театрализованные игры. Она, ее необычайная одаренность, — вот что было душою дома, который привлекал столь многих и не был похож ни на один другой дом в мире.

Северцовы — старинная дворянская фамилия, имение их было в Воронежской губернии. Наталья Алексеевна иногда рассказывала о своем деде — Николае Алексеевиче Северцове, он был известный зоолог и путешественник, исследователь Средней Азии. Там он попал в плен, и его держали несколько лет, как мне помнится, в Коканде. Еще более знаменитым был ее отец — биолог, академик Алексей Николаевич Северцов.

Я запомнил некоторые рассказы Натальи Алексеевны о жизни в имении. Она довольно часто говорила о своей бабке — вдове Н.А. Северцова. Хозяйство у них было образцовое, в частности, весь скот был английской породы. И когда господам требова-

лось к столу мясо, то давали знать в деревню, оттуда приводили беспородного теленка, а взамен крестьянам давали породистого... Это длилось не один десяток лет, и в конце концов весь скот в округе стал образцовым...

За бабушкой Натальи Алексеевны числится и подвиг в духе Рауля Валленберга — она спасла от погрома все еврейское население городка под названием Бобров. (В это вполне можно поверить, поскольку словарь Брокгауза сообщает, что в 1891 году там числилось 66 евреев.) Наталья Алексеевна вспоминала, как всех их разместили в каком-то громадном амбаре, кормили досыта, а когда опасность миновала, они вернулись в свой город.

Осенью семнадцатого года имение Северцовых разделило общую участь: его разграбили и спалили. Господа в это время отсутствовали — Алексей Николаевич был профессором Московского университета, и в сентябре их семья, как обычно, возвратилась на городскую квартиру. Тогда же, в октябре семнадцатого, возле самого их дома, на Большой Никитской погиб от шальной пули любимый брат Натальи Алексеевны Николай.

Еще раз побывать в имении ей пришлось в начале двадцатых годов, она поехала туда вместе с мужем. От барского дома остался только флигель, там они и поселились. Крестьяне отнеслись к ним очень хорошо, и кто-то сообщил Наталье Алексеевне, что до сих пор жив ее попугай, которого в семнадцатом году оставили в имении. Птицу через некоторое время доставили, но она оказалась в ужа-

сающем состоянии — без глаза и без изрядной части оперения. К тому же попугай освоил нецензурную ругань. Он довольно долго прожил у какого-то сторожа, который каждый вечер пил самогон и ругался на чем свет стоит. В результате птица научилась произносить длиннейшие матерные монологи, которые всякий раз оканчивались такими словами:

— О-хо-хо-х... Ну, ни хера...

Близость нашей семьи с Габричевскими — коктейбельского происхождения. Первым в их дом попал мой старший брат Алексей Баталов, а уже за ним — наша мать. А моя тесная дружба с Натальей Алексеевной и Александром Георгиевичем началась в августе 1962 года, когда мы с братом приехали в Крым.

Александр Георгиевич и Наталья Алексеевна впервые прибыли в Коктебель летом 1924 года, и с тех самых пор вся их жизнь была связана с этим местом. О Максе Волошине, его гостях и его доме написаны сотни страниц, и нет нужды еще раз повествовать об этом. Но насколько я могу судить, Наталья Алексеевна особенно пришлась там ко двору, ибо кроме всех прочих своих талантов она обладала и незаурядным актерским даром.

Один из близких ей людей — искусствовед Ростислав Борисович Климов — написал об этом в своей статье «Живопись Наталии Северцовой» (сб. «Александр Георгиевич Габричевский». М., 1992): «Персонаж, блестяще воспроизведенный в устном рассказе, допустим, неповоротливый коктейбельский аптекарь, делающий пилюли, — вызывал гоме-

рический хохот. Вызывал дважды — в процессе “слушания” и потом, при вполне деловом посещении аптеки. Этих историй было множество, они возникали непреднамеренно, по любому поводу и были чудом мимического, актерского, литературного искусства (в том числе и искусства звукоподражания). И все они были частью и проявлением необычайно интенсивной внутренней жизни, отблесками, рожденными ею и озарявшими все вокруг».

Мне вспоминается номер, который можно было бы назвать «Кармен из Одессы»: Наталья Алексеевна с характерными интонациями и жестами распевала:

— Любoв, как бабoцкэ пархатая,
Она пархает вкрут мэнэ..
Меня нэ любишь, ну так что же?
Так полюблю так-таки я тэбэ!
Ха-ха!..

И еще одна история, которую Наталья Алексеевна рассказывала и попутно изображала. В их московской квартире на Никитской был чинный ужин, принимали Ивана Владиславовича Жолтовского и его супругу Ольгу Федоровну. Эта дама попросила хозяина передать ей сардины. Александр Георгиевич взял со стола небольшую тарелку, на которой стояла консервная банка с рыбками, и протянул ее гостье. Но движение это было слишком резким, а потому банка со всем содержимым соскользнула прямо в глубокий вырез платья Ольги Федоровны... Далее следовала немая сцена.

Я сблизился с Габричевскими в сравнительно благополучные, самые последние годы их жизни. Но, увы, по большей части она прошла вовсе не безмятежно. И я имею в виду не только аресты и ссылки Александра Георгиевича, но и те времена, когда они с Натальей Алексеевной расходились, да и послевоенные годы, когда он сильно пил. Я вспоминаю, как мой брат Алексей говорил:

— С дядей Сашей иногда бывает трудно разговаривать. Если он пьяный, то начинает путать языки — говорит и по-французски, и по-итальянски...

Александр Георгиевич Габричевский смолоду обучался живописи, и она стала его увлечением на долгие годы. Но в те времена, когда я подружился с их семейством, он уже не рисовал и не писал маслом. Зато этим делом занялась Наталья Алексеевна. О ее живописи замечательно написал Р.Б. Климов, в той статье, которую я уже цитировал.

Насколько я могу судить, начинала Наталья Алексеевна с чисто декоративных вещей: она расписывала столы, подносы и т. д., а в конце жизни перешла на портреты и жанровые сценки...

Работала Наталья Алексеевна с увлечением и необычайным усердием. Надо сказать, Александр Георгиевич относился к ее творчеству с интересом и одобрением, но хвалил очень редко. Вот типичная сценка, относящаяся к шестидесятым годам.

Наталья Алексеевна пишет маслом очередную картину. Александр Георгиевич подходит, становится сзади нее и некоторое время молча наблюда-

ет за работой. Потом он тростью указывает на какое-то место и произносит:

— Вот здесь криво...

Наталья Алексеевна пытается исправить свой промах. Александр Георгиевич молча наблюдает за ней, а затем говорит:

— Все равно криво...

— Возьми кисть и сам поправь, — предлагает Наталья Алексеевна.

Он отрицательно качает головой и удаляется.

6 января далекого 1925 года Александр Георгиевич писал в Коктебель Волошиным:

«Дорогой Макс и Маруся!

Только что получил Ваше второе письмо, и ужасно стыдно, что и на первое не успели ответить. Но мы действительно не успели, ибо в этом году нам выпала тяжелая обязанность устроить встречу Нового года у нас. Конечно, все хлопоты легли на Наташу, и она до сих пор чуть жива: превратилась в скелет, кашляет и никак не может выспаться. Мы, хозяева, от торжества получили весьма мало радостей: Наташа всю ночь что-то подавала и ухаживала за пострадавшими, а я все время переживал какие-то ответственности и играл на рояле».

В течение всей жизни у Натальи Алексеевны были, так сказать, две ипостаси. С одной стороны, она дочь академика Н.А. Северцова и жена профессора А.Г. Габричевского, хозяйка гостеприимного дома... А с другой — горничная, кото-

рая в этом доме убирает, да и кухарка, которая готовит для бесчисленных гостей изысканные обеды и ужины.

Сама Наталья Алексеевна прекрасно сознавала эту свою раздвоенность и часто говорила о наличии в себе двух существ — «барыни Натальи Алексеевны» и «прислуги Наташки». В самый последний год ее жизни, будучи прикованной к постели, она писала мне из Коктебеля в Москву:

«Ну что мне делать с Наталией Алексеевной? Ума не приложу. Наташке запретили ее обслуживать. Нат. Ал. уже просто придраться не к чему».

Именно в те дни она проявила еще один из своих бесчисленных талантов — стала писать воспоминания, работу над которыми ей уже не суждено было завершить. Но там есть удивительно интересные и мастерски написанные страницы.

Надобно заметить, что и стихи она писала вполне профессионально. У меня хранится ее подарок — тоненькая книжечка, изданная в 1934 году, «Мой Коктебель» (свое авторство Наталья Алексеевна скрыла под псевдонимом «Матти»). Сборник открывается таким четверостишием:

В те дни, когда свистит метель
И треплет крыш седую гриву,
Уйди мечтою в Коктебель
К прозрачно-синему заливу.

Ах, как она ненавидела темноту и морозную московскую зиму! Как она ждала первых признаков весны, когда можно было готовиться к отъезду в

Коктебель... Ведь там надо быть уже в апреле, чтобы не пропустить цветение горлицев, а потом пионов, а вслед за ними и тюльпанов, и маков...

Весною 1966 года мы с ней приехали в Коктебель, я помогал ей подготовить дом к прибытию Александра Георгиевича. Там вдвоем мы встретили и День Светлого Христова Воскресения. В память об этом событии Наталья Алексеевна подарила мне свою картину, на которой изображен пасхальный стол — кулич, крашеные яйца, зелень, окорок, бутылки и бутылки...

Только познакомившись с Натальей Алексеевной, я понял, что кулинария — истинное искусство. А она им владела в совершенстве. Летом 1968 года Наталья Алексеевна призывала меня приехать в Коктебель, и в письме есть такие строки: «Сегодня грущу особенно, что тебя нет. В русскую печку полчаса назад втиснут окорочок молодой свинки. Я его солила два дня, потом он стекал на ветру, потом закатан в тесто. И вот мы волнуемся и ждем... А еще, чтобы не пропадало место, молодой барашек, рис, абрикосы, яблоки, лук, чеснок, мята, петрушка, кинза, толченые шкурки апельсина — чуть-чуть. Помидоры и персики».

Помнится, она произносила такую фразу:

— Я ненавижу мужиков, которым все равно, что есть. Значит, им все равно, с какой бабой спать.

ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕЛЕЗЕНКИ

Олега Стукалова я помню с первых послевоенных лет. Тогда, как, впрочем, и в более поздние годы, он был известен как Олег Погодин. Путаница происходила потому, что он был сыном знаменитейшего советского драматурга Николая Погодина, подлинная фамилия которого была именно Стукалов. И вот когда сын выступил на том же поприще, что и отец, он отверг псевдоним и воспользовался родной, настоящей фамилией.

После войны я был еще мальчишкой, учеником начальных классов, а Олег — взрослым юношей, приятелем моего старшего брата — Алексея Баталова. В те времена имя младшего Погодина было окружено романтическим ореолом. У него был роман с молодой и красивой замужней женщиной, женою какого-то генерала с Лубянки. Рассказывали, что она вышла замуж без любви, дабы вызволить из Гулага своего осужденного отца. А финал у этой истории был весьма печальный — дама покончила с собою и в предсмертном письме призвала к тому же своего возлюбленного. И у Олега действительно была попытка самоубийства — он стрелялся. Но, по счастью, пуля не попала в сердце, а повредила селезенку, и врачам пришлось этот орган удалить.

(По прошествии многих лет над последним обстоятельством мы даже подтрунивали. Говорили, что Олег Стукалов имел больше, нежели Антон Чехов, оснований подписывать свои опусы псевдонимом «Человек без селезенки».)

В те времена, когда Олег приходил на Ордынку к моему старшему брату, он был худощав, несколько сутул, застенчив, близорук, слегка заикался, но при всем том в нем чувствовались и ум, и обаяние.

Моя собственная дружба со Стукаловым началась в 1962 году. Мы с братом Алексеем приехали в Коктебель, где в это время жил Олег — он был женат на Ольге Сергеевне Северцовой — воспитаннице Александра Георгиевича Габричевского и его жены Натальи Алексеевны Северцовой.

В начале сентября в Коктебель пришла телеграмма из Москвы, в которой сообщалось, что Николай Федорович Погодин находится при смерти. Когда депешу принесли, Олег отсутствовал — куда-то уехал на своей машине. И у Габричевских решали: кому надлежит сообщить Стукалову подобную весть. Сделать это вызвался Александр Александрович Румнев.

Я помню, как открылись ворота, и Олег въехал на машине во двор. В этот момент к нему приблизился Румнев. Они уселись на скамейку, Александр Александрович сказал Стукалову несколько слов и подал ему телеграмму. Олег взглянул на нее, помрачнел, молча вынул сигарету и закурил... Тягостная пауза длилась минуты две, после чего он поднялся со скамейки и произнес:

— Допился старый х...

А потом начались хлопоты, необходимо было достать для Олега билет на самолет, чтобы лететь в Москву, а это в те времена было совсем непросто. Но тут кому-то пришла в голову светлая идея: привлечь к этому делу Юрия Борисовича Левитана — эта знаменитость в те дни находилась в Доме творчества Литфонда.

И вот писатели под руки ввели легендарного диктора на коктебельскую почту. Мне в тот момент вспомнился Гоголь, то место, где нечистая сила среди ночи приводит в церковь Вия... Казалось, что сейчас Левитан скажет «подземным голосом»: «Разомкните мне губы!»

Между тем телефонистка набрала номер начальника аэропорта в Симферополе... Диктор взял трубку, и все мы услышали тот самый голос, который когда-то вещал: «Приказ Верховного Главнокомандующего...» Он сказал:

— Говорит Левитан... Вы меня узнаете?..

Дело было улажено в две минуты, и Олег улетел к умирающему отцу.

Стукалов был одаренным литератором. К сожалению, пьесы его теперь забылись, но каждую отличал мастерски написанный диалог. У Олега было очень чуткое ухо, он умел уловить в той шелухе, которую представляет собою обыденная речь, истинные перлы. Я до сих пор помню, как он повторял реплику какой-то бабы, которая говорила про беззаботную жизнь своих соседей:

— Нажрутса курей — и «ха-ха-ха-ха!».

В доме Габричевских иногда появлялся летчик-испытатель Г-е, у него тоже была дача в Коктебеле. Я вспоминаю, что Олег записал два высказывания этого человека.

— Не понимаю, — говорил Г-е, — как это можно — прочесть книжку и потом об ней думать. Чего тут думать? Мне, например, надо завтра и ехать в Феодосию, и подвязывать виноград. Вот я и думаю: что мне делать сначала, а что — потом...

И еще:

— Не понимаю, когда говорят: красивое море, красивые горы... Что тут красивого?.. Вот когда едешь по шоссейной дороге, а фонари стоят ровно-равно, в линию... Вот это — красиво!

Сближение и дружба со Стукаловым не прошли для меня даром, я тогда подпал под его влияние. Мне тоже нравилось играть словами, а потому я решил, что смогу, как и он, сочинять пьесы для театра. И я действительно написал целых две. (Слава Тебе Господи, сцены они не увидели.)

Мои, как и стукаловские, пьесы были написаны в рутинном мхатовском ключе, были донельзя реалистичны. И это заметил Александр Георгиевич Габричевский, он-то понимал, что подобная драматургия давным-давно вышла из моды. Я помню, как после прочтения одного из моих тогдашних опусов он сказал:

— Непонятно, что делать с вашими пьесами...

— Что значит с «вашими»? — спросил я.

— Ну, с твоими и с Олега Николаевича... Непонятно.

После этого разговора пьес я больше не писал.

Стукалов был человеком сердечным. Но по причине его застенчивости и некоторой невнятности речи не все это могли понять. Наталья Алексеевна Северцова, в чьей семье он прожил лет двадцать, это чувствовала. Она мне говорила:

— В Олеге есть нежность.

Он очень любил выпить. Но это была не просто страсть к алкоголю, он почему-то всегда стремился пить тайком, скрытно. Даже если было общее застолье, с большим количеством спиртного, Олег норовил отвести тебя в сторону и выпить сепаратно.

Весной шестьдесят шестого года в кокетбельском доме мы жили втроем — Наталья Алексеевна, Стукалов и я. Хозяйка наша была отнюдь не врагом бутылки, но Олег опять-таки предпочитал пить втайне от нее.

Я вспоминаю такую сцену. Наталья Алексеевна собирается куда-то уходить, а у нас уже есть в запасе поллитровка. Вот скрипнула калитка — хозяйка удалилась. Олег появляется на пороге своей комнаты, озабоченно смотрит ей вслед, и я слышу его команду:

— Стибри-ка луку!

Честно говоря, он произнес другой глагол, созвучный не реке Тибру, а городу Пизе.

У моего приятеля Олега Стукалова, мужа Ольги Северцовой, в шестидесятых годах был автомобиль — серая «Волга». Наличие этой машины предопределило появление в доме Габричевских весьма занятого молодого человека — шофера по имени Тихон Иванович Касаткин.

Стукалов познакомился с ним в день приобретения своей «Волги», тот стоял возле автомобильного магазина среди прочих водителей, предлагающих свои услуги покупателям. Тихон Иванович осмотрел машину, сел за руль и повез хозяина на дачу в Переделкино. Они с Олегом понравились друг другу, и Тихон Иванович взялся постоянно следить за состоянием этого автомобиля.

Тихон Иванович был из тульских мужиков — высокого роста, щекастый и лысоватый. Голос у него был низкий и с хрипотцой, говорил он напевно, с весьма характерными интонациями, да к тому же то и дело прибегал к «ненормативной лексике».

Основным местом его работы было авиационное министерство, Тихон Иванович возил какого-то тамошнего начальника, про которого, в частности, говорил:

— Такой, понимаешь, человек — заместитель министра... И такое, понимаешь, у него горе — теща на ходу ссытся.

Тихон Иванович показывал нам фотографию, где они были сняты вдвоем. И если бы на этот снимок взглянул кто-нибудь совсем посторонний, то он бы затруднился определить, кто — шофер, а кто — заместитель министра.

Почти все истории Тихона Ивановича были в той или иной мере драматичны. Он, например, говорил:

— У нас в министерстве кассир, понимаешь, семьдесят три года.. Овдовел, да и женился на сорокалетней, понимаешь, бабе.. Мы ему говорим: «Петрович, как же ты справляешься?» А он нам отвечает: «Пусть струны порваны, аккорд, понимаешь, еще рыдает...»

Или такое:

— У меня в квартире сосед, летчик, понимаешь, испытатель... Тут приходит пьяный, на ногах не стоит... В комнату к себе зашел, так и повалился на застеленную кровать... И все отверстия у него открылись... Утром жена взяла покрывало, одеяло, подушку — все прямо на помойку... А потом и говорит ему: «Ты — подлец неисправимый...» И ушла. Так он теперь и живет один... «Ты, — говорит, — подлец неисправимый»...

Тихон Иванович был мужик неглупый и с хитрецей. Меня он называл Мишей, композитора Н.Н. Сидельникова — Колей, а Стукалова, как хозяина, непременно — Олег Николаевич.

Помню, подъехали мы на машине к сельскому магазину. Тихон Иванович был за рулем, а в непос-

редственной близости от него какой-то местный парень усаживался на велосипед и в то же время засовывал в карман только что купленную бутылку водки. Тихон Иванович повернулся к нему и своим хриплым голосом громко произнес:

— Опять пьянствуешь?

Малый вздрогнул и чуть не выронил свою бутылку.

Как-то теплым ноябрьским днем мы гуляли по пустынному Коктебелю. Вышли на балюстраду у Дома писателей и увидели сидящую на скамейке пару. Это были старичок и старушка — седенькие и чистенькие, как белые мышки. Они любовались морским пейзажем и тихонько переговаривались. Увидев их, Тихон Иванович умилился и сказал:

— Вот дожили, понимаешь, до глубокой старости... А теперь сидят и трандят...

Весьма живую реакцию вызвала у него большая картина Н.А. Северцовой, где изображены сидящие за столом собутыльники. Впервые взглянув на нее, Тихон Иванович не без зависти произнес:

— Хорошо сидят... Никто никому не грубит.

Это было сказано настолько точно, что за этой картиной так и закрепилось название — «Никто никому не грубит».

Габричевские Тихона Ивановича очень любили. А он в особенности уважал Александра Георгиевича, только не умел правильно произносить его фамилию, говорил — «профессор Горбачевский». И была у Тихона Ивановича мечта — пригласить Наталью Алексеевну с мужем к себе в гости. В конце

концов это осуществилось: Габричевские, Олег Стукалов, Ольга Северцова и автор этих строк побывали у него. Мы познакомились с его женой, дочкой, зятем, и нас там отменно угостили. Тихон Иванович радовался как ребенок...

В начале 1968 года Александр Георгиевич заболел воспалением легких. Врачи были настроены мрачно: у больного была очень высокая температура, он то и дело впадал в забытие... И вот я помню, как-то днем в квартиру Габричевских неожиданно-негаданно зашел Тихон Иванович. Он был несколько возбужден, судя по всему, распил с кем-то бутылочку. И, конечно же, он пожелал видеть «профессора Горбачевского». Его пытались остановить, но он решительно прошел в комнату, где лежал больной, и стал его подбадривать на свой манер — несколько раз повторил такую фразу:

— Александр Георгич, воздержись умирать!..

Это было смешно и невероятно трогательно. У меня и сейчас на глазах слезы, я так и слышу его хриловатый басок:

— Александр Георгич, воздержись умирать!

В доме А.Г. Габричевского и Н.А. Северцовой мне довелось общаться с интереснейшими людьми. Среди них были личности и знаменитые, и вовсе не известные, но все они в той или иной мере принадлежали к вымиравшему именно в те времена племени подлинных русских интеллигентов.

Именно таким человеком была подруга Натальи Алексеевны — Валентина Абрамовна Иоффе, с которой у меня возникло не только близкое знакомство, но и дружба, продолжавшаяся до конца ее дней. Нашему с нею сближению способствовало то самое «вымирание», о котором я только что упомянул.

В конце шестидесятых годов я много времени проводил в небольшом сельце Акиншине, оно расположено между Владимиром и Нижним Новгородом. Летом 1973 года мы с женой пригласили туда Валентину Абрамовну, и она прожила у нас недели две. А в начале сентября мы получили от нее письмо, где, в частности, говорилось:

«Акиншино я вспоминаю с нежностью, мне было очень хорошо у Вас. Все было прекрасно — и лес, и грибы, и речка, а главное, вы оба, по-настоящему близкие люди, которых уже почти не осталось среди моих современников, не говоря уже о молодых».

Мать Валентины Абрамовны была дворянкою. Она вспоминала, как во времена ее детства к ним на петербургскую квартиру зимою прибывали подводы из имения бабушки и дедушки, присылалось огромное количество битой птицы — индюшки, гуси, куры. И родители бывали в затруднении — как распорядиться этими изобильными дарами.

Отец Валентины Абрамовны — академик Абрам Федорович Иоффе, личность весьма и весьма известная. Он — основатель прославленного Ленинградского физико-технического института, глава целой школы ученых, в числе которых нобелевские лауреаты и «трижды Герои Социалистического Труда»... Среди физиков он имел прозвище «папа Иоффе». Вот у этого самого «папы» в двадцатых годах росла весьма привлекательная дочка, и многие из его учеников были в нее влюблены. Валентина Абрамовна была умна, хороша собою и одарена весьма разносторонне.

Один мой приятель в свое время поведал мне такую историю. В середине шестидесятых годов он познакомился с дочерью Сталина — Светланой Иосифовной Аллилуевой, и, между прочим, она ему рассказала о том, как осенью отдыхала в Сочи.

— Был уже ноябрь, — говорила она, — пляж совершенно пустынный... Я шла по берегу и вдруг увидела фигуру мужчины, который с унылым видом сидел на влажном песке. Приблизившись, я его узнала, это был один из охранников моего отца. Он меня тоже узнал, вскочил на ноги... «Светлана Иосифовна, дорогая!.. Ну как вы? Как живете?..» — «Ни-

чего, — говорю, — Иван Петрович... Дети растут. А вы-то сами как поживаете?..» Тут он помрачнел и сказал: «Ну что вы меня спрашиваете?.. Ведь я вашего отца охранял!.. А теперь вот какого-то жида охраняю...» — и он указал рукою в холодные волны, где плавал один из академиков-ядерщиков.

Я, помнится, пересказал эту историю Валентине Абрамовне и добавил:

— Мой приятель называл фамилию этого академика, но я ее забыл.

Моя собеседница на секунду задумалась и произнесла:

— Скорее всего, это мог быть Харитон.

— Совершенно верно, — сказал я. — Как же вы догадались?

Валентина Абрамовна улыбнулась:

— Ну, я мысленно представила себе тех, кто находится под охраной...

Кстати сказать, «трижды герой» Юлий Борисович Харитон тоже был из учеников «папы Иоффе».

С другим учеником своего отца — многолетним президентом Академии наук Анатолием Петровичем Александровым — Валентина Абрамовна сохранила дружеские отношения до конца своих дней. Однажды она была у нас в гостях и попросила разрешения позвонить по телефону. Набрав нужный номер, Валентина Абрамовна заговорила в трубку:

— Анатолий Петрович? Добрый вечер. Это Валя Иоффе...

Повод этого звонка был такой: ей для научной работы требовалась какая-то сложная установка,

которую можно было купить лишь за границей, за твердую валюту. Александров взялся ей помочь и просил доставить к нему в канцелярию бумагу с официальной просьбой об этом.

Но вот пикантная деталь: требуемая установка была приобретена лишь через год. Это объяснялось тем, что разговор Валентины Абрамовны с Александровым был незадолго до очередного собрания Академии, и те чиновники, которые получили приказание выписать установку из-за рубежа, медлили. Они хотели убедиться в том, что Анатолий Петрович останется в должности президента...

И еще одна история, связанная с Анатолием Петровичем. На каком-то из съездов партии он, единственный из всех выступавших, не имел заготовленного текста, не читал по бумажке. Валентина Абрамовна рассказывала мне, что секретарь одного из райкомов партии выразил по этому поводу такое мнение:

— Александров проявил неуважение к съезду. Вот такая у них была этика.

Но вернемся к биографии Валентины Абрамовны.

В тридцатых годах она вышла замуж за довольно известного в те времена оперного певца С.И. Мигая. И вот занятный поворот судьбы: поскольку она с ранней юности увлекалась верховой ездой, ей предложили выступить с конным номером в ленинградском цирке. И она согласилась. На афише она значилась под фамилией мужа — Валентина Мигай.

Однажды отец решил посмотреть на ее выступление. Когда Абрам Федорович, вальяжный и нарядный, появился в цирке, к нему поспешил капельдинер и почтительно усадил на место. Получив чаевые, он доверительно произнес:

— У нас сегодня очень интересная программа. Дочка академика Иоффе выступает...

Валентина Абрамовна так рассказывала о жизни в предвоенном Ленинграде:

— Я прихожу с работы, а домашняя работница мне говорит: «Нашего соседа арестовали по подозрению, что он — поляк».

В самом начале войны распался ее брак с Мигаем, и он навсегда уехал в Москву. А Валентина Абрамовна всю блокаду провела в родном городе. Вместе с другими физиками, учениками своего отца, она занималась проблемой защиты кораблей от магнитных мин. Я полагаю, именно тогда возникли ее дружеские отношения с А.П. Александровым, который руководил этой работой.

В шестидесятых годах, когда я познакомился с Валентиной Абрамовной, она заведовала лабораторией в одном из академических институтов, который располагался на Васильевском острове. Она довольно поздно — уже на моей памяти — защитила докторскую диссертацию, и с этим была связана любопытная история. Валентина Абрамовна рассказывала:

— На днях со мной вот что произошло. Утром, перед уходом на работу, я заглянула в почтовый ящик. Смотрю, там лежит повестка — меня вызы-

вают на Литейный, в Серый дом, к следователю КГБ Петрову. Села я пить кофий... Настроение паршивое. В этом доме навсегда исчезли почти все мои друзья... Идти не хочется, но ведь надо же узнать, в чем дело. И я решила зайти туда перед работой... Предъявила паспорт в бюро пропусков... Мне объяснили, куда идти... Захожу в комнату, там кружком стоят человек пять молодых и хорошо одетых мужчин. Когда я вошла, они все ржали, видно, кто-то анекдот рассказал. Я поздоровалась, говорю: «Мне нужен товарищ Петров». Они давай переглядываться: «Петров?.. Петров?.. А! Это — к тебе» — «Ага! — думаю, — значит, Петров — это псевдоним».

А дело оказалось пустяковое. Незадолго до этого Валентина Абрамовна отдавала в печать автореферат своей докторской диссертации. Работу выполнили частным образом в небольшой типографии. А в КГБ тогда боролись с самиздатом, и тот момент объектом их внимания оказалась та самая типография.

Как и очень многие интеллигенты того поколения, Валентина Абрамовна относилась к советской власти с некоторым снисхождением. Унизительность и безобразие нашего существования она приписывала не только злобности и тупости большевиков, но считала чем-то присущим России во все времена. В уже цитированном мною письме от 31 августа 1973 года говорится:

«Стараюсь поменьше думать о печальных вещах, но не так это просто, “читая газеты”. Боюсь, что не только на мой, но и на ваш век хватит. А мо-

жет быть, оно так вообще и ничего другого не было, нет и не будет? Читаю Вяземского и вижу прямые аналогии. Если не читали, очень Вам советую».

Помнится, кто-то спросил Валентину Абрамовну, что ее больше всего поразило за границей. Она отвечала так:

— То, что в овощных лавках не пахнет гнилью.

А еще я вспоминаю такой рассказ. Ее сотрудники должны были проводить международную научную конференцию, а иностранных гостей предстояло поместить в новую гостиницу под названием «Ленинград».

— И тут выяснилось, — говорила Валентина Абрамовна, — что там в номерах тараканы ходят табунами. Тогда обратились к директору гостиницы, и он вызвал каких-то морителей... Те пустили специальный газ, но на тараканов это не произвело ни малейшего впечатления... Зато страшно всполошились и забегали французы, которые жили на том же этаже.

Валентина Абрамовна великолепно знала и горячо любила Петербург. Именно она показала мне ансамбль Смольного монастыря, одно из самых красивых мест во всем городе. У нас с нею даже возникла традиция: когда я приезжал, мы непременно отправлялись на прогулку в Смольный.

А еще Валентина Абрамовна очень любила музыку, у нее было великолепное собрание пластинок. И я знаю, например, что она не пропускала ни одного из тех концертов, что давал в Ленинграде Святослав Рихтер.

Ей очень нравилась поэзия Бродского, а в шестидесятых и семидесятых годах именно я доставлял ей его стихи. Это было вовсе не трудно, ибо от дома, где жил автор, до ее квартиры на Кировной — рукой подать.

У Валентины Абрамовны было двойственное отношение к Ахматовой. Она прекрасно понимала, что это великий поэт, но ей, блокаднице, не нравилось, что Анна Андреевна во время войны покинула свой город. И, разумеется, Валентина Абрамовна отдавала должное Ольге Берггольц, которая не разлучалась с Ленинградом.

О том, как она относилась к «ленинградской беде», может свидетельствовать такой эпизод. Среди тех, кто регулярно появлялся в кокетельском доме у Габричевских, был московский врач Николай Александрович Верховский. Этот человек постоянно был одержим какими-то псевдонаучными идеями и пытался их распространять. Однажды он начал излагать собственную теорию касательно войны с немцами и блокады Ленинграда. Тут Валентина Абрамовна решительно его прервала:

— Про физику вы можете говорить все, что вам взбредет в голову. А вот трогать блокаду я вам запрещаю!

В Коктебеле я познакомился и с близким другом Валентины Абрамовны — Степаном Борисовичем Враским. Он был не только интеллигентом, но и аристократом, их род известен с XV века. Помнится, я спросил Степана Борисовича, не состоит ли он в родстве с Борисом Алексеевичем Враским, который был «содержателем Гутенберговой типографии», где печатались книги Гоголя и «Современник» Пушкина. Ответ последовал такой:

— Это мой прадед.

Дед его, также именовавшийся Степаном Борисовичем, был членом Сената. Их семья жила в Манежном переулке, неподалеку от Преображенского всей Гвардии собора. Я запомнил такой рассказ Враского. В 1918 году он и его дед заболели тифом и лежали в одной из комнат своей квартиры. Однажды ночью к ним явились чекисты с целью арестовать бывшего сенатора. Незваные гости вошли в комнату, и один из них громко спросил:

— Кто здесь Степан Борисович Враский?

— Я, — одновременно ответили и дед, и внук, поднимаясь со своих постелей. Чекисты поглядели на измученных болезнью немощного старца и четырнадцатилетнего отрока и молча удалились.

Степан Борисович до конца своих дней так и жил в той самой квартире. Но при советской власти она превратилась в обыкновенную коммуналку, ему оставили лишь небольшую комнату. В шестидесятых годах я заезжал к нему в гости. Мы пили настоящую на коктебельской полыни водку под незамысловатую холостяцкую закуску. Но хрустальный графин и рюмки, тарелки тонкого фарфора и серебряные вилки наглядно свидетельствовали о том, что их хозяин был когда-то причастен к совсем иной жизни.

Нет, Степан Борисович отнюдь не бедствовал, он был кандидатом наук и доцентом, преподавал физику в каком-то высшем учебном заведении. По тем временам это обеспечивало вполне благополучное существование. А комната его выглядела весьма своеобразно, она вся была занята книжными шкафами и полками, там едва помещался стол, три стула и какая-то кушетка...

Я говорил Степану Борисовичу:

— Я про вас вот что рассказываю. Дескать, у вас, кроме книжных полок, никакой мебели нет и на ночь вы снимаете книги с одной из них, там спите, а утром ставите книги на место...

Нашему с ним сближению способствовало то обстоятельство, что Степан Борисович был великим ценителем юмора. Он заразительно и весело смеялся и очень хорошо умел подмечать смешное.

А еще он был астрономом-любителем. Он привез в Коктебель небольшой телескоп и в ясные августовские ночи устанавливал его во дворе дома, где

снимал комнату. И тогда все желающие могли вместе с ним любоваться луною и звездами...

Телескоп этот был менисковым, то есть той самой системы, которая была предложена Д.Д. Максуповым. Степан Борисович объяснял нам суть его изобретения. Раньше в телескопах использовались параболические зеркала, изготовлять которые дорого и сложно, а Максупов сумел применить сферические — гораздо более дешевые и простые. В Советском Союзе на это изобретение никто особенного внимания, как водится, не обратил. Но в Соединенных Штатах телескопы новой системы получили широкое распространение, среди тамошних астрономов-любителей возникли «Maxutov clubs». Это стало известно в нашей стране, и в конце концов изобретателю присудили Сталинскую премию.

Степан Борисович Враский так рассказывал об этом изобретении:

— В 1941 году Дмитрий Дмитриевич Максупов вместе с другими учеными был эвакуирован из Ленинграда. Поезд, на котором они ехали, прибыл на какую-то станцию, где их вагон отцепили, и он трое суток стоял в тупике. Первые сутки Максупов отсыпался, а на вторые, когда отдохнул, придумал свой телескоп... Вот что значит хоть на малое время оставить человека в покое.

ЗЯТЬ АНТИХРИСТА

С Ростиславом Борисовичем Климовым я познакомился осенью 1962 года в Коктебеле. Среди множества людей, приходивших в те дни в дом Габричевских, он ничем не выделялся, но я обратил на него особенное внимание, когда узнал, что он женат на дочери обновленческого «митрополита» Александра Введенского. И я тут же придумал Климову прозвище — «зять Антихриста».

Его жена Мария (в обиходе Мура) была очень милым человеком. Климов когда-то рассказывал мне историю их брака. Они с Мурой учились вместе в университете, а когда поженились, самого «митрополита» уже не было в живых. Поселились молодые в отдельной комнатке добротного каменного дома в Сокольниках, который принадлежал покойному тестю. Тут же жила и последняя жена Введенского с двумя маленькими детьми. Поскольку дама она была вовсе не старая и весьма состоятельная, то у нее уже был некий «митрополичий местоблюститель» — саксофонист из ресторанного джаза Леня Мунихес. С работы он возвращался под самое утро и спал довольно долго. Пробудившись, он, огромный, жирный, в одних трусах выходил на кухню с саксофоном и тут же извлекал из своего инструмента звуки, напоми-

нающие гомерический хохот. С этого в бывших «митрополичьих покоях» начинался всякий день...

Я не удержался и заметил Климову: насколько же разумнее иметь неженатый епископат, ибо в доме православного архиерея никакой Леня Мунихес на подобных ролях появиться не может.

В шестидесятых годах я каждую осень приезжал в Коктебель и всякий раз встречал там Ростислава Борисовича. Мы подружились, я обнаружил в нем ясный ум и редкостное чувство юмора. Весьма привлекательна присущая Климову преданность своему делу, он сам себя называл фанатиком искусствоведения.

Кстати сказать, перу Ростислава Борисовича принадлежит уже цитированная мною превосходнейшая статья «Живопись Наталии Северцовой». Климов пишет:

«В работах, где она лихо стилизует собственное жизнелюбие, живопись фатально не удается — она сухая, элементарная. Настоящая живопись начинается, когда она выходит за пределы ею же установленных сюжетных схем, когда она о них забывает. Вот здесь начинаются чудеса. Причем о спонтанности говорить не приходится: живописное решение осуществляется с трудом, о котором зритель даже не догадывается. В таких работах — а это лучшие ее работы — кажется, что в процессе творчества она робеет, не знает, что делать дальше, топчется на месте и ждет озарения. И оно приходит, потом уходит, потом возвращается снова — и так постепенно, как бы вслушиваясь в свой талант, она создает то, что поначалу только мерещилось, раздражало».

И еще:

«...обычно она работала очень серьезно, работа ее захватывала, и она не жалела сил на переделки, раздражалась, когда ее отрывали (поэтому лучшие ее работы выполнены осенью, когда исчезали гости)».

Гости исчезали, но не все. В частности, почти всегда присутствовал сам Климов. И я хорошо помню, как деликатно он высказывал Наталье Алексеевне свои впечатления о ее вещах. Тут — упаси Бог! — не было ни советов, ни рекомендаций, а только благожелательное внимание и поощрение к дальнейшей работе. И это чаще всего выражалось в коротких репликах и даже в междометиях.

Мне в особенности запомнилась осень 1967 года. Большевики пышно праздновали пятидесятилетие захвата власти и стремились вовлечь в свои абсурдные торжества как можно больше жителей покорной им страны. А в пустынном ноябрьском Коктебеле было совсем тихо, там даже лозунгов и плакатов не прибавилось...

В тот год Ростислав Борисович остановился в так называемом пансионате, где ему предоставили хороший номер с видом на море и Карадаг. В самый день «великого юбилея», 7 ноября, он пришел в дом Габричевских и рассказал:

— Меня разбудили в семь часов утра. Какой-то дурак явился в наш коридор и заорал через мегафон: «Дорогие товарищи! Поздравляю вас с пятидесятилетием Великой Октябрьской социалистической революции!» Часа через два я спустился на улицу и увидел, что все наши постояльцы вышли

из своих номеров и пребывают в некотором томлении. Вроде бы такой великий праздник, а их забыли... Никто ими не занимается, никто ни к чему их не призывает, никто ничего от них не требует... И тут на моих глазах произошло нечто поразительное. Эти люди без всякого призыва, непроизвольно, сами по себе построились в колонну и стали маршировать, распевая «Варяга»...

Как это ни удивительно, но именно тогда, в тот самый «юбилейный год», Ростислав Борисович получил от советской власти совершенно неожиданный подарок. Как я уже упоминал, он поселился в пансионате, но тут выяснилось, что просто так там жить нельзя. Обязательно надо было питаться в их столовой, где пища была, во-первых, очень дорогая, а во-вторых — дурного качества. Климова это не устроило, и он решил покинуть пансионат.

В тот момент, когда он складывал свои вещи, к нему в комнату явилась уборщица, и он стал с нею прощаться.

— Как? — удивилась та. — Вы ведь только приехали...

— Да, — отвечал Климов. — Но тут у вас такой порядок: я обязан есть в вашей столовой, а я этого не желаю...

— Ну и не ходите в столовую, — сказала уборщица. — И уезжать вам куда не надо... Живите себе на здоровье, а я никому об этом говорить не стану.

И вот Ростислав Борисович стал существовать в пансионате нелегально. Это нас очень веселило. Ну при какой еще власти, кроме советской, человек

может жить на курорте в номере с видом на море и при том совершенно бесплатно?!

Климов был издательским работником, и от него я в свое время узнал поразительную историю. Это случилось в тридцатых годах, накануне Всемирной выставки в Париже. Как-то раз в известную московскую типографию на Пятницкой улице явился старый наборщик. Он уже был на пенсии и зашел к своим приятелям просто повидаться и поболтать. Между прочим, он высказал такую мысль:

— В любой книге при желании можно обнаружить опечатку. Пусть самая незначительная, но она всегда найдется.

— Хорошо, — сказали ему приятели, — а сколько времени тебе на это потребуется?

— Я полагаю, самое большее — час.

— Давай поспорим на литр водки. Мы тебе сейчас дадим книгу. Если ты в течение часа найдешь в ней опечатку, то мы тебе ставим литр. Если не найдешь, ты нам ставишь. Идет?

— Идет, — сказал старый наборщик.

Тогда его молодые коллеги, посмеиваясь, открыли сейф и вытащили оттуда сверток. В нем была уникальная книга — напечатанная едва ли не в единственном экземпляре, золотой краской, на лучшей бумаге недавно принятая «сталинская конституция». А предназначался этот уникальный экземпляр для витрины в советском павильоне на Всемирной выставке. Разумеется, там было выверено все — до последней запятой.

Старый наборщик тщательно вымыл руки, уселся за стол и развернул пергаментную бумагу...

— Ну, привет, — сказали ему приятели, — через час купишь нам водку...

Но они не успели дойти до двери, как услышали голос старика:

— Пойдите, пойдите...

И он указал им на титульный лист. Там в слове «Госполитиздат» вместо первой буквы «т» была напечатана буква «п»...

Легко вообразить, что бы произошло, коли «Сталинская конституция» с подобной опечаткой попала на витрину в парижском павильоне. Кто-нибудь из эмигрантских журналистов это бы заметил и предал гласности. После чего все люди, так или иначе причастные к выпуску книги, были бы объявлены «вредителями» и отправлены в Гулаг... А может быть, и прямо на тот свет. Так что надлежало бы купить старику не литр водки, а целую цистерну.

Ростислав Борисович Климов — один из самых занятных собеседников, каких я знаю. Он не просто умен и остер, в некоторых случаях он прибегал к особенному приему, который сам называл — «трогать за вымя». Что это означает, легче всего показать на примере.

Как-то в кокетбельский дом Габричевских была приглашена супруга знаменитого балетмейстера Игоря Моисеева — Тамара. В те годы она была хозяйкой самой большой тамошней дачи, одевалась с вызывающей роскошью и соответствующим образом себя вела. За столом она сейчас же объявила присутствующим, что только что вернулась из Испании.

— Простите, — обратился к ней Климов, — а в каком качестве вы там были?

— Я была в Испании с нашим ансамблем, — отвечала важная гостья.

— Простите, — опять заговорил он, — с каким это «вашим ансамблем»?

— С Государственным ансамблем Игоря Моисеева.

— А! Это который — «Березка»?

— Да нет же! — с возмущением возразила дама.

— Понимаю, понимаю! — подхватил Климов. — Вы из Ансамбля песни и пляски Советской Армии...

— Ничего подобного!.. У нас свой ансамбль...

— Значит, есть целых три таких ансамбля: ваш, «Березка» и этот армейский?

— Ну конечно!

— Это очень интересно, — продолжал Климов. — Вы, пожалуйста, меня простите. Я в этом совсем не разбираюсь... Так, значит, это все разные ансамбли?..

— Да, разумеется!

— Простите, а чем они все-таки отличаются друг от друга?

Ну и так далее... Разговор еще некоторое время продолжался в этом же русле, а затем Ростислав Борисович несколько переменял тактику. В течение второй половины вечера он то и дело просил у Тамары Моисеевой прощения: дескать, он вовсе не хотел ее обидеть, он просто очень далек от балетного мира и т. д. и т. п.

Вот что означает выражение Климова — «трогать за вымя».

ПРОСТО: СЛУЖАЩИЙ

Мой покойный друг протоиерей Борис Гузняков родился в 1932 году. Его отец, Кузьма Алексеевич, был родом из Белоруссии, а в Москве оказался после первой мировой войны — от был солдатом и был ранен на фронте. Жену его (мать отца Бориса) звали Екатерина Ерофеевна, я их обоих знал и могу засвидетельствовать, что это были люди превосходные.

Как известно, зима 1979 года стояла очень холодная. В Москве были сорокаградусные морозы, а в городских квартирах батареи отопления почти не грели. Кузьме Алексеевичу Гузнякову в ту пору было 86 лет, и он уже не вставал с постели.

— Катерина, — сказал он жене, — я этих морозов не переживу... Я ведь, наверно, помру...

— Ты что — погубить нас хочешь? — возразила ему она. — Ведь тебя хоронить придут дети, внуки... В такую-то стужу на кладбище! Ты всех нас заморозишь! И не вздумай помирать!

— Да, — произнес он, — я об этом не подумал... Ну, тогда давай мне вина, давай есть...

И Кузьма Алексеевич выпил домашнего вина, хорошенько поел, после чего прожил еще месяца полтора. Страшная стужа миновала, и он тихо, похристиански отошел ко Господу.

Гузняковы с довоенных времен были прихожанами Троицкой церкви в селе Наташине. И вот летом 1944 года там появился новый священник — отец Михаил Зернов. Таким образом двенадцатилетний Борис Гузняков познакомился с человеком, под чьим покровительством он находился вплоть до 5 апреля 1987 года. Именно в этот день окончил свой земной путь Михаил Викентьевич Зернов — в монашестве архиепископ Киприан.

Мое собственное знакомство с Гузняковым произошло Великим постом 1967 года. Именно в те дни я стал сознательным прихожанином Скорбященского храма на Большой Ордынке, и Владыка Киприан поручил отцу Борису следить за моим воцерковлением. Мы с этим батюшкой тогда же и подружились: я обнаружил, что он умен, не чужд светской культуре, да к тому же обладает изрядным чувством юмора — черта в моих глазах немало важная.

Отец Борис был очень добрым и отзывчивым человеком, я знаю многих людей, которым он помогал. И с его именем связано возрождение знаменитой Марфо-Мариинской обители милосердия.

Свою церковную карьеру Гузняков начал еще подростком, когда прислуживал в алтаре наташинского храма. Отец Борис досконально знал все, что касается среды духовенства — обычаи, нравы, занимательные истории, даже анекдоты. И он стал моим Вергилием в этих кругах, в значительной мере благодаря ему я сумел написать свои «Мелочи архи... прото.. и просто иерейской жизни».

У нас с Гузняковым было еще одно общее увлечение — хорошая кухня, они с женою Верой Константиновной умели принимать и угощать гостей. А еще мы оба любили пиво, но в Москве шестидесятых и семидесятых годов пристойных пивных практически не существовало. Пожалуй, лучшее из подобных заведений было в помещении профессионального клуба — в Доме журналистов на Никитском бульваре.

Мне как «члену творческого союза» доступ туда был открыт, и мы с отцом Борисом нет-нет да и заглядывали в тамошнюю пивную. Он, разумеется, являлся в такие места не в расе, а в гражданском костюме.

Как-то раз, помнится, он служил на Ордынке литургию, я ему прислуживал, и мы освободились довольно рано. Прямо из церкви отправились в Дом журналистов и оказались первыми посетителями пивной. Едва мы уселись со своими кружками за столик, как появились еще два человека. Увидевши нас, один из них сказал своему приятелю:

— Видишь? Настоящие газетчики уже здесь!

Эта реплика нас с отцом Борисом очень разве-селила. Он сказал:

— Кто же из нас с вами «настоящий газетчик»? Наверное, все-таки я. Поскольку я хотя бы читаю газеты, а вы, насколько мне известно, их даже в руки не берете...

В пятидесятых годах Гузнякову довелось служить в соборе возле Преображенской площади — эта церковь при Хрущеве был снесена. Там против

храма располагался ресторан «Звезда». Так вот у клириков того собора в ходу была поговорка: «Пост до Звезды», поскольку в этом ресторане их по-соседски привечали. (Для несведущих надлежит сделать разъяснение. В Православной Церкви «сочельник», день накануне Рождества Христова, связан со строжайшим постом. Верующие даже воды не пьют до той поры, пока на небе не появится первая звезда. Именно этот древний обычай именуется — «пост до звезды».)

Церковь у Преображенской площади была кафедральным храмом митрополита Крутицкого и Коломенского Николая (Ярушевича). Отец Борис рассказывал мне, что всякий год в Прощеное Воскресение митрополит приглашал все соборное духовенство в один из кабинетов ресторана при гостинице «Ленинградская» (высотный дом на Каланчевке). Происходило это за два часа до вечернего богослужения. Стол был довольно обильный, но без спиртного — блины, рыба, икра, чай, пирожные, конфеты... И каждый раз во время этого застолья Владыка Николай говорил со своими клириками на одну и ту же тему:

— Завтра начинается первая седмица Поста. В это время враг (сатана) особенно любуется, и его нападению прежде всего подвергаются женщины... Так что я вас всех призываю быть внимательными к ним и снисходительными, чтобы и вам не искушиться, не впасть в гнев и раздражительность.

И по свидетельству отца Бориса предупреждение это не бывало лишним. С началом Поста даже

алтарницы — старые монахини — из смиренных и покорных становились фуриями...

Ну и чтобы покончить с ресторанной тематикой, еще один эпизод. В 1987 году, после смерти архиепископа Киприана, протоиерей Гузняков был назначен настоятелем Скорбященского храма на Большой Ордынке. И вот в этом качестве его впервые пригласили на торжественный прием, который устраивала Московская Патриархия. Позвонил референт Святейшего и сообщил, что ему надлежит прибыть в ресторан при гостинице «Россия». Отец Борис ему сказал:

— Вы знаете, я сейчас на очень строгой диете. Можно мне не приходиться?

Референт ответил так:

— Не прийти вы, конечно, можете... Но тогда ваши дети и внуки тоже окажутся на очень строгой диете.

Свое священническое служение отец Борис начал на Кубани, в Краснодарской епархии. Он часто рассказывал о тамошней жизни и нравах. Например, местные жители не могли на слух уловить разницу между именами «Георгий» и «Григорий». Спрашивают какого-нибудь казака:

— Как тебя зовут?

— ГЫРЬГорий.

— А именины у тебя когда?

— В мае, на ГЫРЬГория Победоносца.

— Его зовут Г-е-о-р-гий Победоносец.

— Ну, я ж и говорю: ГЫРЬГорий!

И еще отец Борис говорил об одном тамошнем суеверии. Когда в Пасхальную ночь из храма на ули-

цу выходил крестный ход, на церковные двери вешался замок, а по возвращении процессии этот замок снимали. Так вот местные воры верили — кто из них первый после крестного хода прикоснется к церковному замку, тот не будет уличен в кражах целый год — до следующей Пасхи. Можно себе представить, какого рода конкуренция происходила у дверей этого храма в Святую Ночь.

Но это было не самое странное суеверие, с которым Гузнякаву пришлось столкнуться на Кубани. В первые же недели своей службы на станичном приходе он совершил множество «заочных отпеваний», то есть таких погребальных служб, когда гроб в церкви отсутствует. И почти все покойники были мужчины. Документов там никаких не спрашивали, оформляли требу просто, и отец Борис отпевал себе и отпевал.

Но вот однажды он обратился к женщине, которая заказала «заочное отпевание», с вопросом:

— А давно он у вас умер?

— Как умер? — удивилась та. — Он — живой...

— Как живой? — опешил батюшка.

— Так — живой, живехонький... Ничего ему, подлецу, не делается...

И тут выяснилось, что в тех местах существовало суеверие: если заочно отпеть неверного мужа, он вернется к семье. Словом, отец Борис, сам того не ведая, за несколько недель отпел всех распутных мужиков целой округи.

Разумеется, в дальнейшем он неукоснительно требовал, чтобы предъявлялись документы о смерти...

Я помню, как отец Борис пересказывал мне свой разговор с тамошним, кубанским военкомом. Майор его спросил:

— А что же тебе в военном билете писать? Какая у тебя профессия?

— Там обычно пишут: священнослужитель.

— Так. А ты семинарию кончил?

— Нет, меня так посветили в священный сан.

— Ну, раз ты семинарию не кончил, я тебе не напишу «священнослужитель». Я тебе напишу просто: служащий.

Надо сказать, что Гузняков всегда с удовольствием вспоминал годы, прожитые им на Кубани. Теплый климат, «благорастворение воздушных», «изобилие плодов земных»...

— Заходит, например, — рассказывал отец Борис, — ко мне сосед. Местный врач, зовет к себе. Выносит он домашнее вино. Сидим на воздухе, неторопливо попиваем, беседуем... А я смотрю на него и про себя думаю: «А ведь я тебя уже раза три отпел...»

Архиерей, которого я знал ближе других, кто был моим духовным отцом и кого я считаю своим учителем и благодетелем, — покойный архиепископ Киприан (в миру Михаил Викентьевич Зернов), так же как и митрополит Иоанн, был выходцем из интеллигентской среды. Родился он в 1911 году в Москве. Прадед его был состоятельный купец, но так как он был весьма многочислен, то дед Владыки, получивший свою долю наследства, был вовсе не богат.

Владыка вспоминал, что в их доме были иконы и перед ними лампадки, но он не помнит, чтобы когда-нибудь эти лампадки теплились. А когда клирики приходского храма являлись по праздникам в их квартиру в Подсосенском переулке, чтобы «славить Христа», все обитатели прятались.

— Их встречали только бабушка и я, — вспоминал Владыка.

Религиозность в нем проявилась рано. И не просто религиозность, с 11 лет он стал прислуживать в церкви, в той самой, где был крещен, — «Введения в Барашах» у Покровских ворот. Там он исполнял самые разные послушания — был алтарником, чтецом, ризничим... Он, бывало, говорил:

— Нам не только ничего тогда не платили в храме, но мы сами из дома еду носили, чтобы кормить священников.

Иногда он рассказывал, как начинал читать по-славянски. Учителем его был псаломщик Димитрий Иванович. Этого человека я хорошо помню, в мое время — в конце шестидесятых годов — он трудился на Ордынке, был регентом левого хора. Несколько невзрачный, в очках с толстыми стеклами, он мне очень напоминал Д.Д.Шостаковича, только изрядно опростившегося. Владыка говорил:

— Я стою на клиросе, читаю... Стоит сделать неправильное ударение, Димитрий Иванович из всех сил толкает в бок.

А читать ему приходилось очень много, прислужников в храме тогда почти не было. Один раз он до того «зачитался», что возгласил нечто вовсе невероятное:

— Глас девятый!

(В обиходе Православной Церкви восемь гласов.)

А время было жуткое — самый разгар гонений на верующих да и церковные нестроения. Владыка говорил:

— Мне не страшно было веру потерять. Я через все прошел. Я в детстве видел, как батюшки в алтаре дрались...

В дальнейшем на многие годы жизнь его была связана с театром. (Это, кстати сказать, было одно из наших с ним существенных разногласий — он навсегда сохранил слабость к зрелищам и лицедеям, а я, грешник, терпеть не могу всего этого.) Впро-

чем, то, что сцена стала его профессией, — не только его вина. На поступление в театральную студию его благословил священник.

— Он мне так сказал, — вспоминал Владыка. — «Ты мальчик нравственный, тебе это неопасно. А они тебе там голос поставят».

Насколько мне известно, в театре он не столько играл, сколько занимался административной деятельностью — был заведующим труппой и, как свидетельствовали очевидцы, с труднейшей этой должностью справлялся блестяще.

С Церковью же, однако, он никогда не порывал, все знали, что он верующий. На праздники он старался освободиться от спектаклей и репетиций и ходил в храм. Летом 1944 года после успешной сдачи экзамена, который принимал сам легендарный протопресвитер Николай Колчицкий, будущий наш Владыка принял священный сан.

Первым приходом, на котором он служил после рукоположения, была Троицкая церковь в селе Наташине (Люберцы) под Москвою. Любопытно, что самые последние годы он жил неподалеку, в доме на самой окраине новой Москвы, на Косинской улице. Когда-то в этих местах сплошь были деревни, и он все их исходил пешком — треб тогда было много, а церковей маловато. Время было военное, голодное, но почти в каждом доме для батюшки угощение — водка, картошка, соленые огурцы и капуста... Когда я принял сан, он делился со мной своим опытом.

— Если придешь на требу в какой-нибудь дом и тебя будут угощать — не отказывайся, не обижай

людей... Только запомни одно правило: если, сидя за столом, тебе вдруг захочется выпить еще и еще немного посидеть, немедленно вставай и уходи.

С сорок пятого по сорок восьмой год о. Михаил Зернов был настоятелем Покровского храма у станции Тарасовская Северной дороги. А затем ему довелось заново открывать Скорбященскую церковь на Большой Ордынке. Этот храм стал его любимым детищем (если так можно выразиться по отношению к церкви). Он был там настоятелем почти сорок лет. За эти годы сменились поколения прихожан, но одно оставалось неизменным — любовь пасомых к своему пастырю, а потом уже и архипастырю...

Владыка с улыбкой передавал мне слова протоиерея Всеволода Шпиллера, который был настоятелем соседнего храма — «Никола в Кузнецях».

— Он мне сам говорил. Одна простая женщина подошла к нему и сказала: «Вот, батюшка, вы такой культурный, такой ласковый, а вас не любят... А вот на Ордынке отец Михаил, он кричит на нас, как председатель колхоза, а его — любят...»

Епископом Владыка стал довольно поздно. Тут было, я полагаю, много причин. Одна из них та, что он ни за что не хотел расставаться со своей родной Москвой, и, главное, со своим храмом на Ордынке. (Впоследствии он решительно отказался от кафедры вне Москвы и ушел на покой, оставаясь почетным настоятелем Скорбященской церкви.) Иногда он говорил, шутя:

— Я в пятьдесят лет в архиереи пошел, чтобы мальчишкам руки не целовать...

(Тогдашних молодых архиереев, которых во множестве рукополагал митрополит Никодим (Ротов), он всегда называл «мальчишками».)

Близость, которая возникла у меня с Владыкой Киприаном, была отчасти predetermined. Я вырос на Большой Ордынке в доме № 17. А Скорбященский храм стоит почти напротив нашего дома, его номер — 20.

Мне шел одиннадцатый год, когда церковь открылась заново, и я иногда заходил туда. Не сказать, чтобы очень часто, но непременно всякий год на Пасху. Впрочем, кто именно там служит, я никогда не интересовался, хотя кое-что об отце Михаиле Зернове слышал: в прежние годы его знали многие приятели моего отца — литераторы и актеры.

В 1964 году я принял Святое Крещение, но в церковную ограду вошел не сразу — не было у меня наставника, никто мною тогда не руководил. Однако же тяга к Церкви у меня была, и вот в 1967 году 5 января вечером, под Рождественский Сочельник, я пришел в Скорбященский храм и попал на общую исповедь, которую проводил Владыка. Он делал это трижды в год — под Сочельник, на первой неделе Великого Поста и на Страстной, под Великий Четверг. Говорил он вообще превосходно, а в такие дни — в особенности. Это были не столько «общие исповеди», сколько проповеди с призывами к покаянию... В тот

самый Сочельник я первый раз в жизни сознательно приобщился Святых Христовых Тайн.

А накануне Пасхи того же года меня представили Владыке Киприану, и он благословил меня молиться в алтаре. Прошло еще некоторое время, и я стал его иподиаконом.

Примечательно, что я сейчас в какой-мере исполняю пожелание самого Владыки. В самом начале нашего с ним знакомства, в 1968 году, я показал ему свои воспоминания об Анне Ахматовой. После этого он полушутя спросил:

— А обо мне ты напишешь воспоминания?

Я деликатно промолчал. Я тогда еще слишком мало знал его.

А Владыка продолжал в том же тоне:

— Ну, раз ты об Ахматовой написал, то и обо мне должен... Я как-никак архиерей... А она кто?.. Баба!

Владыка говорил:

— Среди нашего брата, священнослужителей, есть профессионалы и дилетанты.

Сам он был профессионалом высочайшего класса. У него была способность все видеть и все замечать — всякую мелочь в облачениях, погасшую лампадку, сдвинутый с места аналой...

Я навсегда запомнил незначительный эпизод, свидетелем которого стал в самые первые дни после того, как мне благословлено было молиться в алтаре. В самом начале всенощной протодиакону нуж-

но было отдать кадило и выходить на амвон. А прислужники, как назло, все разбежались... И вдруг я вижу, что архиепископ, как простой пономарь, принимает кадило. В этот момент он и не думал о своем высоком сане, ему важно было, чтобы в богослужении не произошло никакой заминки. Он вообще был великим ценителем красоты и стройности богослужений и частенько нам говаривал:

— Вы настоящей службы и не видели. Я — еще видел.

Или такой случай. В Москве свирепствовала эпидемия гриппа. В Скорбященском храме заболели все священники, кроме одного. В результате в воскресный день некому было служить панихиду после ранней литургии. Я поднялся к Владыке в его комнату на колокольне, он, как обычно в это время, лежал на своем диване... Узнав, что батюшки заболели, он сейчас же поднялся, облачился и пошел служить панихиду. Сам читал записки, говорил ектеньи, возглашал «Вечную память»...

В родительские субботы — дни особого поминовения усопших — через алтарь Скорбященского храма проходят кипы поминальных записок, батюшкам приходится «вынимать» многие тысячи просфор. В такие дни Владыка Киприан служил позднюю литургию в приделе, но еще во время ранней приходил в главный алтарь, чтобы помочь вынимать просфоры.

Помнится, все — и клирики, и прислужники — на солее, читают поминания, в алтаре только он и я. На этих службах вынутые просфоры склады-

ваются в эмалированные ведра, вот я и говорю Владыке:

— Я вас сейчас дам ведро.

— Ведро? — переспрашивает он. — Ведро дают корове. А я — архиерей... Ты бы сказал: я вам дам сосуд.

Тут я хочу продолжить «животноводческую» тему.

Поскольку Владыка Киприан был архиереем заштатным, то у него бывали проблемы с прислужниками. По большей части этим занимались молодые прихожане, как правило, профессионализмом не отличавшиеся. Помнится, облачают они его в алтаре, возятся, то и дело ошибаются... Владыка терпеливо ждет, пока они управятся, и вдруг произносит:

— В такие вот минуты я чувствую себя, как мерин, которого запрягают мальчишки...

Он часто говорил о себе:

— Архиерей я так, по недоразумению... А истинное мое призвание — пономарь, ризничий...

Действительно, облачения он умел ценить и знал в них толк. В храме на Ордынке — уникальная ризница, множество старинных облачений, таких, что и в музеях нет. А когда он пришел туда настоятелем, там вообще ничего не было — храм открывался заново.

Наверное, никто из архиереев не служил так часто и много, как он в своем Скорбященском храме. Когда в 1964 году его отправили экзархом в Берлин, Владыка предусмотрительно взял у Патриар-

ха Алексия указ о том, что он назначается пожизненным почетным настоятелем своего храма.

Иногда он говорил:

— Меня отсюда можно убрать только по церковному суду.

Последние двадцать лет жизни богослужение было единственным его делом: имея все преимущества архиерейского сана, он не нес никаких связанных с этим тяжелых обязанностей.

В одном из своих писем к Владыке Киприану митрополит Ярославский Иоанн писал:

«Я не устаю восхищаться Вами и завидовать тому образу жизни, который Вы себе избрали».

(Самому митрополиту это не вполне удалось. Когда он оказался на покое, то продолжал служить в кафедральном соборе, так сказать, в очередь с новым правящим архиереем.)

Владыка Киприан всегда учил нас правильному, православному отношению к духовенству. Мы должны почитать в клириках благодать сана и именно ей, благодати, воздавать подобающую честь. Совсем маленьким мальчиком он присутствовал при ссоре между священником и старостой церкви. (Кажется, это было в Семипалатинске.) Этот эпизод он часто вспоминал:

— Батюшка кричит на старосту: «Как тебе не стыдно?», а тот отвечает: «Нет, это как вам не совестно?» Он не может, не смеет сказать священнику «стыдно»...

Когда Владыка Киприан начал приближать меня к себе, он был уже на покое. Тогда, да и во все пос-

ледующие годы, он редко говорил о том времени, когда занимал высокую должность — был управляющим делами Патриархии.

И все же кое-какие сведения на сей счет у меня сохранились. Прежде всего — статистика. Наш Владыка принял управление делами у митрополита Пимена (будущего Патриарха) и ему же передал вновь. Когда архиепископ Киприан принимал дела, в Москве было около пятидесяти клириков без места, а когда сдавал — два или три.

Один московский протоиерей пересказывал мне отзыв Патриарха Алексия I о деловых качествах архиепископа Киприана. Среди обязанностей управляющего делами есть и такая: если на имя Святейшего приходит бумага, ее должно изучить и написать краткое резюме. Так вот, после вступления Владыки Киприана в должность Святейший поделился с кем-то:

— Как кратко и вразумительно Владыка Киприан пишет резюме. А то преосвященный Пимен, бывало, напишет мне резюме, а оно — длиннее самой бумаги.

Другой священник рассказывал мне, что в приемной у Владыки почти никогда не было очереди, ибо он поступал, как старые русские сановники, — выходил из кабинета и спрашивал каждого посетителя, по какому он делу. (Притом, конечно, частенько оказывалось, что люди пришли не по адресу.) А мелкие дела он решал тут же, в приемной.

Я часто слышал, что, будучи еще сотрудником Патриархии (в протоиерейском сане) и позднее, уже

в качестве управляющего делами, Владыка Киприан помогал многим людям. Так, мне стало известно, что один из благодетельствованных им в свое время — саратовский протоиерей отец Георгий Лысенко. Недавно я обратился к этому батюшке с письмом и попросил его поделиться своими воспоминаниями об архиепископе Киприане.

Вот что он написал мне в ответ.

«Бывают в жизни обстоятельства, когда кажется, что круг вокруг тебя замкнулся и уже из него не выйти. Вот в такой период моей жизни мне и пришлось испытать неоценимую помощь от отца протоиерея Михаила Зернова.

Местными властями моя деятельность по строительству храма в городе Энгельсе была признана незаконной. Кроме того, мне предписывалось уничтожить все, что было сделано (не успели соорудить только крышу), а заодно я был лишен места служения. Вот в это самое время одна надежда теплилась — на Москву. Но не все так просто!

По прибытии в Москву я попытался попасть на прием к управляющему делами Московской Патриархии. Но здесь меня ожидали препятствия и глубокие разочарования.

Личный секретарь управляющего делами прямо, без стеснения совести, потребовал от меня денег, на что я ответил, что у меня их нет. Тогда он сказал: “Так зачем же вы сюда приехали и на кого вы надеетесь?!” Я тут же ему отпарировал словами прокимна: “Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю”. (Разговор наш состоялся в коридоре

управления.) Он посмотрел на меня с презрением и недоумением и, передернув плечами, ушел. Некоторое время я находился в состоянии шока... И тут произошло для меня чудо. Дверь, на которую я нисколько не обращал внимания, немного приоткрылась, и я увидел, как мне рукою подают знак, чтобы я вошел. Ко мне были обращены также и негромкие слова приглашения. Я вошел в комнату и увидел двух священников. Тот, который меня позвал, был отец Михаил Зернов. Он обратился ко мне со словами: “Кто вы, откуда и зачем здесь?” Я начал рассказывать, он выслушал внимательно и говорит: “А прошение на имя Святейшего у вас есть?” Я тут же ему подал прошение, он прочитал и говорит: “Поживите несколько дней в Москве, а я прошение ваше постараюсь передать лично Святейшему (Алексию), он сейчас находится на отдыхе в Одессе”.

Дальше не буду описывать, но дело пошло быстро, как клубок распутывается. Закончилось тем, что построенное осталось стоять, а мне было разрешено приступить к церковной службе.

После всего этого я безгранично благодарен был своему благодетелю. Много позже я встретился с Владыкой Киприаном в Загорске, у Преподобного Сергия. Наша встреча была радостной. Меня удивило, что прошло много лет, а он меня узнал, благословил, спросив: “А ты за меня молишься?” — “Молюсь, Владыка”, — отвечал я.

Царство ему Небесное! В память вечную будет праведник!»

Владыка Киприан был управляющим делами Патриархии в самый разгар гонений на Церковь, которые начал Хрущев.

Помнится, в каком-то разговоре я назвал эту фамилию.

Владыка сказал:

— А ты знаешь, что этот человек — виновник многих наших бед?

Я верю, да и доказательства к тому у меня есть, что архиепископ Киприан, как мог, защищал Церковь и пытался отстаивать от закрытия каждый храм.

Помнится, он никак не мог простить Патриарху Пимену, что тот, будучи управляющим делами, позволил властям закрыть и снести Преображенский собор. Он говорил:

— Я бы такого никогда не допустил. Ну, быть может, сносу я бы и не смог воспрепятствовать, но я бы добился в таком случае, чтобы взамен Моссовет отдал бы нам другое церковное здание...

Вспоминая те печальные времена, он говорил:

— Многие архиереи на Страшном Суде дадут ответ за закрытие храмов. Они тогда боялись за свои дома и автомобили. Я, помню, говорил одному епископу: «Сняли с регистрации у вас священника, так почему вы немедленно не назначили на его место другого и дали закрыть храм?.. Вы-то чего испугались? Ну, даже если вас самого снимут с регистрации, мы ведь вам дадим другую епархию...»

Костромским архиереем в те годы был преосвященный Н. Он приехал в Москву к Владыке Кипри-

ану и попросил совета. В Костроме тогда было три церкви. Уполномоченный требовал, чтобы одна из них была закрыта... Архиепископ Киприан посоветовал:

— Ты ему скажи, что дашь закрыть ту, где у тебя теперь собор. А собор ты переведешь в другой храм. Но перед тем, конечно, надо будет сделать ремонт... А ремонт затяни... А там, глядишь, у них кампания по закрытию храмов кончится и все пойдет по-старому...

Так оно и вышло. И по сей день в Костроме служат те три храма.

Теперь почти никто не помнит и не знает, что архиепископ Киприан был инициатором важной реформы в жизни Церкви. Я имею в виду переход священнослужителей на ежемесячную зарплату. (До этого им отдавалась «кружка» — определенная часть приходского дохода.) Однако же с введением в хрущевские времена грабительского налога повсюду возникли конфликты между клириками и финансовыми органами, которые принялись драть с нас безбожно.

И вот тогдашний председатель Совета по делам религий В.А.Куроедов заговорил на эту тему с архиепископом Киприаном, который управлял делами Патриархии.

— Что же нам делать? — спросил Куроедов. — Всюду скандалы, судебные разбирательства, к нам идут бесконечные жалобы...

— Выход только один, — отвечал Владыка Киприан, — надо установить для всех священнослу-

жителей твердую зарплату. И уже с нее начислять налоги.

— Хорошо, — сказал Куроедов, немного подумав, — мы можем на это пойти... Но только тогда уж так: у каждого зарплата, и не брать ни копейки больше...

Владыка улыбнулся и спросил:

— Владимир Алексеевич, вы знаете, кто такой был Патриарх Тихон?

— Знаю, — отвечал тот. — Слышал.

— Так вот, Патриарх Тихон говорил о себе так: «Я знаю, меня московское духовенство очень любит. Я думаю, многие из них готовы за меня пострадать. Но я также твердо знаю, что если попробую вмешаться в их доходы, они завтра же меня скинут...» «Имей уши слышати, да слышит».

Владыка Киприан говорил:

— Случалось так, что мы с Куроедовым повышали голос до крика. Но это случалось только в его кабинете и за закрытыми дверями. Когда я выходил оттуда, никто об этом догадаться не мог...

Об уходе своем с высокой должности Владыка мне говорил:

— В это никто не верит, но, если бы я сам не ушел, меня бы с этого места не стронули. А ушел я из-за Данилы, работать с ним было невозможно, он все портил, во все вмешивался...

Данила — Д.А.Остапов — был всесильным секретарем Патриарха Алексия. Предки его, как мне помнится, были чуть ли не крепостными у дворян Симанских, и предан он был Святейшему не за

страх, а за совесть. В свое время последовал за ним в ссылку. Следил он за стареньким Патриархом, как нянька за младенцем, именно его попечительность — главная причина того, что Святейший дожил до 93 лет.

Провожали Владыку Киприана с почетом. Ему предлагалась любая кафедра, кроме трех — Киевской, Ленинградской и Крутицкой. А в Молдавию он мог бы поехать в белом клобуке, то есть получить сан митрополита. В конце концов он согласился поехать экзархом в Берлин, но при этом получил бумагу о том, что назначается пожизненным почетным настоятелем своего Скорбященского храма.

Несколько раз рассказывал мне Владыка, как он, уходя с должности, прощался с Патриархом Алексием:

— У него даже слезы на глазах навернулись. Он мне говорит: «Вы нас не забывайте... Приходите к нам...» Но в это время в кабинет вошел Данила, и мне показалось, что слезы у него моментально высохли...

Конфликт между Владыкой Киприаном и Д.А. Остаповым разрешился, но уже после кончины Святейшего.

День смерти Патриарха я запомнил очень хорошо. Владыка Киприан совершал в своем храме на Ордынке литургию, это была Лазарева суббота, 17 апреля 1970 года. Протодиакон Константин Егоров читал на амвоне поминальные записки. Вдруг к южным дверям алтаря поспешно подошла Е.В.Прозорова — тогдашняя староста — и взволнованным

голосом попросила, чтобы к ней вышел Владыка. Он выслушал несколько слов, сказанных ею, слегка переменялся в лице, тут же потребовал бумагу и ручку, быстро что-то написал и приказал подать записку отцу Константину на амвон. Вслед за этим все мы услышали:

— Еще молимся о упокоении души усопшего раба Божия новопреставленного Святейшего Патриарха Алексия и о еже проститесь ему всякому прегрешению, вольному же и невольному...

После слов «Патриарха Алексия» все молящиеся в храме «единими усты» издали общий вздох или даже стон... Это общее «а-ах!» я так явственно помню уже двадцать лет и, наверное, до смерти своей не забуду.

О том, что произошло дальше, я узнал много спустя. У Владыки Киприана ко дню смерти Святейшего было уже заготовлено поздравление с праздником Святой Пасхи, которое он должен был через несколько дней отправить Патриарху. На этом самом поздравлении он приписал такие слова:

«Дорогой Даниил Андреевич! Примите мои соболезнования по случаю кончины Святейшего Патриарха. Воскресый из мертвых Господь да утешит Вас в Вашей невосполнимой утрате. То, что было между нами плохого, я забыл, помню только хорошее.

Господь да благословит Вас

архиепископ Киприан».

Затем поздравление было отправлено в Патриархию.

Через несколько месяцев, как мне помнится, на второй день Рождества Христова, архиепископ Киприан прибыл в Елоховский собор, чтобы по традиции поздравить с праздником местоблюстителя патриаршего престола митрополита Пимена. Надо сказать, в течение нескольких предыдущих лет Д.А.Остапов при встречах весьма сухо приветствовал Владыку Киприана. А тут, в алтаре патриаршего собора, в присутствии многочисленных иерархов и духовенства он поспешно подошел к архиепископу, весьма почтительно попросил благословения и внятно, так, чтобы слышали все, произнес:

— Владыка, друзья познаются в беде.

Отношения архиепископа Киприана с Патриархом (ранее митрополитом) Пименом тоже складывались непросто. Сначала у них были взаимные недовольствия и не могли не быть, ибо они последовательно занимали одну и ту же должность.

Однако после восшествия на Патриарший Престол Владыка Пимен стал лучше относиться к нашему архиепископу. Оба они были традиционалисты, приверженцы старых московских обычаев. Почти всякий год на день явления иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» Патриарх приезжал служить на Ордынку. Тут он всегда хвалил приходские порядки, а один раз даже произнес на амвоне по адресу Владыки Киприана целое похвальное слово.

Одна из последних встреч была у нашего Владыки со Святейшим на какой-то конференции. В перерыве пили кофий, там же присутствовал пред-

седатель Совета по делам религий Харчев. Патриарх сказал ему:

— Преосвященный Киприан — моя опора. У меня все архиереи вот так... (Он сделал рукою волнообразное движение.) Он один — вот так! (И тут он изобразил рукою прямую линию.)

Как-то на всенощной в Скорбященском храме Патриарх сидел в алтаре, а архиепископ проповедовал. Святейший повернул голову к одному из своих приближенных и заметил:

— Он говорит, как власть имущий.

Но при этом Патриарх никогда, ни разу не предложил Владыке Киприану занять какую-нибудь должность, вернуться к активной деятельности.

Пожалуй, главным недостатком нашего Владыки была вспыльчивость, гневливость. Если он замечал какой-нибудь непорядок, мог накричать на виновного, изругать... Но и остывал он так же быстро, как вскипал, после этого он обыкновенно норовил как-нибудь поощрить или утешить того из нас, кому только что досталось. Это качество свое он прекрасно сознавал и даже уподоблял самого себя персонажу К. Станюковича — «Беспокойному адмиралу». Однако же люди мнительные и обидчивые с Владыкой не могли служить. А его близкие, «свои», никогда на него не обижались: мы все знали, что во время приступов гнева в нем говорят не гордыня, не злость, не желание нас унижить, а любовь к порядку, «ревность о Божиим доме», желание, чтобы каждый из нас был достоин своего предназначения и сана.

Как-то в общем разговоре зашла речь о действительно строгом архиерее, которого подчиненные не на шутку боялись. Владыка полушутя сказал:

— А меня никто из вас не боится.

На это я ему сказал:

— Владыка, мы действительно вас не боимся. Но мы боимся вас огорчить, расстроить, вывести из себя.

Этот ответ он оценил.

Он часто говорил:

— Эгоисты бывают двух родов. Индивидуальные и семейные. Я типичный семейный эгоист.

И это в большой степени соответствовало действительности. Его окружали только те люди, которых он сам к себе приблизил, и он трогательно заботился обо всех нас, помогал, защищал...

Весьма показательна в этом отношении история протоиерея отца Иоанна Михайловича Сергеева. В свое время он был привезен в Москву митрополитом Уральским Тихоном (Оболенским) и был его иподиаконом. На фронт его призвали уже в диаконском сане... И вот в году в 1946-м отец Михаил Зернов, настоятель Покровского храма в Тарасовке, пришел в Патриархию, чтобы просить себе диакона. Протопресвитер Николай Колчицкий сказал ему:

— Тут в приемной дожидается диакон Сергеев. Он, кажется, и живет где-то недалеко от Тарасовки.

Будущий Владыка вышел в приемную и громко спросил:

— Кто тут Сергеев?

— Я! — вскричал отец Иоанн и по-военному вскочил с места — он только что демобилизовался.

С этой минуты вся его жизнь шла под покровительством Владыки Киприана. Он служил диаконом в Тарасовке, потом перешел вместе со своим настоятелем на Ордынку. Там отец Иоанн был возведен во пресвитеры, а под конец жизни тяжело заболел. Семь лет он лежал парализованный, но все это время получал свою полную зарплату — столько, сколько платили всем священникам Скорбященского храма.

Обладая острым умом и богатым жизненным опытом, Владыка Киприан великолепно разбирался в людях. Однако же по доброте своей мог быть в каком-то случае излишне доверчивым. О себе говорил:

— Может случиться такое: я скажу о каком-то человеке, что он хороший, а он окажется плохим... Но уж ни в коем случае не может быть наоборот: если сказал, что человек плохой, а он окажется хорошим.

Весьма привлекательно было в нем, что он не заискивал перед сильными мира сего. Конфликтовал с секретарем Патриарха, повышал голос на «министра исповеданий»... Уже после смерти архиепископа протоиерей Д.С. рассказывал мне об их совместной поездке в Японию.

— Владыка меня там поразил. Мы были на приеме у советского посла, и тот, между прочим, сказал нам: «Я лично от Церкви далек, религия меня

совершенно не интересует». А Владыка Киприан ему на это говорит: «Это вполне понятно. Религиозными бывают люди или совсем простые, или высокообразованные». Как он не побоялся так сказать послу?

У Владыки было спокойное, равнодушное отношение к деньгам. Он вовсе не был сребролюбцем, хотя в свое время имел почти неограниченные возможности обогащения. Пожалуй, он, подобно Пушкину, ценил приносимую деньгами «пристойную независимость». Самым существенным его достоянием были дорогие облачения, митры, панагии и кресты, то есть только то, что необходимо для богослужения. (После смерти Владыки его душеприказчик отец Борис Гузняков все это безвозмездно раздал многочисленным иерархам и клирикам.)

Характерная история произошла у нас с ним, когда я единственный раз в жизни попросил у него займы. Он дал мне требуемые пятьсот рублей, а когда я стал возвращать долг, взять деньги обратно категорически отказался. Объяснил он это таким образом:

— Вообще-то я не люблю давать займы. Но если я дал, то я уже с этими деньгами расстался и больше их своими не считаю, в расчет их не принимаю.

Мне известны и другие подобные случаи.

Наши отношения с Владыкой Киприаном в течение двух десятилетий омрачались только одним — он был самый истовый и искренний “сергианец”, какого только можно себе вообразить. (Он, бывало,

даже когда в молитвах поминал почивших патриархов, говорил: «великого Сергия».) Он совершенно серьезно полагал, что между христианством и коммунизмом нет непреодолимых противоречий. Идея эта в начале века благодаря Владимиру Соловьеву и его многочисленным последователям была весьма и весьма распространена в интеллигентской среде, а наш Владыка, несомненно, должен был впитать ее, что называется, с молоком матери. (Не забудем притом, что именно будущий митрополит Сергий в свое время был председателем печально известного религиозно-философского общества в Петербурге.)

Я не уверен, что архиепископ Киприан когда-нибудь в подлиннике читал знаменитый доклад В. Соловьева «О причинах упадка средневекового мирозерцания», но могу засвидетельствовать, что евангельскую притчу «О двух сынах» (Мтф. 21: 28 — 31) он трактовал точно так же, как Соловьев: под первым сыном подразумевал христиан, а под вторым — неверующих, собственно говоря, коммунистов.

Переубедить его в этом пункте было совершенно невозможно. Помнится, он просто отмахнулся от замечательной статьи Льва Тихомирова «Альтруизм и христианская любовь», когда я дал ему ее прочитать. Как-то я привел ему мнение Преподобного Серафима Саровского, который категорически запретил своим ученикам иметь какое-либо общение с революционерами по той причине, что «первый революционер был сатана». Владыка на это мне ничего не ответил, просто промолчал.

Но при этом, повторяю, убеждения его были совершенно искренними и он горячо желал распространить свою наивную просоветскую веру не только на меня, но и на таких вполне не подходящих для этого лиц, как, например, покойный протоиерей Александр Мень или математик И.Р.Шафаревич. С этой целью Владыка по собственной инициативе встречался с ними и, разумеется, в обоих случаях нисколько не преуспел.

Я, грешным делом, иногда уклонялся от споров с ним, щадил его, боялся сердить и волновать, в особенности в самые последние годы. Но все же время от времени показывал коготки, и он всегда знал, что я отнюдь не во всем с ним согласен.

Вот кое-что из наших разговоров.

Несколько раз при мне Владыка рассказывал, как ставил в затруднительное положение наших и немецких (ГДР) чиновников таким «каверзным» вопросом:

— Что общего между коммунистами и самыми ярыми антикоммунистами?

Разумеется, собеседники его затруднялись на это ответить. Тогда он не без торжества говорил им:

— И те, и другие считают, что между христианством и коммунизмом нет ничего общего.

Однажды, когда он рассказал это, я произнес:

— Владыка, на месте ваших собеседников я бы нашелся, что вам ответить.

— Ну, а что бы ты сказал?

— Я бы сказал так. Если я украду у вас митру и саккос, буду их надевать — у нас с вами будет не-

что общее. Вы — в саккосе и митре, и я... Однако же при этом вы являетесь архиереем Вселенской Церкви, а я — воришкой, который носит епископское облачение.

— Значит, есть что-то общее?

— В этом смысле — есть, — сказал я.

В другой раз он мне говорит:

— Значит, ты вовсе в коммунизм не веришь?

— Не верю, Владыка. А вы неужели верите?

— Я верю.

— А в какой коммунизм вы верите? В наш? В китайский? В югославский или эфиопский?..

Он мне:

— Ты, наверное, потому так любишь отца Иоанна Кронштадтского, что у него проповеди против социалистов.

— Нет, — говорю, — не только за это, Владыка.

Помнится, одним из самых длительных споров наших с Владыкой был спор о А.Солженицыне и его «Архипелаге». Это происходило в самый разгар скандала в связи с публикацией вещи.

Надо сказать, за всю ночь Владыка всякий раз проповедовал. И вот после очередной нашей с ним беседы о Солженицыне, он стал говорить на тему о любви к родине. Это чувство, по его понятиям, подразумевало принятие большевизма и безоговорочную поддержку их режима. При этом подразумевалось, что такие писатели, как Солженицын, наносят стране вред.

Окончив проповедь, Владыка вернулся в алтарь и, повернув ко мне голову, сказал:

— Ну, ты понял?

Вместо прямого ответа я проговорил:

— Кесарь и прокуратор — это еще не родина.

И еще на ту же тему. Владыка никогда к проповедям специально не готовился. Почти всегда это бывала чистая импровизация. И даже было у него нечто вроде игры. Когда приходил какой-нибудь новый человек, Владыка, перед тем, как выйти на амвон, мог спросить гостя:

— О чем сказать проповедь?

И если пришедший высказывал какое-нибудь пожелание, архиепископ тут же начинал говорить на заданную тему.

Помнится, был на Ордынке какой-то священник из Америки. Он попросил Владыку произнести проповедь об исцелении Господом слуги центуриона (Мтф. 8:5—13).

А я тут не удержался.

— Владыка, скажите о том, как Спаситель благодетельствовал оккупантам своей родины.

Он взглянул на меня и сказал полусуто:

— На поклоны поставлю.

Вообще же проповедник он был превосходный. Разумеется, если не касался политики или мнимого «сродства» христианства с коммунизмом.

За каждым богослужением, которое он возглавлял, Владыка Киприан непременно проповедовал. Но мало того, проповеди его составляли целые циклы, и, если какой-нибудь человек слушал их в течение всего года, он мог получить вполне связное

понятие о евангельском учении, Церкви, таинствах и богослужебном уставе.

По сложившейся в храме на Ордынке традиции регент правого хора Н.В.Матвеев два раза в году устраивал себе нечто вроде бенефиса. 8 ноября его хор пел «Литургию» Чайковского, а в марте — «Всенощную» Рахманинова. Я вовсе не поклонник этой псевдодуховной музыки, да и Владыка Киприан был почти тех же мыслей. Но в семидесятые годы это были события, так сказать, в жизни «музыкальной Москвы». На Ордынку приходила «вся консерватория». Нашествиями этими простые наши прихожанки были чрезвычайно недовольны. Глядя на множество неверующих людей, старушки неприязненно говорили:

— Опять Рахман поет...

(Это — на всенощной Рахманинова.)

Так вот на этих самых богослужениях Владыка Киприан говорил особого рода проповеди, рассчитанные на гостей — московских интеллигентов, музыкантов и меломанов. А поскольку среди них, разумеется, преобладали лица определенной национальности, я как-то сказал Владыке:

— Знаете, к какому жанру принадлежат ваши проповеди в такие дни?

— К какому же? — спросил он.

— Это особый жанр: «Рече архипастырь ко пришедшим к Нему иудеем...»

(Тут требуется пояснение. Очень многие евангельские тексты, которые читаются на богослужении, начинаются такими словами: «Рече Господь ко пришедшим к Нему иудеем...»)

Как-то Владыка рассказывал, каким образом ему удалось уговорить старого московского уполномоченного Трушина (в мое время на этом месте сидел уже некто Плеханов), чтобы тот дал согласие на рукоположение одного из иподиаконов.

— Я ему говорю: «Он у нас уже все пробовал — и в институт поступал, и на гражданской работе был — ничего у него не выходит. Видно, быть ему диаконом...» Трушин засмеялся и говорит: «Ладно, рукополагайте!..» А с Плехановым такая сцена была бы невозможна.

Я тут говорю:

— А тем более с Ульяновым.

Владыка удивился:

— А кто такой Ульянов?

— А вы вспомните, кто такой *настоящий* Плеханов...

О себе он говорил так:

— У меня очень левые политические убеждения, но в области церковной я консерватор.

И это вполне соответствовало действительности. Он помнил, хранил, берег и старался осуществлять в своем храме старые московские традиции... Он отрицательно относился к модному в те годы экуменизму, хотя по высокому положению своему не всегда мог уклониться от участия в подобных мероприятиях.

Помнится, по распоряжению Патриарха в храме на Ордынке состоялось экуменическое моление. Владыка принял инославных гостей весьма радуш-

но, но в самый момент молитвы сидел на своем кресле в алтаре.

Он рассказывал о другом подобном случае, когда уклониться ему не удалось.

— Мы все стоим, иностранцы вокруг, каждый молится на своем языке. А со мною рядом стоит покойный отец Павел Соколовский, он только один по-русски и понимает... А я руки сложил, глазки закатил и говорю: «Господи, прости меня, грешного за то, что я участвую в таком богомерзком деле...» Отец Павел мне говорит: «Владыка, перестаньте... Я сейчас смеяться начну...»

Вообще же юмор был присущ ему в высокой степени.

Были мы с ним в бане. Я шутливо спрашиваю его:

— Владыка, а монашествующий может мыться «Семейным» мылом?

Он, не задумываясь, отвечает:

— Нет. Только «Яичным»...

(Надо сказать, что баню он очень любил и в течение десятилетий каждый четверг ходил в один и тот же номер Центральных бань. В последние годы, если я по четвергам оказывался в Москве, то непременно составлял ему компанию.)

Владыка Киприан не терял чувства юмора и во время своих приступов гневливости. Даже так, достаточно было его рассмешить, как гнев угасал. Помнится, на одном богослужении произошла какая-то путаница. Владыка в алтаре допрашивал всех с целью выявить виновного в недоразумении. Вот он обращается к протодиакону о. Г. Л.:

— Хорошо. Но вот ты... Ты ведь хорошо службу знаешь. Он тебе ни к селу ни к городу подает кадило... Зачем ты его взял?

Протодиакон опасливо смотрит на архиерея и говорит:

— На всякий случай...

Общий смех, Владыка смеется сильнее прочих...

Надо сказать, Лескова он очень любил и знал великолепно. Иногда он вспоминал и повторял специфическую шутку, которая приводится в «Соборьянах»:

— Что такое «бездна бездну призывает»? Поп попа обедать зовет.

(«Бездна бездну призывает гласом хлябей своих» — стих псалма.)

Как-то я пригласил архиепископа к себе в гости. Когда мы договаривались о дне и часе его приезда, я сказал:

— Владыка, помните, что такое «бездна бездну призывает»?

— Как же, — говорит, — это поп попа обедать зовет.

— А что такое «бездна архибездну призывает»? Он засмеялся.

— Ты хочешь сказать: поп архиерея обедать зовет?..

У него была в высочайшей степени развита способность ладить с людьми, и притом с самыми разными. От архиереев и важных советских сановников до простецов. Надо было видеть, как к нему относи-

лись официанты, продавцы, банщики, шоферы. И вовсе не только потому, что он щедро раздавал чаевые: все эти люди ценили его уважительное отношение к себе и к своей профессии. Особенная дружба связывала его с водителями. Шофер Владимир Николаевич Климанов был одним из самых близких и преданных ему людей. Надо сказать, Владыка очень любил ездить на автомобиле и часто совершал длительные путешествия по Подмосковию. Он говорил:

— У меня теперь какие главные расходы? На такси да на баню.

На это я ему отвечал:

— Вы, Владыка, свои капиталы изничтожаете не мытьем, так катаньем...

Когда он ехал на такси и при этом не спешил на богослужение, очень часто брал к себе в автомобиль попутчиков. А если видел женщину с ребенком, которая ловит машину, — останавливался непременно и бесплатно отвозил в нужное место. Одним из его развлечений было такое: он останавливал машину во дворе своего дома на Косинской, на заднее сиденье набивался целый десяток ребятишек, и начиналось катание по всей округе...

Вот еще забавная автомобильная история. Дело было в какой-то советский праздник, кажется, на 7 ноября. Владыка на такси ехал с одним из постоянных своих водителей. У обочины они увидели старичка, который пытался остановить машину. Архиепископ велел затормозить, и того поместили на заднее сиденье. Только когда машина покатила

дальше, Владыка и шофер заметили, что дедушка этот сильно пьян. Но мало того, обратив внимание на характерную внешность архиерея, новый пассажир стал на чем свет стоит ругать попов... Тогда шофер остановился, взял пьяного за ворот и вышвырнул из машины. А поскольку день был праздничный, автомобиль сразу же окружили люди, желающие ехать. Один из них указал на архиепископа и подобострастно спросил водителя:

— А этого тоже будете выкидывать?

Владыка довольно часто обедал в ресторане при гостинице «Метрополь». Продолжалось это много лет, и там его все очень любили. Ходил он туда в гражданской одежде, и хотя все официанты знали, что он священнослужитель, но высокий сан его был там неизвестен. Одним из тех, кто его постоянно обслуживал, был некий Андрюша, татарин, и они с Владыкой вечно друг над другом подтрунивали.

Как-то Владыка пригласил меня пообедать с ним. Обслуживал нас Андрюша и позволил себе какую-то шутку насчет «попов». Тогда Владыка говорит ему:

— Хорошо. Вот ты мусульманин. А кто ты — суннит или шиит?

На этот вопрос Андрюша наш не смог ответить, знания его об исламе так далеко не простирались.

Тогда в разговор вмешался я:

— Да что там, Владыка. Вы ему сунниты, и все будет шийто-крыто.

В восьмидесятом году, когда меня посвятили в священники, мне достался деревенский приход,

один из самых бедных во всей Ярославской епархии. Приезжая оттуда в Москву, я непременно всякий раз встречался с Владыкой. Как-то ведет он меня по обыкновению обедать в «Метрополь» и вдруг говорит:

— Раньше я тебя просто так, как дармоеда, кормил, а теперь — помогаю неимущему духовенству.

И еще один эпизод, относящийся к тому же, восьмидесятому, году. Это был май, меня только-только посвятили. Я сопровождал Владыку в поездке по городу. Он мне говорит:

— Сейчас заедем на Преображенское кладбище, я схожу на могилу к своим. А ты подожди меня в машине.

Я говорю:

— Зачем же я буду сидеть в машине, когда у меня на этом кладбище похоронены отец и дядя?

Словом, он пошел в свою сторону, а я — в свою.

Чтобы не заставить его ждать, я поскорее вернулся к автомобилю. Через некоторое время появился Владыка. И тут он решил разыграть нечто вроде интермедии. Делая вид, будто мы с ним не знакомы, он спрашивает:

— Вы случайно не батюшка?

Я отвечаю:

— Батюшка.

— Панихидку не отслужите?

Вместо ответа я сделал известный жест пальцами правой руки: дескать, надо заплатить. Это привело его в совершенный восторг.

— Ой, как скоро научился!..

Когда речь заходила о старости, Владыка говорил:

— Вот один из печальных признаков моего возраста — не остается никаких авторитетов, нет уже таких людей, которыми бы ты восхищался, чьим мнением особенно бы дорожил...

Когда я познакомился с ним, ему не было и шестидесяти. Семидесятилетний юбилей он отпраздновал, когда я был уже в сущем сане. Надо отдать ему должное, годы почти не сказывались на нем — по-прежнему уверенно звучал голос, столь же твердой была походка. Однако же стал он утомляться во время длительных богослужений.

Больше всего он страшился двух вещей — старческого слабоумия и какого-нибудь тяжкого недуга, который мог бы надолго приковать его к постели. Но Бог его миловал. И не только миловал, но и послал такую кончину, о какой священнослужитель может только мечтать.

В ноябре 1986 года по благословению Владыки Киприана я уехал из Ярославской епархии, ушел за штат с тем, чтобы просить себе места в Подмосковье. Все четыре месяца, пока не получил нового назначения, я не пропускал ни одной архиерейской службы на Ордынке. Так прошел Рождественский пост, самое Рождество Христово, Крещение, Сретение, Прощеное воскресенье и даже первая седмица Великого Поста. (Лишь впоследствии я понял, что Господь дал мне великое утешение: ровно через двадцать лет после того, как я появился в Скорбященском храме и сблизился с Владыкой, я провел с ним

это время, смог еще и еще раз усвоить его уроки, запомнить, навечно запечатлеть в памяти его облик.)

В пятницу на первой седмице Поста я получил указ митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия о принятии в клир Московской епархии и назначении в храм города Егорьевска. Владыка, который об этом хлопотал, порадовался за меня и сказал:

— Ну, все, ты уже на ногах. Больше у меня ни перед кем обязательств нет.

Надо сказать, что мы — его приближенные — никак не думали, что он умрет так скоро. Нам всем казалось, что ему еще жить и полноценно служить по крайней мере лет пять, а то и больше. Но сам Владыка явно чувствовал приближение смерти и довольно часто говорил об этом.

В последний раз я видел его в пятницу вечером на пятой седмице Поста. Я пришел на Ордынку задолго до богослужения, поднялся к Владыке на колокольню. Приближалась Пасха, и я напечатал для него поздравления к празднику, он должен был их подписать, а я запечатать и отправить многочисленным адресатам.

Я ему говорю:

— То-то все удивятся, что ваши письма идут из Егорьевска.

Владыка усмехнулся:

— Скажут, выселили меня на сто первый километр.

Службу того дня — «Похвалу Богородице» — он очень любил. Непременно сам читал весь канон и значительную часть акафиста.

Облачали Владыку в алтаре. Я стоял возле него и держал митру — старинную, золотой парчи, с серебряными иконками. И тут я вдруг возьми и скажи:

— Из всех ваших митр эта — самая моя любимая.

Он повернулся к старшему своему священнику отцу Борису Гузнякову:

— Вот умру, отдашь ему эту митру.

Мы все дружно запротестовали:

— Что вы, Владыка!

— Живите себе на здоровье!

А он, не обращая на нас внимания, продолжал говорить отцу Борису:

— А в гроб меня положишь в розовой митре. Не жалей ее. Облачение розовое, в котором я посвящался...

И он еще раз повторил все, что касалось его погребения.

После службы я проводил Владыку к автомобилю.

На прощание он мне сказал:

— А ты на Пасху мне поздравление не пиши. Приедешь, так поздравишь...

(И, действительно, писать мне уже не пришлось, на третий день Пасхи я побывал у него на могиле.)

А дальше... Дальнейших событий я не был свидетелем, но так как я много лет был его иподиаконом, то мысленно вижу все, до мельчайших подробностей.

На другой день, в субботу на пятой седмице, Владыка служил Всенощную и, как всегда, проповедовал.

В воскресенье утром он загодя приехал в храм, поднялся в свою комнату на колокольне и прилег на диван. В это время к нему приходили священники — в паузе между ранней и поздней литургией, — делились новостями, беседовали... Затем батюшки удалялись, а Владыка поднимался, надевал рясу и клобук, и ровно без пяти минут десять он появлялся в храме.

Протодиакон возглашал:

— Премудрость!

Хор:

— Достойно есть...

Начиналась торжественная встреча.

В тот день, 5 апреля 1987 года, все шло по заведенному порядку. Священники и диаконы вовремя вышли из алтаря, но архиепископ без пяти десять не появился.

Это было столь необычно, что в комнату к нему заглянула одна из женщин: Владыка беспомощно лежал на полу возле своего дивана.

Началась сумятица...

Иподиаконы с трудом подняли его и уложили на диван. Вызвали «скорую помощь». Прибежал встревоженный отец Борис.

Увидев его, Владыка успел сказать всего два слова:

— Иди служи...

И поздняя литургия началась без архиерея.

«Скорая» примчалась быстро, но — увы! — их помощь уже не потребовалась. Во время третьего антифона, в момент пения заповедей блаженства, Владыка отошел ко Господу...

Об этом сейчас же сообщили в алтарь.

Отец Борис мне рассказывал:

— Надо говорить перед Апостолом «Мир всем», а у меня рука не поднимается...

После Евангелия и сугубой ектеньи протодиакон впервые возгласил на амвоне:

— Еще молимся о упокоении души раба Божия новопреставленного архиепископа Киприана и о еже проститесь ему всякому прегрешению — вольному же и невольному...

И в ответ весь храм огласился воплями и рыданием.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Абакумов 153, 168, 303
 Абдулов О.Н. 258
 Авдеенко А.А. 175, 401
 Адалис А.Е. 392
 Адамович Г.В. 47
 Адмони В.Г. 170, 171
 Айзенман Т.С. 51, 214
 Александров А.В. 419
 Александров А.П. 457—459
 Александров Б.А. 419
 Александров Г.В. 273, 426, 429
 Алексей Михайлович, царь 39
 Алексей I, Патриарх (С.В.Симанский) 489, 491, 496
 Алигер М. И. 10, 214, 217, 230, 337, 343, 346—351, 392
 Аллилуева С.И. 374, 456
 Амурский Г.А. 30
 Андреева М.Ф. 299
 Андроников И.Л. 236
 Андроникова С.Н. 243
 Андропов Ю.В. 363
 Анна Иоанновна 246
 Анненский И.Ф. 43, 208, 213, 227—228
 Антоний Великий 365
 Ардов Б.В. 9, 11, 16, 17, 18, 20, 26, 33, 37, 52, 60, 62, 87, 111, 121, 127, 129, 223, 274, 278, 281, 291—293, 301, 304, 309, 314, 336, 337, 349, 422
 Ардов В.Е. 8, 9, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 58, 63, 68—71, 78, 79, 83, 85, 88, 91, 92, 94, 98, 99, 101—106, 120—127, 146, 166, 184, 232, 253—295, 299—301, 314, 320—321, 330, 332, 348, 369, 374, 390, 393, 407, 421—425, 428
 Арнс Л.Е. 364
 Асеев Н.Н. 89
 Астангов М.Ф. 259
 Ататюрк К. 266
 Атовмян Л.Т. 416
 Ахматова А.А. 7, 33—56, 61—66, 71, 72, 73, 85—87, 89, 90, 92, 102—105, 107—110, 112—116, 118, 119, 129, 131, 147, 148, 166, 167, 172, 173, 178—183, 187, 188, 197, 198, 202, 209—249, 269, 270, 280, 282, 286, 289, 302, 306, 311, 313, 314, 319—324, 326—329, 331, 333—338, 340, 342—325, 347—348, 350—351, 356—358, 360, 361, 364, 367, 379, 462, 485
 Базилевский Н.Г. 233
 Байрон Д. 220
 Бальмонт В. 233
 Бальмонт К. Д. 209, 227
 Баратынский Е.А. 192
 Барнет Б.В. 76, 77
 Баталов А.В. 10, 12, 13, 14, 15, 180, 182, 190—191, 265,

- 270, 278, 279, 298, 308, 433,
440, 442, 446, 447
- Баталов В.П. 298
Баумволь Р. 245
Бах И.С. 113, 409
Бедный Демьян 47
Белинский В.Г. 192, 193
Бергольц О.Ф. 462
Берестов В.Д. 406
Берия Л.П. 21, 22, 30, 158, 282,
308
Берлин И. 243
Бещев Б.П. 153, 157, 158
Бирон Э.И. 232
Благоволина М.С. 285
Блок А.А. 93, 148, 212, 242
Большинцова Л.Д.(Стенич) 50,
182, 330—333
Брамс И. 207
Брежнев Л.И. 317, 363
Брик Л.Ю. (Коган Л.У.) 100,
264, 315
Брик О.М. 100, 263
Бродский А.И. 177
Бродский И. А. 166—178, 180—
182, 247, 289, 328, 334, 361,
462
Бруни Л.А. 209
Бруни Н.К. 209, 210
Брюсов В.Я. 227
Бубнов А.С. 28
Буденный С.М. 20
Бузони Ф. 409
Булгаков М.А. 201, 266—268,
300, 359, 393
Булгакова Е.С. 217
Бунин И.А. 55, 390, 396
Бунина А. 376
Бунина В.Н. 390
Буренин В.П. 235
Бухарин Н.И. 205
- Валленберг Р. 439
- Введенский А. 466
Вертинский А.Н. 131, 229, 388
Верховский Н.А. 462
Вершигора П.П. 19
Вигарелли Дж. 348
Виленкин В.Я. 51, 225
Виноградов В.В. 52, 231, 352
Виташевская 213, 214
Вишневский А.А. 106
Войтенко В.И. 127, 128
Волгин В.П. 256
Волин Б.М. 396
Волков С. 334
Волконский А.М. 68
Волошин М.А. 201, 202, 440,
443
Волошина М.С. 202—204, 443
Вольпе Е.Ц. 337—338, 368
Вольпин М.Д. 73—84, 95, 260,
315
Ворошилов К.Е. 152, 324
Вотчал Б.Е. 103—104
Враский Б.А. 463
Враский С.Б. 463—465
Высотская О.Н. 229
Высотский О.Н. 229, 230
Вяземский П.А. 461
- Габричевский А.Г. 174, 176,
190—209, 440—445, 447,
449, 453—455, 462, 466,
471
Габричевский Г.Н. 194
Гайдн Ф. 238
Галкин Г.Ф. 141—145
Галкин С.З. 245
Гаркави М.Н. 23
Гаршин В.Г. 350
Гедике А.Ф. 409
Гермоген, Архиепископ (Оре-
хов) 142
Герцен А.И. 334, 335
Герциг 163

- Герштейн Э.Г. 50, 268, 186, 319—325
 Гете И. 220
 Гилельс Е.Г. 68, 396
 Гитович А.И. 183
 Глен Н.Н. 44
 Гоголь Н.В. 41, 42, 93, 192, 201, 224, 424, 448
 Голованов Н.С. 412, 419
 Горбаневская Н.Е. 351
 Горенко И.А. 213
 Горнфельд А.Г. 198—199
 Городецкий С.М. 240—241
 Горький М. 28, 217
 Гошева Е.А. 408
 Грибачев Н.М. 66
 Грубиян М. 107
 Грушко 229
 Грюнзайт В.Л. 394
 Гузик А. 307
 Гузьяков Б. 473—479, 501, 515, 516, 517
 Гузьяков К.А. 473
 Гузьякова Е.Ф. 473
 Гузьякова В.К. 475
 Гумилев Л.Н. 33, 45, 47, 107—119, 180, 181, 229, 230, 269, 280, 289, 320, 322, 324, 325
 Гумилев Н.С. 46, 47, 112, 114, 188, 225, 229, 233, 244, 331
 Гутман Д.Г. 259—260
 Данилин Н.М. 419
 Данкман А.М. 270—273
 Дарский Е. 24
 Дебюсси К. 99
 Дзержинский Ф.Э. 74
 Димитров Г. 136
 Дмитриевский Г.А. 419
 Добин Е. 223
 Добронравов Б.Г. 300
 Довлатов С.Д. 362
 Долматовский Е.А. 149
 Достоевский Ф.М. 41, 156, 192, 327
 Драйзер Т. 233
 Дудин М.А. 179
 Дункан А. 147
 Дыховичный В.А. 122
 Дюрер А. 344
 Егоров К.М. 495
 Екатерина Вторая 111
 Ефимов Д.А. 150—159
 Ефимова Н.Д. 150
 Жданов А.А. 34, 237, 280
 Живова Ю.М. 166
 Жирмунский В.М. 188, 189, 223, 234
 Жолтовская О.Ф. 441
 Жолтовский И.В. 195, 196, 441
 Жуков Г.А. 21, 22, 277
 Жуковский В.А. 160
 Журавлев В.А. 241, 242
 Журавлев Д.Н. 51
 Завадский Ю.А. 57
 Залка Мате 266
 Западов А.В. 239, 352—357
 Збарский Л. 377
 Зеленая Рина 241
 Зелинский А. Н. 9, 116
 Зелинский К.Л. 214
 Зелинский Н.Д. 9
 Зельдин В.М. 308
 Зиновьев А.А. 132
 Зоценко М.М. 27, 85—91, 156, 224, 240, 259, 262—262, 280, 283, 330, 393, 424
 Иванов В.В. 51, 217—218
 Иванов Г.В. 47
 Иванова И.К. 263, 264
 Ивановский И. 37
 Ивинская О.В. 238

- Игумнов К.Н. 409
 Израилевский 300—301
 Иксуль К. 292
 Ильина Н.И. 51, 327—328, 338,
 340—345
 Ильинская Т.И. 424
 Ильинский И.В. 258, 270, 421—
 427
 Ильф И.А. 27, 28, 80, 95, 223,
 264, 273, 393, 397
 Инбер В.М. 61
 Иоанн, Митрополит (Венд-
 ланд К. Н.) 480, 488
 Иосиф, Митрополит Петро-
 градский 230
 Иоффе А.Ф. 456—459
 Иоффе В.А. 455—463
- Каганович Л.М. 14, 277
 Казакевич Э.Г. 348, 384
 Калинин М.И. 154
 Каминская А.Г. 180
 Кантор С.В. 100, 101
 Каплер А.Я. 403
 Карандаш (Румянцев М.Н.) 28
 Касаткин Т.И. 451—454
 Катаев В.П. 346, 393—401
 Каханов С.В. 385
 Качалов В.И. 83, 225, 246
 Кедров М.Н. 301
 Кешоков А.П. 215
 Кибиров Т.Ю. 376, 377
 Киперман 162
 Киприан, архиепископ (М.В,
 Зернов) 379, 474, 476—
 477, 478—515
 Киров С.М. 413
 Климанов В.Н. 510
 Климов Р.Б. 440, 442, 466—472
 Климова М.А. 466
 Ключев Н.А. 221—222
 Книппер-Чехова О.Л. 299—
 300
- Коганер Б. 144
 Козлов В.П. 12
 Козлов П.Г. 12, 98, 99, 298
 Козлова Е.И. 12, 98
 Козловский И.С. 396
 Колчицкий Н. 482, 499
 Кольцов М.Е. 393, 396
 Коренева 300
 Космодемьянская З. 347
 Красовицкий С.Я. 362—364
 Кривченя А.Ф. 414, 415
 Крузенштерн-Перец Н. 342
 Крылов А.Н. 52
 Крюков В.В. 20, 21, 22, 23, 26
 Крюков В.Н. 413
 Кугель А.Р. 79, 169
 Куредов В.А. 493, 494
- Левик В.В. 184
 Левитан Ю.Б. 448
 Лейбзон Л.Б. 145
 Ленин В.И. 106, 197, 205, 266,
 390, 392
 Ленч Л.С. 85
 Леонидов Л.М. 71, 137, 299, 300
 Леонов Л.М. 201
 Лермонтов М.Ю. 216, 286, 319
 Лесков Н.С. 509
 Лесючевский Н.В. 353—354
 Либединский Ю.Н. 94, 247
 Линкольн А. 366
 Липкин С.И. 50, 96, 215
 Лист Ф. 409
 Литвинова Т.М. 378
 Лифшиц В.А. 90
 Лиходеев Л.И. 162
 Ломоносов М.В. 228
 Лужский В.В. 299
 Лукницкий П.Н. 112
 Луков Л.Д. 403
 Луначарский А.В. 79, 169
 Лысенко Г. 490

- Макаров К. 347, 349
 Макарова Т.К. 346, 349
 Максутов Д.Д. 465
 Мандельштам Н.Я. 50, 180, 236, 245, 268—269, 325, 333
 Мандельштам О.Э. 47, 75, 76, 198, 199, 206, 216, 268—269, 319, 323, 326
 Мариенгоф А.Б. 417
 Маркиш П.Д. 245
 Марков П.А. 300
 Маркс К. 169
 Маршак С.Я. 217, 246, 368
 Масс В.З. 82, 83
 Матвеев Н.В. 506
 Машеров П.М. 327
 Маяковский В.В. 100, 147, 224, 227, 232, 259, 263, 264, 306, 315, 335
 Мейерхольд В.Э. 423
 Мейлах М.Б. 233, 322
 Мелик-Пашаев А.Ш. 415
 Мень А. 503
 Мериме П. 410
 Мешик 153
 Мигай С.И. 458, 459
 Минаев Д.Д. 235
 Мирон Л.Б. 24
 Михайлов М.С. 233
 Михалков С.В. 182, 286
 Михальский 300
 Михозлс С.М. 366
 Модильяни А. 237
 Моисеев И.А. 471
 Моисеева Т. 471—472
 Моргулис М. 398
 Мунихес Л. 466—467
 Мурадели В.И. 414
 Мысливичек Й. 204
 Набоков В.В. 399
 Найман А.Г. 44, 146, 147, 166, 167, 171—175, 180—182, 237, 358—367
 Наппельбаум М.С. 274
 Нарбеков Н.В. 297
 Наринская А. 362
 Наринская Г.М. 362
 Недоброво Н.В. 212
 Нейгауз Г.Г. 81, 206—208
 Нейгауз С.Ф. 206, 208,
 Некрасов Н.А. 40, 370, 397
 Немирович-Данченко В.И. 413
 Никодим, митрополит (Ротов) 484
 Николай, митрополит 476
 Никулин В.И. 384—388
 Никулин Л.В. 25, 80, 92, 93, 258, 303, 344, 384—393, 395
 Нилин А.П. 129, 133, 143, 238, 369, 302, 404—406
 Нилин П.Ф. 401—406
 Нилина М.И. 372
 Нушке О. 136
 Огородникова И.Ф. 247
 Ойстрах Д.Ф. 67
 Оксман Ю.Г. 51, 242—243
 Олеша Ю.К. 75, 76, 393—395
 Ольшевская Н.А. 8, 12, 13, 15, 25, 33, 34, 35, 36, 61, 64, 70, 72, 89, 90, 92, 101, 166, 214, 264—266, 268, 273, 293, 296—318, 321, 326, 393, 440
 Ольшевская Н.В. 17, 18, 297, 301—303, 318
 Ольшевский А.А. 296, 302, 312
 Орбели Р. 246
 Осеева В.А. 210
 Остапов Д.А. 294—297
 Островский А.Н. 145
 Отс Г. 432
 Охлопков Н.П. 144

- Павлова К.К. 376
 Панченко А.М. 324
 Пастернак Б.Л. 39, 45, 48, 50,
 60—65, 89, 118, 178, 223,
 226, 227, 228, 238, 242, 244
 Пастернак З.Н. 54, 226, 238,
 244
 Пастернак Л.Б. 62
 Петров Е.П. 27, 28, 78, 80, 95,
 223, 251, 273, 393—394,
 397
 Петров И.Е. 223, 369
 Петровых А. 328
 Петровых М.С. 50, 65, 217,
 230—231, 326, 329
 Пешков З.М. 217
 Пилявская С.С. 72, 298
 Пимен, митрополит, впослед-
 ствии патриарх (С.М.Из-
 веков) 489, 497
 Пирогов А.С. 414
 Плеханов Г.В. 256, 507
 Плучек В.Н. 234
 Погодин Н.Ф. 20, 191, 446, 447
 Полонская В.В. 72, 298, 315—
 317
 Прозорова Е.В. 495
 Прокофьев С.С. 68, 410, 417
 Прохоров Г.М. 116—117
 Пунин Н.Н. 113, 220, 244, 331
 Пунина И.Н. 113, 115, 116, 178,
 180, 188, 247, 289, 331
 Пустынин М. 259
 Путилов А.И. 30
 Пушкин А.С. 42, 43, 192, 220,
 221, 345, 392, 415, 424, 463,
 501
 Радищев А.Н. 111
 Радлова А.Д. 376
 Райкин А.И. 117, 280
 Раневская Ф.Г. 48, 55—59
 Распутин Г. 232
 Рахлин Н.Г. 238
 Рахманинов С.В. 506
 Рерих Н.К. 198
 Рильке Р. М. 171
 Римский-Корсаков Н.А. 410
 Рихтер С.Т. 207, 461
 Рогожина Е.И. 303, 344
 Роден О. 195
 Рождественский В.А. 414
 Рознер Э.И. 432
 Роскина Н.А. 51
 Ротницкий А.Д. 248
 Рубанович С. 100
 Рудаков С.Б. 323
 Руденко В. 324
 Румнев А.А. 447
 Русланова Л.А. 20—26, 283,
 391, 429
 Руссо Ж.Ж. 110
 Рыжих А.Н. 105—106
 Рыжов Н.И. 70
 Рыжова В.Н. 70
 Рыков А.И. 409
 Рылеев К.Ф. 415
 Салтыков-Щедрин М.Е. 123
 Сартр Ж.П. 137
 Свердлов Я.М. 217
 Северцов А.Н. 438
 Северцов Н.А. 438
 Северцова Н.А. 174—176, 190,
 191, 195, 206—210, 438—
 445, 447, 450, 453—455,
 467—468
 Северцова О.С. 191, 447, 454
 Северянин И.В. 242
 Семичастный В.Е. 173
 Серафим Саровский 365
 Сергеев И.М. 499
 Сигунов И.К. 120—122
 Сидельников Н.Н. 452
 Сильман Т.И. 171
 Симонов К.М. 48

- Симонов Р.Н. 258
 Синьоре С. 220
 Слуцкий Б.А. 51
 Смирнов Д. 411
 Смирнов-Сокольский Н.П. 25,
 26, 246, 259, 429
 Снечук А. 155—157
 Соколовский П. 508
 Солженицын А.И. 51, 52, 339,
 378, 399—400, 504
 Соловьев В.С. 502
 Сталин И.В. 14, 21, 25, 28, 53,
 67, 68, 73, 74, 77, 106, 110,
 152, 154, 181, 205, 253, 283,
 301, 305, 361, 374, 390, 427,
 456
 Станиславский К.С. 146, 298,
 299, 300, 413
 Станицын В.Я. 300
 Станкевич А.В. 192—194
 Станкевич Н.В. 192, 195
 Станюкович К.М. 298
 Старостин А.П. 223
 Стенич В.О. 92—97, 330—331,
 393
 Стукалов О.Н. 191, 207, 446—
 454
 Сук В.И. 411—412
 Сурков А.А. 37, 53, 187, 188,
 235, 236, 247
 Суркова С.А. 53
 Суслов М.А. 155—157
- Таиров А.Я. 423
 Тамиров А. 422
 Тарковский Андрей А. 185
 Тарковский Арсений А. 183—
 187, 189
 Твардовский А.Т. 52, 219
 Тельман Э. 136
 Тито И.Б. 281
 Титов Г.С. 164
 Тихомиров Л.А. 502
- Тихон, патриарх (В.И.Белла-
 вин) 494, 495
 Тихон, митрополит (Оболен-
 ский) 499
 Тоидзе И.М. 69
 Толстая С.А. 284
 Толстой А.К. 6, 286
 Толстой А.Н. 94, 414
 Толстой Л.Н. 147, 185, 281, 284,
 424
 Томашевская З.Б. 180
 Томашевский Б.В. 217, 244
 Тихонов А.Н. 215
 Трескин В. 425, 426
 Троцкий Л.Д. 253
 Туми А. 380
 Туми М. 174, 175, 379—383
 Тургенев И.С. 335
 Турчанинова Е.Д. 69, 70
 Тушнова В.М. 376
 Тышлер А.Г. 200, 215
- Уланова Г.С. 417
 Унгерн фон Штернберг Р.Ф.
 385
 Успенский В.А. 315
 Утесов Л.О. 164—165, 259,
 428—432
 Утесова Е.О. 428
- Фадеев А.А. 247, 277, 326, 346,
 349, 397
 Фальк Р.Р. 200
 Фейнберг А.И. 236
 Фейнберг И.Л. 236
 Фет А.А. 216
 Фогельсон В.С. 240
 Франко Баамонде Ф. 281
 Фрейдин Л. 101
 Фрунзе М.В. 266, 317
 Фурцева Е.А. 58, 59

- Хайкин Б.Э. 407—420
Харджиев Н.И. 50, 226, 322
Харитон Ю.Б. 457
Хейт А. 174, 243, 379
Хемингуэй Э. 200, 237, 238
Хенкин В.Я. 270, 429, 430, 431
Хлебников В.В. 227
Хмелев Н.П. 300
Ходасевич В.Ф. 109, 114, 229
Холодович А.А. 216
Хрущев Н.С. 67, 162, 163, 164,
172, 475
Худяков Е.Л. 132, 133
Хусид С.М. 433—437
- Цветаева М.И. 39, 40, 116, 117,
185, 226, 244, 337
- Чайковский П.И. 138, 410, 506
Черный Саша 80
Черчилль У. 14, 281
Чехов А.П. 55, 306, 334, 335,
371, 424, 447
Чуковская Л.К. 50, 187, 215,
223, 238, 289, 302, 319, 320,
333—339, 343, 368
Чуковская М.Б. 369, 376
Чуковский А.Е. 376, 377
Чуковский Е.Б. 336—338,
368—378
Чуковский К.И. 209, 210, 230,
232, 316, 335—337, 368,
373, 376, 378, 400—403
Чуковский Н.К. 372
Чулаки М.И. 410
- Шагинян М.С. 47, 204, 205, 404
Шапорин Ю.А. 413—415
Шафаревич И. Р. 503
Шварц Е.Л. 241
Шверубович В.В. 225
Шверубович В.И. — см. Кача-
лов В.И.
- Шекспир В. 71
Шилейко В.К. 234
Шолохов М.А. 287
Шопен Ф. 207
Шостакович Г.Д. 338, 374, 377
Шостакович Д.Д. 135—139,
173, 262, 266, 338, 374,
415—417, 481
Шостакович М.Д. 135—139,
173, 262, 374, 375, 377
Шпиллер В. 483
Штейн С.В. 213
Шток И.В. 223
Шульгин В. 391
- Эйнштейн А. 366, 429
Эйхман 158
Эренбург И.Г. 241, 390, 395
Эрдман Н.Р. 73, 76, 77, 82—84
- Ювеналий, митрополит 514
Юрьев Ю.М. 397
Юшкевич С.С. 396
- Яковлева А.Р. 392
Яковлева Т.И. 248
Яншин М.М. 300
Яшутин И.П. 414

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ЛЕГЕНДАРНАЯ ОРДЫНКА.....3

ПОРТРЕТЫ

Мой родитель.....	253
«И все-таки победительница».....	296
Надежный друг.....	319
Минималистка.....	326
Любочка.....	330
«Им нужен только срам».....	334
Штабс-капитан Рыбников.....	340
«Одна. Несчастлива».....	346
«Сорокью.. сорокью...».....	352
Трагическая фигурка.....	358
Внук Корнея Ивановича.....	368
«Мы побили англичан».....	379
Ужаснувшийся.....	384
«Что сказал римский папа?».....	393
Русский писатель.....	402
Буквы «я» и «я», «а» и «у».....	407
Два бюрократа.....	421
«Нам песня строить и жить помогает».....	428
Работа покажет.....	433
Наталья Алексеевна и Наташка.....	438
Человек без селезенки.....	446
«Воздержись умирать!».....	451
Дочь «папы Иоффе».....	455

Внук сенатора.....	463
Зять Антихриста.....	466
Просто: служащий.....	473
Мой благодетель.....	480
Указатель имен.....	518

Михаил АРДОВ, протоиерей

**ЛЕГЕНДАРНАЯ ОРДЫНКА.
ПОРТРЕТЫ**

Воспоминания

*Директор издательства А. Гантман
Ответственный редактор М. Топоринский
Редактор О. Авилова
Художник Д. Черногаев
Корректор Н. Медведева
Компьютерная верстка М. Терещенко
Менеджер Л. Хуторянская*

Лицензия ЛР № 066298 от 04.02.99.
Подписано в печать 22.02.2001 г.
Формат 84х108 1/32.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура Journal.
Усл. печ. л. 27,72+1,40 (альбом).
Тираж 5000 экз.
Заказ № 230.

Издательство Б.С.Г.-ПРЕСС
129090, Москва, ул. Гиляровского, 1
Тел./факс: (095) 207 53 62
E-mail: BSGPRESS@MTU-NET.RU

Отпечатано с готовых диапозитивов
на ГИПП «Уральский рабочий»
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13

ЛЕГЕНДАРНАЯ ОРДЫНКА. ПОРТРЕТЫ

Судьба была благосклонна к Михаилу Ардову – он вырос рядом с Анной Ахматовой. Он запомнил и воспроизвел многое из быта и бытия великого поэта и великого человека. И вместе с тем Ахматова не стала его мономанией. Память у Ардова исключительная, но это творческая память. Я бы сказал, что это не арифметика, а высшая математика памяти.

В ноябре 1993 года я прожил полторы недели вместе с Иосифом Бродским в Венеции. Это было наше последнее свидание. За исключением сна, мы почти все время были вместе. И вот я вспоминаю знаменитое старейшее кафе Венеции “Флориана”, расположенное на Пьяцетте, напротив собора Сан-Марко. На столике кофе, минеральная вода, разумные рюмки с алкоголем. Разговор зашел о книгах, посвященных Ахматовой.

- Лучшее пока что – это то, что написал Миша, – сказал Иосиф.
- Ты имеешь в виду “Легендарную Ордынку”? – спросил я.
- Конечно.

Мне остается добавить, что я думаю точно так же.

Евгений Рейн

